

А К А Д Е М И Я Н А У К С С С Р
И Н С Т И Т У Т Я З Ы К О З Н А Н И Я

В О П Р О С Ы Я З Ы К О З Н А Н И Я

ЖУРНАЛ ОСНОВАН В 1952 ГОДУ

ВЫХОДИТ 6 РАЗ В ГОД

4

ИЮЛЬ — АВГУСТ

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»
МОСКВА — 1976

СОДЕРЖАНИЕ

А. Н. Кононов (Ленинград). О природе тюркской агглютивации	3
В. З. Панфилов (Москва). Типология грамматической категории числа и некоторые вопросы ее исторического развития	18

ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

О. Н. Трубачев (Москва). О синдах и их языке	39
В. П. Даниленко (Москва). О месте научной терминологии в лексической системе языка	64
Т. И. Дешериева (Москва). К проблеме соотношения глагольных категорий вида и времени	72
В. И. Абаев (Москва). О термине «естественный язык»	77

МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

М. В. Симулик (Ужгород). Семантико-синтаксические признаки предикативных единиц и структура сложного полипредикативного предложения в славянских языках	81
А. А. Юлдашев (Москва). Об одном специфическом типе лексического значения	91
И. Х. Тот (Сегед). О сочетаниях редуцированных перед плавными между согласными в древнерусских рукописях XI в.	100
В. З. Златкин (Измаил). Взаимодействие лексических значений в сочетании «глагол — предлог — имя»	105
Е. И. Царенко (Донецк). Некоторые фонетические особенности языка кечуа	113

(КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Обзоры

С. А. Миронов (Москва). Немецкая диалектография за сто лет	118
--	-----

Рецензии

Р. И. Ахриева (Грозный), Б. Хасанов (Алма-Ата). «Социализм и нации».	131
О. С. Ахманова (Москва). <i>Ф. М. Березин</i> . История лингвистических учений	136
А. Д. Швейцер (Москва). «Новое в лингвистике»	138
Р. М. Шамелашвили (Кутаиси). <i>К. Д. Дондуа</i> . Статьи по общему и кавказскому языкознанию.	141
У-Ж. Ш. Дондуков, Н. Б. Дугаров (Улан-Удэ). <i>Л. Д. Шагдаров</i> . Функционально-стилистическая дифференциация бурятского литературного языка	144

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Хроникальные заметки	148
--------------------------------	-----

РЕДКОЛЛЕГИЯ:

О. С. Ахманова, Р. А. Будагов, А. В. Десницкая, Ю. Д. Дешериев, Г. А. Климов (отв. секретарь редакции), *В. З. Панфилов* (зам. главного редактора), *Б. А. Серебренников, В. М. Солнцев* (зам. главного редактора), *О. Н. Трубачев, Ф. П. Филин* (главный редактор), *В. Н. Ярцева*

Адрес редакции: 103031 Москва К-31, Кузнецкий мост, д. 9/10. Тел. 228-75-55

Зав. редакцией *И. В. Соболева*

А. Н. КОНОНОВ

О ПРИРОДЕ ТЮРКСКОЙ АГГЛЮТИНАЦИИ

Основным, определяющим способом слово-формообразования в тюркских (~алтайских) языках является способ агглютинации, состоящий в присоединении аффиксальных морфем в строго определенном порядке к коренной морфеме.

Теория сложения, или агглютинации, которую ввел в научный обиход Ф. Бопп (1791—1867), — хотя сам термин «агглютинация» принадлежит критику его теории Лассену — прочно вошла в типологическую — морфологическую — классификацию языков. С течением времени теория агглютинации, т. е. теория, объясняющая образование флексивных процессов как результат словосложения, превратилась в догму, согласно которой каждая аффиксальная морфема восходит в своем развитии к самостоятельному слову, хотя Ф. Бопп исходил собственно из того, что только «некоторые флективные окончания (индогерманского. — А. К.) глагола обнаруживают большое сходство с некоторыми местоименными основами» (разрядка наша. — А. К.)¹. Гипотеза о происхождении личных окончаний глагола из местоимений постепенно сделалась господствующей в объяснении происхождения всех флективных окончаний².

Это положение — флективные личные окончания глагола возникли из местоимений — вполне отвечает фактическому положению вещей, наблюдаемому и в тюркском спряжении. Однако распространение этого положения (слово-формообразование < самостоятельного слова) на все без исключения слово-формообразовательные аффиксы ничем не может быть сколько-нибудь убедительно подтверждено.

В новейших работах, в которых затрагивается проблема происхождения тюркских аффиксов, нет общепринятой точки зрения на сей предмет, хотя теперь все меньше становится число сторонников гипотезы о происхождении всех тюркских (~алтайских) аффиксальных морфем из самостоятельных слов.

Бесспорно, в так называемых агглютинативных языках, как и в так называемых флективных, есть значительное число формантов, которые произошли из самостоятельных слов; ср. русск.: закон-о-вед, язык-о-вед (-вед < *ведать*), пар-о-ход, везд-е-ход (-ход < *ходить*), пул-е-мет, огн-е-мет (-мет < *метать*); нем. *Seemann*, англ. *Seaman*, швед. *sjöman* «морьяк» (-тапп, -тап < *тап(n)* «человек, мужчина») и мн.др.³

В различных по строю языках широко используются знаменательные глаголы в функции так называемых связочных, или вспомогательных, глаголов⁴; в тюркских языках этот разряд глаголов

¹ Б. Дельбрюк, Введение в изучение языка. Из истории и методологии сравнительного языкознания, в кн.: С. К. Булич, Очерк истории языкознания в России, I, СПб., 1904, стр. 78.

² Там же.

³ Подробнее см.: В. Д. Аракин, О превращении лексических единиц в аффиксальные морфемы, ФН, 1959, 4.

⁴ Там же, стр. 110—113.

представлен следующими словами: *jür(ü)* — *jör(ü)* — «ходить», *tur-* «стоять», *otur-* «сидеть», *jat-/çat-* «лежать», *qyl-, et-, ejlä-* «делать», *bol-/ol-* «делаться; становиться». Глагол *tur-* в функции глагольной связки используется в двух формах: 1) *turğan* — причастие прошедшее, которое фонетически преобразуется $\langle -tyğan/ -dyğan \rangle -tan$ ⁵; 2) *turur* — причастие настоящее-будущее $\langle -turu \rangle -tur \langle -tu, \rangle -t$ ⁶; глагол *yor(u)* превратился в турецком языке в аффикс настоящего времени *-yor*. Превращение полноценных слов в аффиксы часто сопровождается сложными фонетическими преобразованиями; ср., например, хакасское (качинский диалект) деепричастие на *-abas* \langle деепричастия *barçač* (*bar-* «идти»): *a + barçač* \langle *-abaçač* \langle *-abaças* \langle *-abās*⁷; туркм. *аламо* : *к* \langle аланым *йо* : *к* «я не брал».

Все послелоги (как послелоги-имена, так и послелоги-частицы) по происхождению своему непосредственно связаны с именами или, реже, глаголами. Однако подавляющее большинство тюркских (~ алтайских) словоформобразовательных аффиксальных морфем не может быть (несмотря на многочисленные попытки) с достаточной достоверностью возведено к самостоятельным словам.

Это положение отчетливо осознавалось выдающимися тюркологами О. Н. Бётлингком (1815—1904) и В. В. Радловым (1837—1918); однако их мнение по этому вопросу осталось, по-видимому, неизвестным новым поколениям тюркологов.

О. Н. Бётлингк во Введении к своей — вошедшей в золотой фонд тюркологических трудов — грамматике якутского языка («Über die Sprache der Yakuten», СПб., 1851)⁸ естественно не мог не высказаться по поводу такой животрепещущей проблемы как происхождение аффиксов. «Я не намерен, — писал О. Н. Бётлингк, — и... мне вовсе нет надобности опровергать образование окончаний в так называемых приставочных языках из самостоятельных слов: я хочу только показать опрометчивость той решительности, с какою утверждают, будто в этих языках только в отдельных случаях нельзя наверное найти описания формы материальными словами»⁹. О. Н. Бётлингк свое отрицательное отношение к гипотезе — все аффиксы развились из самостоятельных слов — подкрепляет анализом фактического материала тюркских и финского языков¹⁰. Отвергая с помощью убедительных аргументов возможность происхождения тюркских и финских падежных аффиксов из самостоятельных слов, О. Н. Бётлингк пришел к заключению, что «они представляют в себе материальное окончание не более, чем индогерманские языки в своих окончаниях»¹¹ (разрядка наша. — А. К.).

В. В. Радлов III главу своей работы «Einleitende Gedanken zur Darstellung der Morphologie der Türksprachen» (СПб., 1906) посвятил интересующей нас теме: «Die Genesis des Agglutinationsstoffe»; здесь в качестве основной линии образования аффиксальных морфем анализируется про-

⁵ W. Radloff, Einleitende Gedanken zur Darstellung der Morphologie der Türksprachen, SPb., 1906, стр. 30; Н. П. Дыренкова, Грамматика ойротского языка, М.—Л., 1940, § 94.

⁶ Н. К. Дмитриев, К истории аффиксов сказуемости, в кн.: «Исследования по сравнительной грамматике тюркских языков», ч. II — Морфология, М., 1956, стр. 5—6; Э. В. Севортян, Категория сказуемости, там же, стр. 21.

⁷ «Philologiae Turcicae Fundamenta», I, Wiesbaden, 1959, стр. 617.

⁸ Введение опубликовано отдельным изданием на русском языке: «О языке якутов. Опыт исследования отдельного языка в связи с современным состоянием всеобщего языкознания» («Уч. зап. имп. Акад. наук по первому и третьему отделениям». I, 4, СПб., 1853).

⁹ Там же, стр. 380.

¹⁰ Там же, стр. 380—382.

¹¹ Там же, стр. 382.

цесс, названный В. В. Радловым г и п е р а г г л ю т и н а ц и е й, при котором корень и аффикс так прочно спаиваются, что совершенно утрачивают способность к делению, в результате чего с течением времени продуктивный аффикс становится аморфным и дополняется новым живым.

Глава заканчивается следующим важным заключением: «... аффиксы агглютинативных тюркских языков образованы совершенно так же (*ganz ähnliche Bildungen sind*), как и суффиксы флективных языков (разрядка наша. — А. К.). Они возникают в результате искажения предметного слова (*durch Verstümmelungen von Stoffwörtern*), путем фонетического сплавления (*durch lautliche Verschmelzung*), в результате ошибок при членении „предмета — содержания“ и „предмета — формы“ (*Inhalts- und Formstoff*) и, наконец, даже в результате образований по аналогии (*durch reine analogie Bildungen*)»¹².

Выдающийся лингвист И. А. Бодуэн де Куртене (1845—1929) решительно высказываясь против проведения резкой границы между флексией и агглютинацией. «Все то, что говорится о различии так называемой „флексии“ и так называемой „агглютинации“, до такой степени неясно, неопределенно, запутано, что навряд ли найдется человек, решающийся дать вполне сознательно точное определение того и другого морфологического типа»¹³. И далее: «Вместо необоснованного различения языков „флективных“ и „агглютинативных“ следует говорить, с одной стороны, о различии между сочетанием морфем друг с другом и между психо-фонетическими альтернативами одних и тех же морфем, с другой же стороны, о различии между состоянием синтагм (слов) и между альтернативами (психо-фонетическими изменениями, чередованиями) одних и тех же синтагм»¹⁴.

Известный алтаист В. Л. Котвич (1872—1944) в свое время откликнулся на проблему происхождения аффиксов. «Каково же происхождение суффиксов (=аффиксов. — А. К.)?» — спрашивал он и отвечал: «Специально этот вопрос не исследовался¹⁵, и потому он пока еще не может быть решен окончательно. Об одном, правда, уже сейчас можно говорить с уверенностью: мы имеем в данном случае дело с элементами разного происхождения, природу которого далеко не всегда удается определить с достаточной долей вероятности. Прежде всего имеются суффиксы первообразные, которые возникли совершенно так же, как и корни слов... Наряду с первообразными суффиксами имеются производные» (разрядка наша. — А. К.)¹⁶, которые в алтайских языках, по мнению В. Л. Котвича, восходят к самостоятельным словам; «а) Именно так образуются суффиксы из вспомогательных слов (главным образом вспомогательных глаголов)... б) Другую группу составляют наречия места и времени, которые во всех алтайских языках имеют тенденцию превращаться в суффиксы... в) Наконец, встречаются и отдельные слова, которые тоже постепенно начинают выступать в роли суффиксов»¹⁷; к числу таких слов В. Л. Котвич относит: *čau* «мера; время» > аффикс *-ča/-čä*, глагол *tur- ~ dur-* «стоять» > аффикс *-tir ~ -dir* > *-ti* > ^o*t*; слово *birlä(n)* > послелог *birlä* > *bilä(n)* и т. д.

¹² W. Radloff, указ. соч., стр. 33. И. Бодуэн-де-Куртене, Заметки на полях сочинения В. В. Радлова: *Einleitende Gedanken zur Darstellung der Morphologie der Türksprachen*. W. Radloff. С.-Петербург, 1906, «Живая Старина», СПб., 1909, 2—3, стр. 195.

¹³ И. А. Бодуэн-де-Куртене, указ. соч., стр. 199.

¹⁴ Там же, стр. 202.

¹⁵ Ср., однако, указанные выше мнения по этому вопросу О. Н. Бётлингга, В. В. Радлова, И. А. Бодуэна де Куртене.

¹⁶ В. Котвич, Исследование по алтайским языкам, М., 1962, стр. 51—52.

¹⁷ Там же, стр. 52—54.

К воззрениям В. Л. Котвича близко примыкает позиция известного алтаиста Г. И. Рамстедта (1873—1950), по мнению которого слово делится на две части: «1) неизменяемая начальная часть, состоящая из одного или нескольких звуков, т. е. основа; 2) изменяемая копечная часть — окончание (или несколько окончаний, связанных между собой в одно окончание). Когда окончание представляет собой исторически-первичное образование, мы называем его суффиксом; если оно восходит к отдельному слову, утратившему в силу безударности свою самостоятельность, мы его называем аффиксом, или говорим об аффикированном слове»¹⁸. Из сказанного с полной очевидностью выясняется, что окончания (т. е. аффиксальные морфемы) делятся, по мнению Г. И. Рамстедта, на п е р в и ч н ы е (сходные с флективными окончаниями индоевропейских языков) и в т о р и ч н ы е (восходящие к самостоятельному слову).

Происхождение некоторой части тюркских аффиксов А. Н. Самойлович (1880—1938) объяснял действием а н а л о г и и; так, например, он толковал происхождение «приставок» числительных-разделительных *-шар/-шӳр* и *-рар/-рӳр*: «первая возникла при основе *алты*, „шесть“ по аналогии с *беш + ер* „по пяти“ (звук *ш* перешел из основы в приставку), вторая — при основе *iki* „два“ по аналогии с *бир + ер* „по одному“»¹⁹. Есть и другие, более вероятные гипотезы о происхождении названных выше аффиксов²⁰, однако в данном случае нас интересует сам по себе подход к объяснению происхождения отдельных аффиксов.

А. П. Поцелуевский (1894—1948) в работе «Фонетический строй туркменского языка», анализируя «особенности агглютинации в туркменском языке», пришел к выводу, что есть «возможность установить целую гамму различных оттенков и переходных типов агглютинации, приводящих к явлениям явно фузионного и даже флективного типа»²¹. На основании скрупулезного анализа ряда форм туркменского разговорного языка А. П. Поцелуевский сделал следующее заключение: «1. В туркменском разговорном языке наряду с агглютинативными имеется большое число форм в той или иной мере фузионных (причем явления фузии в отдельных случаях начинают перерастать в явления внешней и внутренней флексии). Поэтому туркменский язык, вопреки традиционному представлению о нем, следует считать языком не строго агглютинативного, а переходного агглютинативно-фузионного типа с зачатками (в отдельных случаях) явлений флексии. 2. Ассимиляция и выпадение звуков обогащает морфологию туркменского языка новыми формами путем превращения ряда самостоятельных слов в формальные элементы речи и содействуют переходу туркменского языка от явлений строго агглютинативного типа к переходным агглютинативно-фузионным и вполне фузионным (ведущим, в конечном счете, к явлениям флексии)»²².

В. Д. Аракин, посвятивший специальную статью интересующей нас проблеме, намечает три этапа образования аффиксальных морфем.

П е р в ы й э т а п: в слове «наряду с его лексическим значением развивается грамматическое значение, которое, однако, не приводит к разрыву многозначности слова, к утрате им лексического значения, вследствие

¹⁸ Г. И. Рамстедт, Введение в алтайское языкознание, М., 1957, стр. 26.

¹⁹ А. Н. Самойлович, Краткая учебная грамматика современного османско-турецкого языка, Л., 1925, стр. 36.

²⁰ А. Н. Кононов, Тюркские этимологии, «Уч. зап. ЛГУ», 179. Серия востоковедческих наук, 4, 1954.

²¹ А. П. Поцелуевский, Избр. труды, Ашхабад, 1975, стр. 51.

²² Там же, стр. 57.

чего оно продолжает существовать, преимущественно как лексическая единица».

В т о р о й э т а п: в слове «наряду с его лексическим значением интенсивно развивается грамматическое значение, приобретающее в системе языка такой удельный вес, что наступает разрыв многозначности слова, происходит расщепление слова на два омонима — один омоним только с лексическим, а другой омоним — только с грамматическим значением. Наличие таких омонимов позволяет им развиваться независимо друг от друга, что, как правило, приводит к значительному изменению звуковой формы омонима с грамматическим значением...».

Т р е т ь и й э т а п: «грамматический омоним полностью утрачивает всякую смысловую и звуковую связь со своим лексическим омонимом, превращаясь, таким образом, в типичный грамматический элемент ...»²³.

Этот трехэтапный процесс образования аффиксальных морфем, реконструируемый В. Д. Аракиным, базируется преимущественно на фактах приобретения знаменательным глаголом функций глагола вспомогательного.

Турецкий филолог Мухаррем Эргин все аффиксы турецкого языка делит на две группы: одна часть из них суть морфемы, которые всегда использовались только как аффиксы, а потому их можно назвать с о б с т в е н н о - а ф ф и к с а м и (*asıl ekler*); другая часть аффиксов образовалась или в результате сложения двух или более аффиксов или в результате превращения самостоятельного слова в аффикс²⁴.

Профессор Анкарского университета Веджихе Хатибоглу в статье «Происхождение аффиксов в турецком языке»²⁵ наметила три пути образования аффиксальных морфем: 1) самостоятельное слово > аффикс; 2) слияние двух аффиксов в единый неделимый: *kum-sal* «песчаное место» <*kum-su* (*kum gibi* «подобный песку; как песок») + *-al*; *yok-sul* «неимущий» <*yok-su* (*yok gibi*) + *-l*; *-cil/-cil*: *adamcil* «дикий; бросающийся на людей» <*adam* + *-ci* + *-l*. Значение аффикса *-l* не объясняется. Аффикс *-tan/-dan* < *-ta/-da* (*locativus*) + *-in* (*instrumentalis*)²⁶; 3) аффиксы общего — для ряда языков — происхождения; к числу таковых, по мнению В. Хатибоглу, относится, например, аффикс *-al*, который в том же, что и в турецком языке, значении и функции используется в латинском языке²⁷; здесь речь должна идти, конечно, не об общем происхождении подобных аффиксов, а о случайном звуковом совпадении.

Как будет показано ниже, подавляющее большинство слово-формообразующих аффиксов обязаны своим происхождением ф у з и и, под которой понимается с л и я н и е в е д и н ы й ф о р м а н т д в у х и л и н е с к о л ь к и х о д н о ф о н е м н ы х а ф ф и к с о в, происхождение которых теряется во мгле тысячелетий, причем слияние этих аффиксов становится таким прочным, что приводит к полному стиранию границ между морфемами.

Эти однофонемные аффиксальные морфемы, из которых состоит большинство формантов тюркских (~алтайских) языков, ничем не отличаются от флексии индоевропейских языков, о чем убедительно писали О. Н. Бётлингк, В. В. Радлов, И. А. Бодуэн де Куртенэ (см. выше).

²³ В. Д. Аракин, указ. соч., стр. 118.

²⁴ Muharrem Ergin, Türk Dil Bilgisi, Istanbul, 1962, стр. 151.

²⁵ Vesîhe Hatiboğlu, Türkçedeki eklerin kökeni, «Türk Dili», 268, Ankara, Ocak, 1974.

²⁶ О составе аффикса исходного падежа существует целый ряд предположений; см.: А. Н. Кононов, Грамматика современного турецкого литературного языка, М.—Л., 1956, § 127; M. Räsänen, Materialien zur Morphologie der türkischen Sprachen, Helsinki, 1, 1957, стр. 62—63; Н. З. Гаджиева, Проблемы тюркской ареальной лингвистики. Среднеазиатский ареал, М., 1975, стр. 273.

²⁷ Подробнее см.: Vesîhe Hatiboğlu, указ. соч., стр. 332—333.

Термин «фузия» был введен в научный обиход Э. Сепиром, по мнению которого существуют два типа аффиксации: «сплавливающий (фузирующий)» и «сополагающий», технику этого последнего типа можно называть «агглютинативной»²⁸. Эта же идея лежит в определении фузии, предложенной Ж. Марузо: «Процесс, при котором два смежных элемента сочетаются таким образом, что один из них или оба сразу претерпевают изменение, делающее невозможным прямой анализ: лат. *ars = art-s, prudens = pro-uidens*»²⁹.

Соединение двух однозначных аффиксов в единый сложный формант, повторяющий значение и грамматические функции его составляющих морфем, как один из важнейших способов формирования аффиксальных морфем давно привлекло внимание тюркологов (~ алтаистов). Наслаивание однозначных аффиксов — нового продуктивного на старый, потерявший свою продуктивность — явление широко распространенное в алтайских языках³⁰ и в других языковых семьях³¹.

Сказанное выше позволяет наметить три типа образования аффиксальных морфем.

I тип. Сращение в единое целое двух (и более) однозначных аффиксальных морфем:

1. Аффикс множественного числа: тюрк. *-lar / -lär < -l + -r*; ср. монг. *-n + -r, -n + -s, -n + -t, -t + -t (-č + -t), -t + -l (-č + -l)*, нанайск., эвенк., дахурск. *-s + -l*³².

2. Аффикс дательного падежа: *-qa/-gä < -q + -a*³³.

3. Аффиксы пунудительного залога: $\gamma^{\circ}r / -q^{\circ}r$; $\gamma^{\circ}z / -q^{\circ}z < -\gamma / -q + \gamma^{\circ}r \sim \gamma^{\circ}z$; $-t^{\circ}r / -d^{\circ}r < -t / -d + \gamma^{\circ}r$ ³⁴.

4. Аффикс уменьшительности-ласкательности: $-\gamma / -q + -^{\circ}q$ (γ) из двух уменьшительных аффиксов; точно такой же по своему звуковому составу — омоаффикс, образующий имена от глагольных основ, состоит из $-\gamma / -q$ — аффикс пунудительного залога (см. выше) + аффикс, образующий имена от глаголов (см. ниже).

5. Аффикс уменьшительности-ласкательности *-čaq / -čäk, -ğaq / -ğäk, -čyq...* из двух уменьшительных аффиксов: $-\check{c} / -ğ + -q / -k$ ³⁵.

²⁸ Э. Сепир, Язык. Введение в изучение речи, М.—Л., 1934, стр. 102.

²⁹ Ж. Марузо, Словарь лингвистических терминов, М., 1960, стр. 331.

³⁰ Подробнее см.: А. Н. Кононов, О фузии в тюркских языках, сб. «Структура и история тюркских языков», М., 1971; е го ж е, Уменьшительные формы имен и словообразование (на материале тюркских языков), сб. «Вопросы тюркологии. К шестидесятилетию академика АН АзербССР М. Ш. Ширалиева», Баку, 1971.

³¹ См.: В. В. Виноградов, Русский язык. Грамматическое учение о слове, М.—Л., 1947, стр. 114—115; А. А. Реформатский, Введение в языковедение, М., 1955, стр. 212—213; К. Е. Майтиска, Образование и классификация суффиксов в агглютинативных языках (на материале финно-угорских языков), сб. «Морфологическая типология и проблема классификации языков», М.—Л., 1965; Б. А. Серебрянников, О взаимосвязи языковых явлений и их исторических изменений, ВЯ, 1964, 3.

³² D. S i n o r, On some Ural-Altaic plural suffixes, «Asia Major», N. S., II, pt. 2, 1952, стр. 222; N. P o r r e, Plural suffixes in the Altaic languages, UAJB, XXIV, 3—4, 1952; А. Н. Кононов, Показатели собирательности-множественности в тюркских языках, Л., 1969; Г. Ф. Благова, Комбинация аффиксов множественности — исконно алтайская константа или типологический параллелизм?, сб. «Проблема общности алтайских языков», Л., 1971.

³³ М. Р ä s ä n e n, указ. соч., стр. 59—60; Б. А. Серебрянников, О взаимосвязи языковых явлений и их исторических изменений, стр. 23.

³⁴ М. Р ä s ä n e n, указ. соч., стр. 158—159; И. В. Кормушин, Явление фузии в истории алтайских языков и его значение для решения проблемы общности алтайских языков, сб. «Проблема общности алтайских языков», стр. 365.

³⁵ М. Р ä s ä n e n, указ. соч., стр. 92—93; Г. И. Рамстедт, указ. соч., §§ 101, 102.

6. Аффикс уменьшительности: $-čayaz$ (-s, -š) / $-čägäz$ (-s, -š). $-caγuz$ (-s, -š)... $-gayaz$... из трех уменьшительных аффиксов: $-č/-ğ$ + $-γ/-g$ + $-z$ (-s, -š)³⁶.

7. Аффикс $-t^r°q(k)/-d^r°q$ (k), состоящий из трех аффиксальных морфем: $-t^r/-d^r$ (\sim -s°) — уподобительно-уменьшительный аффикс³⁷ + $-r$ (\sim -°l) — уменьшительный аффикс + $-q$ (°k) — уменьшительный аффикс, образует от имен прилагательных и существительных уменьшительные словоформы, причем имена существительные, как правило, получают новое значение: $qizil-liraq$ < * $qizil-diraq$ (durch Assimilation) osmanisch, «rotlich»³⁸; казах. *жамандрак* (< *жаман-д-рак*) «хуже»³⁹; *kildruk* (< *kil-duruk*)/*kil-čik* (В. Atalay, МК, III, 417) «усик; ость» (колоса) < *kil* «волос; щетина»; ср. еще: туркм. *боюнтырык*, татар. *боендырык* «ярко» (*боюн*, *боен* «шея»); туркм. *агыздырык* > *агыззырык* «удила» (агыз «рот; пасть»)⁴⁰.

Аффикс $°t^r°q$ входит в состав сложного форманта $°mt^r°q$, образующего уменьшительные формы (формы неполноты признака) имен прилагательных: $qara-mtriraq$ «черноватый»; $-m$ — уменьшительный аффикс; ср.: $qara-m$ «черноватый»⁴¹. Аффикс $-m$, как давно утративший свою продуктивность, вошел в состав целого ряда уменьшительных формантов: $-ms°$, $-mt°q$, $-md°q$, $-mt°l$, $-m°l$.

Аффиксальная уменьшительная морфема $-l$ ⁴², обнаруживаемая в составе двух последних из перечисленных выше аффиксов, как потерявшая в свое время продуктивность, была дополнена аффиксом $-t^r/-d^r-°q(k)$: казах. *көз-іл-ді-р-ік* «очки» («маленькие глаза; глазки»); др.-тюрк. *kōt-ül-d-r-ük* «нагрудный ремень лошади» (ДТС, 314) < * $gōt \sim kōy$ «грудь»⁴³; ср. турецк. *gōmlek* «рубаша» < $gōt \sim gōy/kōy$ «грудь» + два уменьшительных аффикса: $-l$ + $°k$ ⁴⁴; ср.: $k/gōyül$ «сердце» $k/gōy$ «грудь» + уменьшительный аффикс $-l$ ⁴⁵; ср. еще кумандинские словоформы: *kūnek*, *kūnük*, *kūnük*, *kūnъnek* «рубаша»⁴⁶ — уменьшительные формы от *kūn* < * *kūng* «грудь».

³⁶ Там же.

³⁷ Этот аффикс входит в состав ряда уменьшительных формантов: $-sγ$, $-sīg$, $-sīl$, $-sal$, $-sīm$, $-sīmaq$, $-sīman$, $-sīmal$, $-sīban$; см.: I. Laude-Cirtautas, Der Gebrauch der Farbzeichnungen in den Türkdialekten, Wiesbaden, 1964, стр. 124—125; ср.: W. Van g, Beiträge zur türkischen Wortforschung, «Turana», Budapest, 1948, 5, §§ 1—4; 11.

³⁸ I. Laude-Cirtautas, указ. соч., § 34.

³⁹ П. М. Меллиоранский, Краткая грамматика казах-киргизского языка, 1, СПб., 1894, стр. 26.

⁴⁰ Значительное число слов с этим аффиксом собрано в исследованиях: Э. В. Сортыан, Аффиксы именного словообразования в азербайджанском языке, М., 1966, стр. 176—178; С. Н. Муратов, О тюркских аффиксах *-таш/-даш* и *-турук/-дурук* в свете данных других алтайских языков, сб. «Проблема общности алтайских языков»: Ф. А. Ганиев, Суффиксальное словообразование в современном татарском литературном языке, Казань, 1974, стр. 105—106; W. Van g, указ. соч., § 14; З. Б. Мухамедова, К этимологии слов типа *боюнтурук*, «Изв. АН ТуркмССР», Серия общественных наук, 1973, 5.

⁴¹ А. Н. Кононов, Уменьшительные формы имен п словообразование, стр. 97—98; I. Laude-Cirtautas, указ. соч., §§ 61, 70, 77, 82.

⁴² А. Н. Кононов, Грамматика современного узбекского литературного языка, М.—Л., 1960, § 152.

⁴³ W. Van g, указ. соч., §§ 4, 7, 8, 9; по С. Н. Муратову (указ. соч., стр. 338): *ком*, *көл* «ярко; потник» и т. п.

⁴⁴ W. Van g, указ. соч., § 9; ср.: «*Gōmlek* (de osmanli ancien *gōñlek*) „chemise“ primitivement: „veste de cuir“ (*gōñ*); comparez le français „cuirasse“» (J. Deny, Grammaire de la langue turque, Paris, 1924, стр. 564); узб. *kūllaq* «рубаша» (< **kūnğlak*), по мнению М. Асамудиновой («Название одежды и ее частей в узбекском языке». АКД, Ташкент, 1969, стр. 16) < узб. *kūn* «выделанная кожа; юфть». Эти предположения маловероятны.

⁴⁵ W. Van g, указ. соч., §§ 8—9.

⁴⁶ Н. А. Баскаков, Диалект кумандинцев, М., 1972, стр. 228.

Из сказанного следует, что приведенные выше слова *kəz-il-di-p-ik*, *kəm-ül-dü-r-ük* и им подобные образованы уменьшительным аффиксом *-il*, уподобительным аффиксом *-di* (~ *-ci*)⁴⁷ и двумя уменьшительными аффиксами *-p(-l) + -ik*.

Аффикс $^{\circ}l$ в уменьшительной функции обнаруживается в составе ряда сложных формантов: $^{\circ}\check{c}l/^{\circ}\check{s}l$, $^{\circ}s^{\circ}m^{\circ}l$, $^{\circ}\check{s}^{\circ}l^{\circ}t$ ($^{\circ}d$) m , $^{\circ}l^{\circ}t(-^{\circ}d)-^{\circ}q(k)$, $^{\circ}\check{s}^{\circ}l-t$ ($^{\circ}d$) $^{\circ}m$, $^{\circ}lt(d)-m$, $^{\circ}lt(-d)^{\circ}m$ ⁴⁸ и др.

В шорской словоформе *аг-ыл-ды-р-ым* «беловатый» конечная уменьшительная морфема *-ым* функционально и по значению полностью соответствует морфеме *-ik*, *-ük* в приведенных выше примерах.

Уменьшительный аффикс $^{\circ}q/^{\circ}k$, дополненный вторым уменьшительным формантом $^{\circ}n > ^{\circ}q^{\circ}n/^{\circ}k^{\circ}n$ известен тюркским, монгольским и тунгусо-маньчжурским языкам⁴⁹.

Морфема *-r* в составе форманта *-t/-d-r-q/k* имеет уменьшительное значение, обнаруживаемое в аффиксе *-raq/-rek* (*az-rak* «меньше»), который состоит из двух уменьшительных аффиксов *-r + ^{\circ}q/k*. Соответствие согласных *r : l* в уменьшительных формах — явление довольно широко распространенное: турецк. (диалектное); *yukari-lak* (лит. *yukari-rak*) «выше»; *aşağı-lak* (лит. *aşağı-rak*) «ниже»⁵⁰; *boz-alaq*, *boz-araq*, *boz-raq*, *boz-ıraq* «сероватый»⁵¹; узб. *күк-им-ти-р* ~ *күк-им-ти-л* «синеватый»; ср. кирг. *көк-мөл* (< **көк-үм-өл*), *көк-мөлдүр*, *көгүлдүр/көгүлтүр*, уйг. *көкүмтүл* «синеватый; голубоватый; зеленоватый».

Морфема t°/d° в составе сложного аффикса $t^{\circ}/d^{\circ}-r^{\circ}-q/k$ повторяется в аффиксах $^{\circ}-t^{\circ}/-d^{\circ}-q(k)$, $^{\circ}mt^{\circ}l$; морфема t°/d° сопоставляется с морфемой $-s^{\circ}$, имеющей уподобительное ~ уменьшительное значение.

Как уже приходилось отмечать⁵², формант $t^{\circ}/d^{\circ}-r^{\circ}-q/k$ является о м о а ф ф и к с о м: 1) образует уменьшительные формы от имен (см. выше); 2) образует имена существительные от глаголов; в данном случае $t^{\circ}/d^{\circ}-r^{\circ}-q(k) < t^{\circ}/d^{\circ} + -r$ — аффикс понудительного залога + $^{\circ}q(-^{\circ}k)$ — аффикс имен существительных от глаголов;⁵³ узб. *тутаиш-тур-уқ* «вязанка дров» (*тутаиш-тур-мақ* «соединять»); татар. *бас-тыр-ык* «слега (жердь), которой прижимают сено на возу», (*бас-тыр-у* «давить»); узб. *тутан-тир-ик* «растопка; лучина» (*тутан-тир-мақ* «растопить печь»); турецк. *tutuş-tur-uk* «растопка; лучина» (*tutuş-tur-mak* «разжигать»).

8. Аффикс числительных-собираательных (или лучше, числительных-самостоятельных, числительных-субстантивных) *-avlan/-ävläñ*⁵⁴ (< *avlan-ñ/äv-lä-ñ*) состоит из трех однофункциональных аффиксов, имеющих собирательное значение: *-av/-aw < -aγ* (входит в состав аффикса собира-

⁴⁷ Ср. алт. *көк-сү* «синеватый».

⁴⁸ См.: I. L a u d e - C i r t a u t a s, указ. соч., в разделе «Formantienindex»; «Современный казахский язык. Фонетика и морфология», Алма-Ата, 1962, стр. 202—204.

⁴⁹ В. К о т в и ч, указ. соч., стр. 103—104; Г. И. Р а м с т е д т, указ. соч., §§ 99—100; 104; М. Н. О р л о в с к а я. Имена существительные и прилагательные в современном монгольском языке, М., 1961, стр. 96—97; В. А. А в р о р и н, Грамматика нанайского языка, I, М.—Л., 1959, стр. 108—109.

⁵⁰ J. D e n u, Principes de grammaire turque, Paris, 1955, § 41; А. Н. К о н о н о в, Грамматика современного узбекского литературного языка, § 152.

⁵¹ I. L a u d e - C i r t a u t a s, указ. соч., § 77.

⁵² А. Н. К о н о н о в, Уменьшительные формы имен и словообразование, стр. 97.

⁵³ М. R ä s ä n e n, указ. соч., стр. 122; см. еще стр. 97; ср.: С. Н. М у р а т о в, указ. соч., стр. 344—346; Г. И. Р а м с т е д т, указ. соч., стр. 189.

⁵⁴ «Philologiae Turcicae Fundamenta», I, стр. 149.

тельности *-aγun/-ägün*⁵⁵) + *-la/-lä* — общеалтайский аффикс комитатива + *-n* — общеалтайский аффикс собирательности-множественности⁵⁶.

9. В саларском языке будущее-категорическое, или будущее-определенное, время образуется с помощью следующих аффиксов:

1) *-γur/-gür*, *-qur/-kür*; 2) *-γα(r)/-gä(r)*; *-qa(r)/-kä(r)*; 3) *-qu/-gu*⁵⁷. Аффиксы *-γur*, *-γar*, *-gär*, *-gür*, по-видимому, возникли в результате сплавления двух близких по функции аффиксов: *-γu/-gü* ~ *-γα/-gä* — формант будущего времени + *-r* — показатель аориста; дальнейшее фонетическое развитие аффикса *-γur* привело к образованию аористного причастия на *-jur/-jür* ($\gamma > j$).

Число примеров, иллюстрирующих образование многосложных аффиксальных морфем путем сращения простых формантов, легко можно при необходимости значительно увеличить.

II тип. Сращение в единое целое двух (и более) формантов различного назначения:

1. Аффикс *-maq/-mek* — масдар (имя действия) < *-m°* — масдар + + *-q/-k* ~ *-qa/-ke* — аффикс дательного падежа⁵⁸; *-daş/-taş* — существует ряд предположений о составе этого аффикса; наиболее вероятным мне представляется: *-da/-ta* — глаголообразующий аффикс + *-°ş* — словообразовательный омоаффикс взаимного залога и масдара⁵⁹.

2. Аффикс исходного падежа *-tan/-dan*, *-tän/-dän* почти по единодушному мнению алтаистов состоит из двух морфем: *-ta* + *-n*, где первый элемент обычно сопоставляют с аффиксом местного-исходного падежа; что же касается второго составляющего, то мнения о его происхождении расходятся⁶⁰.

3. Две близкие по функции морфемы объединены в директивном аффиксе *-γaru/-qaru*, *-gärü/-kärü* < *-γα/-qa* — дательный падеж + *-ru/-rü* — директивный падеж⁶¹.

4. Формант алтайского будущего-возможного времени *-гадый/-гыдый*, шорского — *-гадыг/-кадыг*, хакасского *-хадыг/-кедиг* < *-ga/-gy* < *-gai* — аффикс желательного наклонения или будущего-предположительного времени + сравнительно-уподобительный аффикс *-дыг/-дый/-даг*⁶².

5. Аффиксы 2-го лица единственного числа повелительного наклонения *-γil*, *-γin*, *-γir* состоят из аффикса будущего времени *-γi/-γα* < *-γai*⁶³ ~ ~ *-*γu(i)* + показатели собирательности-множественности *-l*, *-n*, *-r*⁶⁴.

⁵⁵ Там же, стр. 102.

⁵⁶ А. Н. Кононов, Показатели собирательности-множественности в тюркских языках, стр. 15—18; Г. Д. Саянцев, Сравнительная грамматика монгольских языков, I, М., 1953, стр. 133; Н.-Р. Vietze, Plural, Dual und Nominalklassen in altaischen Sprachen, «Altaistica», Berlin, 1969, стр. 482—483.

⁵⁷ Э. Р. Тенишев, Саларский язык, М., 1963, стр. 35.

⁵⁸ Подробнее см.: А. Н. Кононов, Тюркские этимологии, «Уч. зап. ЛГУ». Серия востоковедческих наук, 4, 1954; Б. А. Серебрянников, К вопросу о происхождении элемента κ (g, q, γ) в окончании дательно-направительного падежа в тюркских языках, «Краткие сообщения Института народов Азии», 83, М., 1964.

⁵⁹ О других предположениях о составе этого аффикса см.: А. Н. Кононов, Грамматика современного узбекского литературного языка, § 111; С. Н. Муратов, указ. соч., стр. 332—336.

⁶⁰ Подробнее см.: М. Räsänen, указ. соч., стр. 61—63; А. Н. Кононов, Грамматика современного турецкого литературного языка, § 127; Н. З. Гаджиева, Проблемы тюркской ареальной лингвистики. Среднеазиатский ареал, стр. 273—274.

⁶¹ О других этимологиях см.: М. Räsänen, указ. соч., стр. 63—66, А. Н. Кононов, Актуальные тюркологические заметки, «Советская тюркология», 1975, 2, стр. 82.

⁶² Н. П. Дыренкова, указ. соч., § 95.

⁶³ Г. И. Рамстедт, указ. соч., § 50; J. Deny, Grammaire de la langue turque, стр. 920—939.

⁶⁴ А. Н. Кононов, Показатели собирательности-множественности..., стр. 3—9; 15—17; е го же, Актуальные тюркологические заметки, стр. 79—80; 85.

6. Аффикс будущего-категорического времени $-(j)a\check{g}aq/-(j)\check{a}\check{g}\check{a}k/-(j)y\check{g}aq/-(j)i\check{g}\check{a}ki$ состоит из двух элементов: $-(j)a < -\gamma a < -\gamma ai/-qai \sim -\gamma ui/-\gamma yi/-qui/-qu$ ⁶⁵ — причастие будущего времени + $-\check{g}aq/-\check{a}a\check{a} < -\check{g}ay/-\check{a}a\check{a}$ — аффикс уподобления-сопоставления (экватив)⁶⁶; ср.: $-гадыи \sim -гадык$ (см. п. 5).

Пока трудно ответить на само собой напрашивающийся вопрос: есть ли связь между аффиксом экватива $-gay/-\check{a}a\check{a}$ и хакасской формой на $-чаң$, обозначающей «действие прошедшего, настоящего (точнее: вневременного) времени и действие, проектируемое в будущее» (разрядка наша. — А. К.)⁶⁷. Если оба форманта одного происхождения, то аффикс $-(j)a\check{g}aq/-(j)\check{a}\check{g}\check{a}k$ возник в результате фузионного сплавления двух показателей будущего времени: $-\gamma a/-g\check{a} \sim -\gamma u/-\gamma y$ ⁶⁸ + $-\check{g}ay/-\check{a}a\check{a}$. Однако в пользу первого предположения ($-чаң$ — аффикс уподобления) свидетельствует то обстоятельство, что вторая морфема в большинстве формантов будущего времени имеет значение экватива.

«Предваряющее будущее»⁶⁹ алтайского языка образуется с помощью аффикса $-гажын/-гежин < -га + -жн < -чан(нг) — аффикс уподобления$. «Возможное будущее время» тувинского литературного языка образуется с помощью сложного форманта $-гу$ (и его фонетических вариантов) + $-дег$ (аффикс уподобления) + личные показатели⁷⁰, т. е. полностью повторяет модель аффиксов будущего времени, рассмотренных выше.

В тувинском литературном языке есть еще особая форма будущего времени или по терминологии, принятой у тувинских лингвистов, «предельное наклонение»; эта форма образуется с помощью сложного аффикса: 1-е лицо ед. число $-гыжемче$; 2-е лицо ед. число $-гыжеңче$; 3-е лицо ед. число $-гыже$ и т. д.⁷¹, которому в тодженском диалекте соответствует аффикс 1-го лица ед. числа $-гышемеге \sim -гишаамга$: $кел-гыже-м-че/кел-ги-ше-м-че \sim кел-ги-шаа-м-га$ ⁷² «до тех пор, пока не придут».

По своему строению этот аффикс соответствует форме на $-(j)a\check{g}aq/-(j)\check{a}\check{g}\check{a}k$, так как $-ги-же-м-че/-ги-ше-м-ге \sim -ги-шаа-м-га < -ги — формант будущего-возможного времени + -же \sim -ше/шаа < -жаг \sim -шаг — уподобительный аффикс$ ⁷³ + $-м — аффикс 1-го лица ед. числа + -че/-ча — аффикс, обозначающий предел во времени и пространстве$ (ср. узб. *яқингача* «до недавнего времени»; *Тошкентгача* «до Ташкента»), которому

⁶⁵ Не исключено, что аффикс $-\gamma a$ связан с аффиксом дательного падежа, который при именных основах выражал направление, цель, при глагольных основах — устремление в будущее.

⁶⁶ J. D e n y, указ. соч., стр. 576, 996, 1011; см. еще: M. M a n s u r o ğ l u, *Türkçe-de gay/-gey eki ve türemeleri*, «Jean Demy Armağanı», Ankara, 1958, стр. 181—183; Z. K o r k m a z, *Türkçede -acak/-ecek gelecek zaman (Futurum) ekinin yapısı üzerine*, «Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi», XVII, 1—2, 1959; Б. А. С е р е б р е н н и к о в, К вопросу о происхождении элемента κ (g, q, γ) в окончании дательного направительного падежа в тюркских языках, стр. 70—71; Б. Ч а р ы я р о в, Гүнорта-гүнбатар түрки диллерде ишлик заманлари, Ашгабад, 1969, стр. 139—143.

⁶⁷ «Грамматика хакасского языка», под ред. проф. Н. А. Баскакова, М., 1975, стр. 214; Н. А. Баскаков и А. И. Инкижекова-Грекул в работе «Хакасский язык» (приложение к «Хакасско-русскому словарю», М., 1953, стр. 453) эту форму называют «настоящее-будущее (универсальное) время». См. еще: В. Г. К а р п о в, Хакасский язык, «Языки народов СССР», II — Тюркские языки, М., 1966, стр. 439.

⁶⁸ Аффикс будущего времени с широким гласным $-\gamma a + -\check{g}aq > -(j)a\check{g}aq$; аффикс будущего времени с узким гласным $-\gamma u/-\gamma i + -\check{g}aq > -(j)y\check{g}aq$.

⁶⁹ «Грамматика алтайского языка», Казань, 1869, стр. 65.

⁷⁰ Ш. Ч. С а т, Тувинский язык, «Языки народов СССР», II — Тюркские языки, стр. 396.

⁷¹ Там же, стр. 397.

⁷² З. Б. Ч а д а м б а, Тоджинский диалект тувинского языка, Кызыл, 1974, стр. 106.

⁷³ По мнению З. Т. Чадамба, $-шаа < шаг$ «время».

в тодженском диалекте функционально соответствует аффикс дательного падежа *-ga/-ge*.

В непосредственной связи с двумя последними формантами находится аффикс $-\gamma^{\circ}n\check{c}a/-g^{\circ}n\check{c}\check{a}$, $-q^{\circ}n\check{c}a/-k^{\circ}n\check{c}\check{a}$, в «огузских» языках: $-(j)^{\circ}n\check{c}a/-(j)^{\circ}n\check{c}\check{a}$ ⁷⁴, обозначающий «предел в будущем»⁷⁵ или «konverbium limitativum»⁷⁶. По предположению авторов «Грамматики алтайского языка», «это деепричастие составлено из тюркского причастия будущего, оканчивающегося на *-gu...* с придачею к нему частицы *-ca*, означающей предел; беглая гласная *u* изменилась в *ы* и прибавилось *-н*»⁷⁷.

Аффикс $-\gamma^{\circ}n\check{c}a$ (и его фонетические варианты) обычно рассматривают как соединение аффикса причастия прошедшего времени $-\gamma a n$ или аффикса глагольного прилагательного $-\gamma u n$ с аффиксом экватива $-\check{c}a/-\check{c}\check{a}$ ⁷⁸. Однако причастие прошедшего времени и тем более глагольное прилагательное не могут обозначить «предел в будущем».

Исходя из семантики этой формы, следует согласиться с мнением авторов «Грамматики алтайского языка», утверждавших, что первая морфема в составе этого форманта $-\gamma^{\circ}/-g^{\circ}$, $-q^{\circ}/-k^{\circ}$ восходит к аффиксу будущего времени (см. выше); аффикс $-\check{c}a/-\check{c}\check{a} < -\check{c}a n/-\check{c}\check{a} n$ — аффикс предела или экватива. Наибольшую трудность представляет определение природы и функции морфемы *-n*, находящейся между первой и третьей морфемам; наиболее вероятно, что это — «посессивное *-n*», возникающее при склонении указательных местоимений, форм на *-nki*, *-daki* и существительных с аффиксом принадлежности 3-го лица.

7. Другой формант будущего времени $-(j)asy/-(j)\check{a}si$ по своему строению ($< -\gamma a + -sy < -sy \gamma$ — аффикс уподобления)⁷⁹ полностью совпадает с аффиксом $-(j)ag\check{a}q/-(j)\check{a}g\check{a}k$ (см. выше).

8. Фонетической разновидностью аффикса $-(j)asy/-(j)\check{a}si$ является аффикс будущего времени $-\gamma us u/-g\check{u} s\check{u}$ ⁸⁰ $< -\gamma u \sim -\gamma a + -su < -sy \gamma$.

В восточном диалекте татарского языка вместо литературной формы будущего времени на $-asy/-\check{a}se$ ⁸¹ употребляется форма на $-гысы/-гесе$ ⁸².

9. Одинаковый с формантом $-(j)asy/-(j)\check{a}si$ ($< -\gamma a-sy$) состав аффиксальных морфем обнаруживается в алтайском, шорском, хакасском аффиксе будущего-возможного времени: $-\gamma ady \gamma /-k\check{a}d\check{ig} \sim -\gamma ady i, -xada \gamma, -xady \gamma$ ⁸³ $< -\gamma a + -dy \gamma$ — сравнительно-уподобительный аффикс (см. выше).

10. Строение аффикса $-\gamma ady \gamma$ (и его вариантов) повторяется в алтайском, в котором он обозначает будущее действие: $-\gamma ala q/-qala q/-k\check{a}l\check{a}k$,

⁷⁴ Подробнее см.: Ю. Д. Джанмавов, Деепричастия в кумыкском литературном языке (сравнительно с другими тюркскими языками), М., 1967, стр. 114—161; здесь обстоятельно разобраны предположения о составе этого аффикса.

⁷⁵ «Грамматика алтайского языка», стр. 65.

⁷⁶ М. Р ä s ä n e n, указ. соч., стр. 190—191.

⁷⁷ «Грамматика алтайского языка», стр. 65.

⁷⁸ Ю. Д. Джанмавов, указ. соч., стр. 122—123.

⁷⁹ Подробнее см.: М. С. Михайлов, О форме на $-(y)asi$ в турецком языке, сб. «Вопросы языка и литературы стран Востока», М., 1958. О других предположениях о составе этого аффикса см.: Н. А. Баскаков, К вопросу о происхождении условной формы на $-ca/-ce$ в тюркских языках, сб. «Академику В. А. Гордлевскому к его семидесятипятилетию», М., 1953, стр. 50; М. Р ä s ä n e n, указ. соч., стр. 116—117; S. Ç a g a t a y, Eski Osmanlıca'da fiil müstakları, II. Partisip, «Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi», V, 5, 1947, § 46.

⁸⁰ В. А т а л а y, Türkçede (gelecek zaman) edatı, «Türk Dili», Seri II, 3—4, Ankara, 1940, стр. 34; J. D e n y, Grammaire de la langue turque, стр. 576.

⁸¹ «Форма на $-asy$. . . выражает должествование, относящееся к будущему и настоящему времени» («Современный татарский литературный язык. Лексикология, фонетика, морфология», М., 1969, стр. 265).

⁸² Г. Х. А х а т о в, О восточном диалекте татарского языка, сб. «Вопросы диалектологии тюркских языков», Баку, 1968, стр. 62.

⁸³ «Philologiae Turcicae Fundamenta», I, стр. 793 (по индексу).

хакас. $-xalaq/-käläk < -\gamma a + -laq < -*la\eta/-*lä\eta$ — аффикс уподобления⁸⁴; ср.: $-\gamma uluq/-gülik$ ⁸⁵.

11. Аффикс «огузского» будущего времени $-(j)asar/-(y)eser$ ⁸⁶, по весьма осторожному предположению П. М. Мелиоранского, восходит к форме $-\gamma ysar/-gisär$ ⁸⁷. Турецкий лингвист Т. Текин объясняет формант древней условной формы $-sar/-sär < -\gamma ysar$ ⁸⁸.

Если П. М. Мелиоранский в своем предположении прав, то $-(y)asar/-(y)äsär < -\gamma a + -sa + -r$, где две первые морфемы $-\gamma a + -sa$ представляют собою соединение близких по значению формантов: предположительное будущее ($-\gamma a$) и дезидеративно-условное ($-sa/-sä$)⁸⁹, постепенно утратившее свое значение и подкрепленные высокопродуктивным аффиксом аориста $-r$.

12. Древнейшим показателем будущего времени является аффикс $-tačy/-täči, -dačy/-däči$, который был продуктивным в орхоно-енисейских и древнеуйгурских памятниках; спорадически эта форма будущего времени встречается в старых османских сочинениях.

В отличие от моих предшественников, пытавшихся выяснить состав этого форманта⁹⁰, мне представляется целесообразным в поисках убедительного истолкования состава этой формы обратиться к другим показателям будущего времени, которые, как правило, состоят из двух аффиксальных морфем сходного назначения (см. выше).

Исходя из сказанного, аффикс $-tačy/-dačy < -ta/-da + -čy$; первая морфема $-ta/-da$ по закону чередования (соответствия) $t:s$, которое свойственно ряду тюркских языков кыпчакской группы⁹¹, должна быть сопоставлена с дезидеративно-условным аффиксом $-sa/-sä$; якутская форма условного наклонения $-tar$ соответствует общетюркской $-sar$ ⁹². Вторая морфема ($-čy$) является показателем будущего времени $-čy/-či$ ⁹³.

Аффикс $-čy$ входит в состав форманта $-maqčy/-mäkäči$ — «форма намерения»⁹⁴ или «futurum auf-макчу»⁹⁵, — выражающее намерение совершить действие, обозначенное глагольной основой. Намерение, желание совершить действие всегда предполагает предстоящее дей-

⁸⁴ J. Deny, Grammaire de la langue turque, стр. 927, 931.

⁸⁵ Ср.: С. Вогскелманн, Osttürkische Grammatik der islamischen Literatursprachen Mittelasiens, Leiden, 1954, стр. 248; А. в. Габайн, Alttürkische Grammatik, 3-е Aufl., Wiesbaden, 1974, § 141.

⁸⁶ В этой форме аффикс зарегистрирован у Ж. Дени («Grammaire de la langue turque», стр. 397).

⁸⁷ П. М. Мелиоранский, Араб-филолог о турецком языке, СПб., 1900, стр. LVII. О других предположениях см.: Э. Н. Наджиб, Кыпчакско-огузский литературный язык Мамлюкского Египта XIV века. АДД, М., 1965, стр. 66—71. И. Мирзезаде, Азербайжан дилинин тарихи морфологиясы, Баку, 1962, стр. 249—255; А. Водроглетти, Finite forms in *-isar, -isär* in 14-th century Turkish literary documents, «Acta Orient. Hung.», XXIII, fasc. 2; С. Чагатау, указ. соч., § 50.

⁸⁸ Talât Tekin, *-isar* eki hakkında, «Türk Dili», 38, Ankara, 1954, стр. 95—96.

⁸⁹ О различных точках зрения на происхождение и значение этого аффикса см.: Н. А. Баскаков, К вопросу о происхождении условной формы на *-cal-ce* в тюркских языках; Э. В. Севортян, Аффиксы глаголообразования в азербайджанском языке, М., 1962, стр. 295—316; Н. З. Гаджиева, Основные пути развития синтаксической структуры тюркских языков, М., 1973, стр. 327—333.

⁹⁰ См.: М. Рäsäпеп, указ. соч., стр. 119—120; С. Чагатау, указ. соч., § 53.

⁹¹ Э. Р. Тенишев, Из наблюдений над саларским языком, ВЯ, 1960, 4, стр. 99—101.

⁹² Е. И. Коркина, Наклонения глагола в якутском языке, М., 1970, стр. 170; К. Н. Менгес, The Turkic languages and peoples. Wiesbaden, 1968, стр. 132—133.

⁹³ А. в. Габайн, указ. соч., § 222; М. Рäsäпеп, указ. соч., стр. 220.

⁹⁴ «Грамматика тюркменского языка», ч. 1 — Фонетика и морфология, Ашхабад, 1970, стр. 308; Э. Н. Наджиб, Современный уйгурский язык, М., 1960, стр. 101.

⁹⁵ М. Рäsäпеп, указ. соч., стр. 220.

с т в и е, реализуемое или не реализуемое в б у д у щ е м; ср. лат. *participium futuri activi*⁹⁶. Значение н а м е р е н и я, т. е. будущего действия, форме на *-maq/-mäk* (масдар — имя действия, возникшее из суфина) сообщает аффикс *-čy/-či*; ср. казах. будущее время на *-мак*.

А. ф. Габен и З. Коркмаз с полным основанием считают аффикс *-yüčy* синонимом аффикса *-tačy*⁹⁷. Аффикс *-yüčy* состоит из двух показателей будущего времени *-yü* + *-čy*.

Сказанное позволяет сделать вывод, что аффикс *-tačy* возник в результате слияния двух близких по значению формантов.

Махмуд Кашгарский (XI в.) зарегистрировал в своем «Словаре»⁹⁸ следующие формы будущего времени, — отличающиеся различными оттенками значений:

1) *-tačy/-dačy, -täči/-däči* — будущее долженствования; эту форму используют огузы, кыпчаки, ягма, ограки, сувары, печенеги (и другие племена) вплоть до страны русов;

2) *-yüčy/-güči* — будущее долженствования; по значению является параллельной формой будущего на *-tačy/-dačy*⁹⁹; эта форма характерна для языка чигилей, кашкарцев, баласагунцев, аргу, барсганцев, уйгуров (и других племен) вплоть до Верхнего Чина (Китая);

3) *°saq/-°ksäk; °syq/-°gsik* — будущее намерения;

4) *-yuluq/-quluk; °lyk/-°glik* — будущее долженствования, намерения. Некоторая часть огузов, как отметил Махмуд Кашгарский, вместо формы на *-yuluq/-gülük* употребляет форму на *°ysaq/-°gsäk*¹⁰⁰;

5) *°ly/-gli* — будущее предположительное;

6) *-yail/-kai, -gäi/-käi* — будущее желательное;

7) *-yalyr/-qalyr, -gälir/-kalir* — будущее ближайшее¹⁰¹;

8) *-(j)asy/--(j)äsi* — будущее категорическое. По Махмуду Кашгарскому, этот «огузский» аффикс соответствует «караханидскому» аффиксу *-yü/-gü* (см. ниже) и специфически присущ языкам огузов, кыпчаков, печенегов, болгаров¹⁰²;

9) *-yü/-qu, -gü/-kü* — будущее долженствования, возможности, желательности; используется в языках чигилей, ягма, тухси, аргу, уйгуров (и других племен) вплоть до Верхнего Чина (Китая). По Махмуду Кашгарскому, с помощью этого аффикса образуются «имя времени, имя места, имя орудия»¹⁰³, которые, судя по приведенным им примерам, следует понимать как причастие будущее, название действия и отглагольное имя: «*bu ya kurgu ogur ermes = bu, ya u k u r g a s a k vakit değildir*»¹⁰⁴. «Сейчас не время, когда следует натягивать (тетивой) лук»; ср. узбекский перевод С. М. Муталлибова: «бу ёй қ у р а д и г а н вақт эмас»¹⁰⁵.

⁹⁶ С. И. Соболевский, Грамматика латинского языка. Часть первая. Морфология и синтаксис, М., 1948, §§ 755—757.

⁹⁷ А. в. G a b a i n, указ. соч., § 115; Z. K o r k m a z, *Kâşgarlı Mahmut ve Oğuz türkçesi*, «Türk Dili», 253, Ankara, 1972, стр. 18—19.

⁹⁸ С. М. М у т а л л и б о в, Махмуд Кашгарий. Туркий сўзлар девони (Девону луғотит турк), II, Ташкент, 1951, стр. 53—74; В. А т а л а у, *Divanü Lûgat-it-Türk tercümesi*, II, Ankara, 1940, стр. 48—71.

⁹⁹ Z. K o r k m a z, *Kâşgarlı Mahmut ve Oğuz türkçesi*, стр. 18—19.

¹⁰⁰ С. М. М у т а л л и б о в, указ. соч., стр. 60—61; В. А т а л а у, *Divanü. . .*; стр. 56—57; Z. K o r k m a z, *Kâşgarlı Mahmut ve Oğuz türkçesi*, стр. 18.

¹⁰¹ Ш. Ш у к у р о в, *-ғалыр/-гәлир* формасы ҳақида, сб. «Исследования по грамматике и лексике тюркских языков», Ташкент, 1965, стр. 199—202.

¹⁰² С. М. М у т а л л и б о в, указ. соч., стр. 71; В. А т а л а у, *Divanü. . .*, стр. 67.

¹⁰³ С. М. М у т а л л и б о в, указ. соч., стр. 71—73; В. А т а л а у, *Divanü. . .*, стр. 67—71.

¹⁰⁴ В. А т а л а у, *Divanü. . .*, стр. 68.

¹⁰⁵ С. М. М у т а л л и б о в, указ. соч., стр. 71.

Причастие будущего времени на $-yul/-qu$, субстантивирываясь, используется в значении имени места, имени орудия¹⁰⁶.

Наличие во всех показателях будущего времени (исключение — аффикс $-tačy/-dačy$) в качестве обязательного; первого по порядку элемента $-y^{\circ}/-q^{\circ}/-k^{\circ}$ позволяет сделать следующее заключение: 1) этот аффикс является древнейшим по происхождению, восходящим к общетюркским формантам желательности-возможности — долженствования — будущего времени; 2) этот аффикс является о б щ е а л т а й с к и м показателем, носителем указанных выше значений¹⁰⁷, известным тюркским, монгольским и тунгусо-маньчжурским языкам¹⁰⁸.

III тип. П е р е р а з л о ж е н и е (термин В. А. Богородицкого), или д е г л ю т и н а ц и я; этими известными терминами применительно к нашей теме обозначается процесс, при котором морфема, принадлежащая глагольной основе (это, как правило, з а л о г о в ы е показатели), сплавляется с морфемой следующего морфологического ранга (причастие, деепричастие), в результате чего происходит п е р е р а з л о ж е н и е: морфема, ранее принадлежавшая к глагольной основе, входит в состав аффиксальной морфемы:

1. Аффикс глагольного имени (\sim причастия) $-t^{\circ}-q(-k)/-d^{\circ}-q(-k)$ образовался в результате сплавления аффикса понудительного залога $-^{\circ}t/^{\circ}d$ с аффиксом отглагольного прилагательного $-^{\circ}q/^{\circ}k$ ¹⁰⁹.

2. Аффикс глагольного имени-причастия прошедшего времени $-yan/-qan$, $-gän/-kän$ и аффикс глагольного имени $-yyn/-qyn$, $-gin/-gün$ обязаны своим происхождением сплавлению аффикса понудительного залога $-y/-q/-g/-k$ ¹¹⁰ с общеалтайским аффиксом причастия \sim деепричастия $-^{\circ}n$ ¹¹¹.

3. Аффикс глагольного имени $-yaq/-gäk$, $-qaq/-käk$ ¹¹² $<^{\circ}y$ — аффикс понудительного залога $+^{\circ}q$ — аффикс глагольного прилагательного¹¹³.

4. Аффикс глагольного имени $-yта/-gmä$ $< -y/-g$ — аффикс понудительного залога $+ -та/-mä$ — глагольное имя действия¹¹⁴.

Сказанное выше, подкрепленное анализом фактического материала, позволяет с достаточным основанием утверждать, что агглютинативное слово-формообразование осуществляется по тем же законам, которые известны языкам флективного типа. Широко распространенное утверждение, часто встречающееся в специальных тюркологических работах и особенно часто повторяющееся в пособиях по общему языкознанию — все слово-формообразующие форманты восходят к самостоятельным словам — не соответствует действительному положению вещей; реальная возмож-

¹⁰⁶ Э. В. Севортян, Аффиксы именного словообразования в азербайджанском языке, М., 1966, стр. 227—231.

¹⁰⁷ В тунгусо-маньчжурских языках этот аффикс входит в состав форм условного наклонения: условные формы всегда по значению (и образованию) тесно связаны с формами будущего времени.

¹⁰⁸ Г. Д. Сажеев, Сравнительная грамматика монгольских языков, II — Глагол, М., 1963, стр. 104—113; 130—131; О. П. Сунник, Глагол в тунгусо-маньчжурских языках, М.—Л., 1962, стр. 256—259.

¹⁰⁹ Ср.: Г. И. Рамstedт, указ. соч., §§ 73, 80.

¹¹⁰ Чаще этому аффиксу придают значение *intensiva* или *passiva* (см.: М. Räsänen, указ. соч., стр. 164); на самом деле это аффикс понудительного залога, который обозначает и побуждение к действию, и подверженность воздействию по воле другого лица.

¹¹¹ Ср.: Г. И. Рамstedт, указ. соч., §§ 70, 71.

¹¹² В языке желтых уйгуров этот аффикс является показателем «настоящего времени обычного действия», см.: Э. Р. Тенишев, Б. Х. Тодаева, Язык желтых уйгуров, М., 1966, стр. 27.

¹¹³ Ср.: Г. И. Рамstedт, указ. соч., § 72. О других этимологиях см.: М. Räsänen, указ. соч., стр. 125.

¹¹⁴ О других предположениях о составе этого форманта см.: М. Räsänen, указ. соч., стр. 123—124.

ность сведения тюркских (~ алтайских) формально-грамматических показателей к самостоятельным словам количественно не больше, чем в любом из флективных языков.

Показанные выше способы образования тюркских аффиксальных морфем позволяют определить их как а г г л ю т и н а т и в н у ю ф л е к с и ю; при многосложных формантах эти способы реализуются с помощью ф у з и о н н о г о сплавления аффиксальных морфем, понимая под последним прочное (без швов) соединение морфем, членение которых на составляющие их элементы возможно только с помощью специального этимологического анализа.

Слово-формообразование в тюркских (~ алтайских) языках осуществляется способом агглютинации, т. е. путем нанизывания в определенном порядке аффиксальных морфем; сами же аффиксальные морфемы образуются двумя способами: 1) фузионное сплавление; 2) превращение знаменательного слова в аффикс (см. выше). Оба эти способа известны различным (по традиционной типологической классификации) языкам.

В. З. ПАНФИЛОВ

**ТИПОЛОГИЯ ГРАММАТИЧЕСКОЙ КАТЕГОРИИ ЧИСЛА
И НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ЕЕ ИСТОРИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ**

К XII Международному конгрессу лингвистов

Категория количества и прежде всего прерывного (дискретного) количества, помимо числовых обозначений лексического характера, находит свое выражение также в категории грамматического числа. В языках, в которых числа существует только ед. и мн. число, посредством форм грамматического числа выражается лишь различие между единичным объектом и множеством объектов, причем последнее может быть самой различной мощности¹. Однако в некоторых современных языках наряду с формами ед. и мн. числа существуют также формы двойственного, реже тройственного числа, совсем редко четверного числа. Таким образом, в этих языках категория грамматического числа фиксирует не только различие между единичным объектом и множеством объектов, но и определенное количество объектов, а именно два или три объекта. Так, например, наряду с формами ед. и мн. числа имеют форму дв. числа существительных такие языки, как корякский, эскимосский, ненецкий, тибетский, семитские, некоторые папуасские и целый ряд других. При этом степень выраженности дв. числа в грамматической системе языка в целом может быть самой различной. Так, в нивхском языке идея «двойственности» находит свое выражение лишь в личных местоимениях 1-го лица, а именно: в этом языке есть личные местоимения 1-го лица ед., дв. и мн. числа (среди последних различаются инклюзивные и эксклюзивные). В отличие от нивхского языка в ненецком языке форму дв. числа имеют существительные, указательные, определительные, вопросительные местоимения, а также порядковые числительные и причастия. Кроме того, в ненецком языке особую форму дв. числа 3-го лица имеет глагол, изменяющийся по непереходному типу спряжения, именные сказуемые в форме 3-го лица, а в глагол, изменяющийся по переходному типу спряжения, включается показатель дв. числа объекта действия². Особая форма дв. числа в ненецком языке есть также в системе лично-притяжательных форм существительных. В корякском языке дв. число имеют существительные, их лично-предикативные формы, лично-предикативные формы имен деятеля, прилагательные в функции определения и их лично-предикативные формы, слова, обозначающие со-

¹ В некоторых языках формами грамматического числа фиксируются также различия между множествами различной мощности. Так, в одном из папуасских языков (асмат) существует особая форма существительных, которая употребляется, когда речь идет о небольшом множестве (паукальное число). Э. Кассирер, основываясь на данных Добрицхофера, сообщает, что в языке абионов существуют две формы мн. числа — одна из них употребляется, когда речь идет о небольшом количестве предметов (от двух до девяти), а вторая используется, когда речь идет о большем количестве предметов, т. е. свыше девяти (см.: E. Cassirer, Philosophie der symbolischen Formen. Erster Teil. Die Sprache, Berlin, 1923, стр. 193).

² Н. М. Терещенко, Материалы и исследования по языку ненцев, М.—Л., 1956, стр. 38—45.

стояние, порядковые числительные, слова-заместители, личные, указательные и вопросительные местоимения. Кроме того, в корякском языке в парадигме спряжения глагола есть особые показатели 1, 2 и 3-го лица дв. числа субъекта действия, а в парадигме переходного глагола — особые показатели 1, 2 и 3-го лица дв. числа объекта действия³. Столь же последовательно проводится идея «двойственности» через всю грамматическую систему эскимосского языка⁴.

Во многих языках, в которых в настоящее время нет дв. числа или оно сохраняется в них лишь пережиточно, исторически оно также имело место, как например, в индоевропейских языках. Как уже отмечалось, весьма редкое явление представляет собой тройственное число существительных. Оно есть в некоторых папуасских (ава, гадсуп и др.) и меланезийских языках⁵.

Существует определенная закономерность в соотношении форм ед., дв., тройственного и мн. числа, которая формулируется в виде следующей универсалии: «Нет языка, который, имея тройственное число, не имел бы двойственного. Нет языка, который, имея двойственное число, не имел бы множественного»⁶.

Если во всех современных языках есть числовые обозначения лексического характера, то категория грамматического числа в отличие от этого не является универсальной. Существует ряд языков, в которых грамматическая категория числа существительных отсутствует. Не было грамматической категории числа в древнеяванском языке — языке кави. Существительное в этом языке в зависимости от контекста соотносилось с одним или с несколькими предметами. В случае необходимости они лишь сочетались с теми или иными словами, передававшими количественные понятия (*satunggal* «один», *akweh* «много», *sing* «каждый» и т. п.). Кроме того, для выражения идеи множественности в этом языке иногда использовался также способ удвоения существительных⁷.

В китайском языке существительное само по себе обозначает «не отдельный индивидуальный предмет, а некую совокупность однородных предметов — предмет, взятый как „класс“, вроде русских: „домашняя птица“, или „красная рыба“»⁸. Когда возникает необходимость конкретизировать, какая часть того или иного класса предметов имеется в виду, при соответствующих существительных ставятся слова с количественным значением типа *цзигэ* «несколько», *суйдо* «много» и т. п. Вместе с тем в китайском языке существует и морфологический способ такого рода конкретизации, а именно в этих целях в китайском языке употребляется суффикс *-мэнь*, который присоединяется к существительному, когда речь идет о нескольких объектах. Однако этим суффиксом могут оформляться лишь существительные, обозначающие лиц. Кроме того, посредством этого же суффикса от личных местоимений ед. числа образуются соответствующие личные местоимения мн. числа. Однако оформление этим суффиксом существительных категории лиц и, в меньшей мере, личных местоимений является факультативным. Соответствующие существительные оформляют-

³ А. Н. Жукова, Грамматика корякского языка, Л., 1972, стр. 126—129, 134—136, 140, 163, 165, 170, 177, 185, 190—193, 235—236.

⁴ Г. А. Меновщикова, Грамматика языка азиатских эскимосов, ч. 1, М.—Л., 1962, стр. 124.

⁵ E. Cassiger, указ. соч., стр. 205.

⁶ Дж. Гринберг, Некоторые грамматические универсалии, преимущественно касающиеся порядка значимых элементов, сб. «Новое в лингвистике», V, М., 1970, стр. 139.

⁷ А. С. Теселкин, Древнеяванский язык (кави), М., 1963, стр. 41—42.

⁸ А. А. Драгунов, Исследования по грамматике современного китайского языка, I, М.—Л., 1952, стр. 44.

ся суффиксом *-мэнь* обычно лишь в тех случаях, когда на количество лиц не указывается какими-либо другими средствами. Существительное этого лексико-грамматического разряда не может оформляться суффиксом *-мэнь*, когда оно употребляется в родовом значении⁹. «Употребление бессуффиксального существительного для обозначения нескольких лиц настолько распространено, что является скорее правилом, чем исключением. В этих условиях... трудно говорить даже об относительной, частичной противопоставленности бессуффиксальной форме форме суффиксальной (с *-мэнь*)»¹⁰. Все эти факты дают основания полагать, что в китайском языке нет категории грамматического числа существительных, образуемой оппозицией форм ед. и мн. числа¹¹. Вместе с тем в китайском языке существует система средств, которая дает возможность указать на множественность объектов, обозначаемых существительным, что позволяет некоторым авторам выделять в китайском языке функционально-семантическую, или понятийную категорию «квантитативности»¹². Так, помимо названных выше лексических способов актуализации количественной стороны объектов, обозначаемых существительным, такую же роль в китайском языке выполняют указательные местоимения *чэнэ* «это» и *на* «то», которые оформляются специальной морфемой *се*, если определяемое ими существительное обозначает не единичный предмет. Ту же функцию в китайском языке выполняет повтор (удвоение) счетного слова, а также его удвоение в сочетании с числительным *и* «один» и, наконец, удвоение односложного существительного¹³. В индонезийском языке существительное обозначает как родовое понятие (класс предметов), так и единичного представителя этого класса. Эта форма существительного определяется как форма неопределенной множественности. Ей противопоставляется форма определенной множественности, образуемая посредством редупликации существительного. Эта форма употребляется, когда речь идет не о всем классе, а о нескольких представителях этого класса, обозначаемого соответствующим существительным. Основываясь на этом, некоторые авторы определяют эти формы существительных не как формы категории грамматического числа, а как формы категории множественности¹⁴.

Нет грамматической категории числа существительных и в одном из тайских языков — языке чжуан. В этом языке существительные подкласса «невещества» вне сочетания с классификаторами обычно не выражают ни значения единичности, ни значения множественности и не могут сочетаться с количественными числительными. Сочетаясь с классификатором, существительное того же разряда не только приобретает способность получать количественные определения, выраженные числительными, но и в зависимости от контекста указывать или на единичный предмет, или на множество предметов данного рода. При наличии классификатора количественная отнесенность существительного (значение множественности того или иного типа) может конкретизироваться также некоторыми специальными способами — путем его сочетания со словом, имеющим значение группового множества, посредством редупликации классификатора или самого существительного, если оно является односложным, и т. п.¹⁵.

⁹ Н. Н. Коротков, Основные особенности морфологического строя китайского языка, М., 1968, стр. 272—275.

¹⁰ Там же, стр. 276.

¹¹ Там же, стр. 285.

¹² Там же.

¹³ Там же, стр. 272—273, 282—283.

¹⁴ Н. Ф. Алиева, В. Д. Аракин, А. К. Оглоблин, Ю. Х. Сирк, Грамматика индонезийского языка, М., 1972, стр. 201.

¹⁵ А. А. Москалев, Грамматика языка чжуан, М., 1971, стр. 119—127, 144—145.

В целом, однако, в языке чжуан также отсутствует сколько-нибудь определенно выраженная оппозиция форм ед. и мн. числа существительных.

Итак, не всякое изменение формы существительного, связанное с выражением различий в количестве предметов, им обозначаемых, означает, что в данном языке существует грамматическая категория числа. Наличие лишь одной грамматической формы, выражающей количественную характеристику предметов (их множественность), и второй формы, нейтральной в этом отношении, еще не создает грамматической категории числа.

В тех языках, в которых есть грамматическая категория числа существительных, по своему характеру она также оказывается различной и эти различия в той или иной мере сопряжены с типологическими особенностями языков. Если в языках аналитическо-агглютинирующего типа, например китайском, существующие способы морфологического выражения различий в количестве предметов, по мнению некоторых авторов, вообще не конституируют грамматической категории числа, то эти категории, с одной стороны, в языках синтетическо- или полисинтетическо-агглютинирующего типа, а, с другой стороны, в языках синтетическо-флективного типа характеризуются по сравнению друг с другом рядом существенных особенностей не только в том, что касается морфологических способов их выражения, но и в характере их составляющих частных значений, по факультативности или обязательности их выражения в составе слова, наконец, по типу образуемых ими оппозиций¹⁶. Останемся в этой связи на грамматической категории числа в синтетическо- и полисинтетическо-агглютинирующих языках (прежде всего, в нивхском) и в синтетическо-флективных языках (в основном в русском).

В нивхском языке парадигму грамматической категории числа составляют лишь ед. (точнее — общее) и мн. число. Исключение в этом отношении составляют только личные местоимения 1-го лица, в сфере которых противопоставляются ед., дв. и мн. число, а также формы повелительного наклонения глагола, среди которых выделяются формы 1-го лица дв. и мн. числа.

Ед. число существительных (как и других частей речи) выражается формой, внешне совпадающей с основой. Мн. число существительных чаще всего выражается путем присоединения к основе существительного суффикса *-ку ~ -гу ~ -гу ~ -ху* (ам. н.), *-кун ~ -гун ~ -гун ~ -хун* (в.с.н.), за которым обычно следуют остальные формообразующие суффиксы существительных. Этот же суффикс используется для выражения мн. числа и у других частей речи. Так, посредством этого суффикса образуется мн. число глаголов в форме на *-д'*, а также мн. число некоторых разрядов местоимений (указательных, вопросительно-относительных, неопределенных и др.). Хотя большинство личных местоимений мн. числа образовано от соответствующих местоимений ед. числа при помощи особого суффикса *-н* (ср.: *н'и* «я», *н'ын* «мы»; *чи* «ты», *чын* «вы»; **им*, *иф* «он»; *имн*, *ивн* «они»), они также могут принимать суффикс мн. числа, т. е. имеем: *н'ын*, *н'ынгу* «мы»; *чын*, *чынгу* «вы»; *имн*, *ивн*, *имнгу*, *ивнгу* «они». Мн. число существительных, кроме того, может выражаться путем удвоения их основ. Категория грамматического числа охватывает в нивхском языке большинство лексико-грамматических разрядов существительных и в том числе существительные вещественные и собственные имена людей (антропонимы), хотя в отношении этих двух последних разрядов она отчасти приобретает уже и словообразовательную функцию. В нивхском языке эта категория не свойственна лишь абстрактным суще-

¹⁶ См. также: В. З. П а н ф и л о в, О происхождении склонения в нивхском языке, ВЯ, 1963, 3; Н. Н. К о р о т к о в, В. З. П а н ф и л о в, О типологии грамматических категорий, ВЯ, 1965, 1.

существительным типа *чолад'* «бедность», *вэрс* «ширина» и т. п., топонимическим названиям и некоторым другим. В отличие от русского языка в нивхском языке нет существительных, которые бы употреблялись только в форме мн. числа, т. е. существительных *pluralia tantum*. Специфика оппозиции, образуемой формами ед. (общего) и мн. числа в языках того типа, к которому относится нивхский, состоит в том, что оформление существительного показателем мн. числа является факультативным, в силу чего форма ед. числа употребляется не только в тех случаях, когда речь идет о единичном предмете, но и когда речь идет о множестве, образуемом соответствующими предметами. Это и дает основание рассматривать форму существительных с нулевым показателем как форму общего числа. В нивхском языке существительные особенно часто не оформляются суффиксом мн. числа, хотя речь идет о множестве предметов, в тех случаях, когда они выступают в форме косвенных падежей. Нередко, однако, имеют место случаи факультативного оформления существительного суффиксом мн. числа и в тех случаях, когда оно выступает в функции подлежащего. При этом проявляется и вторая специфическая особенность категории грамматического числа в языках рассматриваемого типа — необязательность согласования в числе подлежащего и сказуемого. Примеры: 1) *Т'агр н'ивх уурыт мырд'ра* «Три человека вместе пошли (в лес)» [*т'агр* «три», *н'ивх* «человек» (подлежащее) в ед. числе, *мырд'ра* «пошли (в лес)» (сказуемое) в ед. числе]; 2) *Инафдху н'ут йан'мад'*. *Ыныйэ, дан тамд', дан пот'урд'* «Его товарищи выйдя смотрят, ой, собак много, собаки красивые» [*инафдху* «его товарищи» (подлежащее) во мн. числе, *йан'мад'* «смотрят» (сказуемое) в ед. числе; *дан* «собаки» (подлежащее) в ед. числе; *тамд'* «много», *пот'урд'* «красивые» (сказуемое) в ед. числе]; 3) *ны н'ивзгу лумр к'уд', нысккут изта* «Эти люди соболей убили, мало убили» [*н'ивзгу* «люди» (подлежащее) во мн. числе, *лумр* «соболей» (прямое дополнение) в ед. числе, *к'уд'* «убили» (сказуемое) в ед. числе]; 4) *ны умгуин ныр н'ивх муд'ра* «У этой женщины четыре человека умерли» [*ныр* «четыре», *н'ивх* «человек» (подлежащее) в ед. числе, *муд'ра* «умерли» (сказуемое) в ед. числе]. Как это следует из приведенных примеров, возможны следующие случаи: 1) подлежащее — во мн. числе, сказуемое — в ед. числе, 2) подлежащее — в ед. числе, сказуемое — во мн. числе, 3) и подлежащее, и сказуемое — в ед. числе, хотя по смыслу требуется мн. число как сказуемого, так и подлежащего.

Из первого и четвертого примеров видно также, что, сочетаясь с количественными числительными выше одного, существительные могут выступать в форме ед. числа. Аналогичным образом сказуемое, выраженное глаголом в форме на *-д'*, обычно не присоединяет к себе суффикса мн. числа, если подлежащее данного предложения выражено сочетанием существительного с количественным числительным выше одного.

Значение множественности, передаваемое существительным в форме ед. числа, выясняется или из контекста данного высказывания, или по форме сказуемого, когда оно дается в форме мн. числа, хотя подлежащее стоит в форме ед. числа, или по тому и по другому вместе взятым. Суффикс мн. числа обязательно присоединяется к именам существительным только в случаях: а) когда значение множественности не подсказывается контекстом данного высказывания или глаголом-сказуемым, если существительное является подлежащим того же предложения; б) когда высказывающийся почему-либо хочет особенно подчеркнуть это значение, например: *Эна чоуу н'хат'н'хат' чоуу ны н'ивх эсад'ра* «Другую рыбу, разную рыбу, этот человек не принимает».

Существительное в форме ед. числа может быть употреблено также и в родовом значении, т. е. обозначать весь класс предметов как таковой без

какого-либо указания на объем этого класса предметов. Например: *Н'ын барк т'ыр (киры) чоуиры чын доньд'ра* «Мы сами дровами и рыбой вам будем помогать» [*т'ыркиры* «дровами», букв: «деревом» (косвенное дополнение в твор. падеже в ед. числе); *чоуиры* «рыбой» (косвенное дополнение в твор. падеже в ед. числе)].

В нивхском языке нет продуктивных форм образования существительных с собирательным значением, подобных русским, которые бы противопоставлялись формам ед. и мн. числа тех же существительных. В этом языке в составе существительных выделяется лишь ряд омертвевших суффиксов с собирательным значением. Однако соответствующие существительные нередко сохраняют значение собирательности. Вместе с тем от них образуется также и форма мн. числа. Если соотносительную с ней форму без суффикса мн. числа рассматривать как форму ед. числа, то у соответствующих существительных она будет связана с выражением значения собирательности.

Таким образом, существительное в форме ед. (общего) числа в нивхском языке может указывать: 1) на какой-либо отдельный, единичный предмет (единичность); 2) на такую совокупность предметов, которая мыслится как одно целое, как образующая единство, которое по своим свойствам отличается от каждого из составляющих его объектов (собирательное множество); 3) на разделительное множество тех или иных однородных или мыслимых как однородные предметов (дистрибутивное множество). Кроме того, существительное в этой форме может быть употреблено в родовом значении.

Грамматическая категория числа в нивхском языке в типологическом отношении весьма близка к таковой же во многих языках. Так, в тюркских языках форма ед. числа существительных также совпадает с его основой, а показателем мн. числа является суффикс *-лар/-лер*, который «может быть приложен к любой грамматической категории»¹⁷. При этом, как и в нивхском языке, форма ед. числа «может функционировать и по линии единственного, и по линии множественного числа»¹⁸. Аналогичным образом в сочетании с количественными числительными выше одного тюркское существительное дается в форме ед. числа. Наконец, в тюркских языках не является обязательным и согласование в числе подлежащего и сказуемого¹⁹.

Факультативность выражения мн. числа имеет место и в языках абхазо-адыгской группы, языках полисинтетическо-агглютинативного строя. В этих языках подлежащее, выраженное существительным, может стоять в ед. числе и в таких случаях, когда речь идет о том или ином множестве соответствующих объектов. Так, например, в кабардино-черкесском имеем *Цыхуым йэшI* «Человек строит» и *Цыхуым йашI* «Люди строят», где в обоих предложениях подлежащее стоит в форме ед. числа, в то время как сказуемое во втором предложении имеет форму мн. числа. Таким образом, в абхазо-адыгских языках категории грамматического числа также не свойственна согласовательная функция. В убыхском языке той же генетической группы противопоставление ед. и мн. числа вообще осуществляется только в одном падеже — эргативном. Исходя из этого, специалисты по этой группе языков приходят к выводу, что парадигму грамматической категории числа существительных в них образуют не ед. и мн. число, а общее и мн. число.

¹⁷ Н. К. Дмитриев, Категория числа, сб. «Исследования по сравнительной грамматике тюркских языков», ч. II — Морфология, М., 1956, стр. 65.

¹⁸ Там же, стр. 68.

¹⁹ Там же, стр. 68—71.

Иначе обстоит дело в этих же языках с грамматическим числом глаголов. В убыхском языке грамматическую категорию числа глагола составляют формы со значением единственности, множественности и коллективности. В то же время в кабардино-черкесском языке выражение мн. числа глагола, так же как и существительных, является факультативным, если подлежащее уже имеет форму мн. числа, например: *Ар матхэ* «Он пишет» и *Ахэр матхэ* «Они пишут». Более того, в кабардино-черкесском языке, как в нивхском, возможны и такие случаи, когда и именное подлежащее, и глагольное сказуемое даются в форме ед. числа, хотя речь идет о множестве соответствующих объектов, что устанавливается по контексту²⁰.

С другой стороны, есть языки, в которых противопоставление ед. и мн. числа осуществляется последовательно, однако оно охватывает весьма ограниченную сферу грамматических форм слов. Так, в чукотском языке оппозиция ед. и мн. числа существительных последовательно осуществляется в именительном падеже, но ее нет во всех косвенных падежах существительных, обозначающих не человека²¹. В эрзямордовском языке в основном и притяжательном склонениях существительных ед. и мн. число различаются только в им. и вин. падежах; в остальных же падежах они не противопоставляются. Однако в том же языке в указательном склонении ед. и мн. число различаются последовательно²². Таким образом, факультативность выражения оппозиции ед. и мн. числа, свойственная грамматической категории числа или во всех сферах, или лишь в той или иной сфере ее функционирования, имеет место в широком кругу языков синтетическо-агглютинативного или полисинтетическо-агглютинативного типа.

В этом, в частности, состоит специфика грамматической категории числа языков синтетическо-агглютинативного или полисинтетическо-агглютинативного типа по сравнению с языками синтетическо-флективного типа. Так, в русском языке, относящемся к языкам этого последнего типа, форма ед. числа существительного в тех случаях, когда речь идет о множестве соответствующих предметов, употреблена быть не может — в этих случаях существительное всегда дается в форме мн. числа, если, конечно, оно изменяется по числам. Иначе говоря, формальное выражение мн. числа в этих случаях является облигаторным, а не факультативным. Столь же облигаторный характер имеет функционирование грамматической категории числа и в сфере других частей речи и в том числе таких, которые, выступая в функции тех или иных членов предложения, получают соответствующие формы в порядке согласования. В целом сфера функционирования грамматической категории числа в русском языке как языке синтетическо-флективного типа оказывается шире, чем, например, в нивхском языке, языке синтетическо-агглютинативного типа. В то же время, в нивхском языке категория грамматического числа за некоторыми исключениями охватывает все лексико-грамматические разряды существительных, тогда как в русском языке значительное количество существительных (*singularia tantum* и *pluralia tantum*) оказывается вне сферы функционирования этой категории. Поскольку в русском языке выражение мн. числа существительных, вовлеченных в сферу функционирования грамматической категории числа, имеет облигаторный характер, форма ед. числа существительных не может указывать на множественность объектов. Поэтому в отличие от нивхского языка в русском языке форма ед. числа или

²⁰ См.: М. А. К у м а х о в, Число и грамматика, ВЯ, 1969, 4.

²¹ См.: П. Я. С к о р н и к, Грамматика чукотского языка, ч. 1, М.—Л., 1961, стр. 140.

²² Д. В. Б у б р и х, Историческая грамматика эрзянского языка, Саранск, 1953, стр. 44—45.

соотносится с реальной единичностью, или используется в тех случаях, когда существительное употреблено в родовом значении, т. е. безотносительно к объему соответствующего класса предметов, но не может быть употреблена, когда речь идет о дискретном множестве предметов. Однако и в русском языке у форм ед. и мн. числа существительных некоторые значения оказываются общими. Так, в родовом значении существительное употребляется не только в ед., но и во мн. числе. Ср.: *Студенту нужен хороший учебник и Студентам нужен хороший учебник; Что волки жадны, всякий знает, волк евши, никогда костей не разбieraет* (Крылов, Волки и овцы). При этом в последние десятилетия отмечается тенденция к широкому употреблению в родовом значении именно существительных во мн. числе, особенно в научной литературе (например: *Бабочки — отряд насекомых* и т. п.)²³.

Поскольку существительное, употребленное в родовом значении, будь то в форме ед. или мн. числа, не содержит указания на количество предметов, это значение по существу не включается в число значений грамматической категории числа. Итак, по своей структуре — соотношению значений, выражаемых формой ед. (или общего) числа, с одной стороны, и формой мн. числа, с другой, грамматическая категория числа в синтетическо-флективных языках обладает некоторыми специфическими чертами по сравнению с таковой же в языках синтетическо- и полисинтетическо-агглютинативного типа.

В последнее время обоснованность выделения в языках последнего типа грамматической категории числа, включающей форму с нулевым показателем, была поставлена под сомнение²⁴. При этом приводятся следующие аргументы: 1) поскольку форма существительного с нулевым показателем употребляется как в значении ед., так и в значении мн. числа, она вообще стоит вне категории числа; 2) в языках рассматриваемого типа в отличие от синтетическо-флективных языков грамматическое число не имеет согласовательной функции, а именно эта функция является наиболее существенным признаком грамматической (морфологической) категории²⁵. Рассмотрим каждый из этих аргументов, начав со второго. В этом вопросе В. Г. Гузев и Д. М. Насилов исходят из того понимания морфологической категории, которое было развито С. Д. Кацнельсоном. Отмечая, что «в содержательном плане формы числа далеко не всегда выражают „значение“ числа», С. Д. Кацнельсон полагает поэтому, что морфологическую категорию следует определять «как ряды словоформ, объединенных категориальной функцией»²⁶. Что касается категории числа, то, по мнению С. Д. Кацнельсона, «основной функцией, объединяющей все без исключения формы числа, является функция согласования в числе»²⁷ и в этом отношении она подобна категории рода или класса. Однако указанное определение морфологической категории едва ли можно принять. Во-первых, и в языках синтетическо-флективного типа немало таких грамматических категорий (например, вид и время в русском языке), которые не выполняют согласовательной функции, и, следовательно, эта последняя не может рассматриваться как конституирующий признак грамматической категории. Еще в большей мере это касается языков

²³ Д. И. А р б а т с к и й, Множественное число со значением разнородности (неоднородности) предметов, «Уч. зап. Казанск. пед. ин-та», 96 — Вопросы теории и методики изучения русского языка, сб. 7, 1971, стр. 152—158.

²⁴ См.: В. Г. Г у з е в, Д. М. Н а с и л о в, К интерпретации категории числа имен существительных в тюркских языках, ВЯ, 1975, 3.

²⁵ Там же, стр. 98—100 и др.

²⁶ С. Д. К а ц н е л ь с о н, Типология языка и речевое мышление, Л., 1972, стр. 27.

²⁷ Там же.

синтетическо-агглютинативного типа, в которых согласовательная функция не свойственна едва ли не большинству выделяемых в них грамматических категорий. Так, в нивхском языке этой функцией не имеет даже наклонение глагола (исключая повелительное). Во-вторых, рассматриваемое определение морфологической категории по существу тавтологично: грамматическая категория *ч и с л а* есть ряды словоформ согласующихся по *ч и с л у*. И, очевидно, что для того, чтобы выделить эти ряды словоформ, мы должны обратиться к выражаемым ими значениям, или, по терминологии С. Д. Кацнельсона, к основной содержательной функции этой категории — квантитативной актуализации²⁸. Тот факт, что формы числа не во всех случаях выполняют функцию квантитативной актуализации, не представляет собой какого-либо исключительного явления — полисемия или омонимия свойственна не только лексике, но и грамматическим формам любого языка.

Столь же уязвимым оказывается и первый аргумент, приводимый сторонниками рассматриваемой точки зрения. Следует прежде всего сказать, что слабый, немаркированный член оппозиции многих грамматических категорий оказывается способным выражать не только какое-либо специфическое для него частное значение данной категории, но и значение маркированного члена оппозиции той же категории и в этом отношении форма существительных с нулевым показателем, рассматриваемая как член парадигмы грамматического числа, не представляет собой исключения. В частности, в этом отношении особенно показательна форма основного (абсолютного) падежа как в нивхском, так и в тюркских языках — она выступает в этих языках в значениях ряда косвенных падежей²⁹. Наконец, языковые факты свидетельствуют о том, что в языках рассматриваемого типа форма с нулевым показателем вовлечена в парадигму грамматического числа — как уже отмечалось, при подлежащем в форме общего числа глагол-сказуемое может стоять во мн. числе, а это говорит о том, что в данном случае имеет место квантитативная актуализация соответствующего существительного, выступающего в функции подлежащего, и оно также выражает значение множественности³⁰.

Форма мн. числа существительных обычно выступает как сильный (маркированный) член оппозиции, образуемой ею вместе с формой ед. (или общего) числа. В отличие от формы ед. (или общего) числа существительных, которая во многих языках имеет нулевой показатель, форма мн. числа во всех языках выражается ненулевым показателем³¹. Если обратиться к характеру соотношения значений, выражаемых, с одной стороны, формой ед. числа, а, с другой стороны, формой мн. числа существительных, то здесь, за редкими исключениями³², не наблюдается такого рода случаев, когда бы форма мн. числа могла выражать значение единичности,

²⁸ Там же, стр. 28.

²⁹ См.: Э. В. Се в о р т я н, Категория падежа, сб. «Исследования по сравнительной грамматике тюркских языков», ч. II — Морфология; В. З. П а н ф и л о в, О происхождении склонения в нивхском языке.

³⁰ Ср. следующее высказывание: «Между тем, с грамматической точки зрения главным критерием выделения формы общего числа может служить лишь сочетаемость одной и той же формы подлежащего с формами и ед. и мн. числа сказуемого или с формами другого (синтаксически зависимого от подлежащего) члена синтагмы или предложения» (М. А. К у м а х о в, указ. соч., стр. 67).

³¹ Дж. Г р и н б е р г, Некоторые грамматические универсалии, преимущественно касающиеся порядка значимых элементов, стр. 139.

³² Так, в японском языке после возникновения в нем суффикса *-домо* со значением множественности, оформленное им существительное с течением времени стало использоваться не только для выражения множественности, но и единичности (см.: А. А. Х о л о д о в и ч, Категория множества в японском в свете общей теории множества в языке, «Уч. зап. ЛГУ». Серия филол. наук, 10, 1946, стр. 27—28).

специфичное для формы ед. числа, в то время как обратное, т. е. выражение формой ед. числа значения дистрибутивной множественности, специфичного для формы мн. числа, имеет место в весьма широком круге языков. Вместе с тем, форме мн. числа существительных, как и форме ед. числа, свойственна полисемия.

Категориальным значением формы мн. числа существительных, во всяком случае в большинстве современных языков, является значение разделительной, или дистрибутивной, множественности — существительное в этой форме указывает на то, что соответствующий предмет представлен в количестве, большем чем один экземпляр, причем члены этого множества мыслятся как однородные, а само множество как незавершенное, незаконченное.

Дистрибутивное множество выражается в языках различными грамматическими способами (посредством специальных суффиксов; флективных окончаний, наряду с этим выражающих и другие грамматические значения — падеж, род; внутренней флексии; удвоением основы и др.). В одном и том же языке дистрибутивное множество может выражаться несколькими способами. При этом идея разделительности множества, его подразделенности на отдельные предметы в наиболее чистом виде, по-видимому, выражается посредством удвоения основы существительного³³. Этот способ выражения дистрибутивной множественности имеет довольно широкое распространение в современных языках и, вероятно, еще более широко использовался в этих целях на более ранних этапах их исторического развития. Так, удвоение основы существительного в этих целях используется в индонезийских, в семито-хамитских, в некоторых языках Юго-Восточной Азии (например, в китайском, чжуан и бирманском)³⁴, в нивском и некот. др.

Вторым значением формы мн. числа, также широко представленным в языках разных типов, является значение собирательного множества, или значение собирательности. Форма мн. числа есть лишь один из способов выражения этого значения. Оно может выражаться также формой ед. числа существительных и особыми грамматическими формами существительных (ср. русск. *тряпка* — *тряпки* — *тряпье* и им подобные). Кроме того, существует еще лексический способ выражения собирательности (ср. русск. *толпа*, *стадо*, *народ* и т. п.). Как при грамматическом, так и при лексическом выражении собирательности существительное обозначает какую-либо совокупность предметов как единство, качественная определенность которого не сводится к качественной определенности его образующих объектов. Следовательно, в отличие от дистрибутивного типа множества, которое не обладает какой-либо качественной определенностью, отличной от качественной определенности каждого из его членов и формой выражения которого в ее противопоставлении форме ед. числа фиксируется лишь различие в количестве (больше, чем один предмет данного рода —

³³ Из этого правила есть и исключения. Так, в чукотском языке путем неполного удвоения основы существительного (и при этом только в прямом падеже) образуется не форма мн., а форма ед. числа; этот способ используется в чукотском языке наряду с безаффиксальным и суффиксальным образованием этой формы. В то же время в чукотском языке свцществительное, являющееся результатом полного удвоения корневой морфемы, сохраняет свою основу неизменной во всех падежах и в форме обоих чисел (см.: П. Я. Скoрик, указ. соч., стр. 143—147).

³⁴ См.: В. Д. А р а к и н, *Индонезийские языки*, М., 1965, стр. 98; А. С. Т е с е л к и ц, Н. Ф. А л и е в а, *Индонезийский язык*, М., 1960, стр. 23; И. М. Д ь я к о н о в, *Семито-хамитские языки*, М., 1965, стр. 63; Н. Н. К о р о т к о в, указ. соч., стр. 284—285; А. А. М о с к а л е в, указ. соч., стр. 145; М а у н М а у н Н ь у н, И. А. О р л о в а, Е. В. П у з и ц к и й, И. М. Т а г у н о в а, *Бирманский язык*, М., 1963, стр. 53.

один предмет данного рода), собирательный тип множества по существу имеет иную предметность, чем соотносимая с ним единичность. Таким образом, в тех языках, где имеются особые формы выражения собирательности наряду с формами выражения единичности и дистрибутивного множества, они противопоставляются этим последним в словообразовательном плане.

В логике на основании различий в количестве предметов, мыслимых посредством понятий, выделяются общие и единичные понятия индивидов и единичные понятия собирательных единств, или, иначе, собирательные понятия, которые определяются следующим образом: «Так называются единичные понятия, предмет которых мыслится не просто как индивидуальный предмет, а как такой, который состоит из определенной совокупности предметов, образующей некоторое определенное единство... Особенность единичных понятий собирательных единств состоит в следующем: все, что может утверждаться о предметах этих понятий, утверждается не относительно каждого в отдельности предмета, который составляет элемент единства, но только об этом единстве как целом»³⁵. Таким образом, собирательные понятия сближаются, с одной стороны, с общими понятиями, а с другой — с единичными. Различие между дистрибутивным и собирательным множеством заключается в том, что первое из них в принципе есть множество неопределенное, незавершенное, а второе — множество определенное, законченное.

Отмеченная выше близость собирательных понятий, с одной стороны, к общим, а с другой стороны, к единичным понятиям объясняет тот факт, что собирательное множество может выражаться как специфическими для него грамматическими формами типа русск. *студенчество*, так и грамматическими формами ед. и мн. числа существительных.

Двойственная природа собирательных понятий объясняет также и тот факт, что существительному с лексическим или грамматическим собирательным значением свойственна противоречивая грамматическая природа: согласующийся с ним член предложения может быть дан не только в форме ед., но и мн. числа³⁶.

Языковое значение собирательности, поскольку оно обусловлено некоторыми общими свойствами человеческого мышления, а именно наличием собирательных понятий, являющихся одной из разновидностей понятия как формы мышления, присуще всем языкам независимо от их типологических различий. Однако между языками обнаруживаются определенные различия в объеме и способах выражения значения собирательности, а также в характере соотношения его со значениями единичности и множественности. Проиллюстрируем это положение на материалах некоторых языков синтетическо- или полисинтетическо-агглютинативного типа, с одной стороны, и на материалах русского языка как представителя языков синтетическо-флективного типа, с другой стороны.

В отличие от русского языка, где значение собирательности имеет особые грамматические способы своего выражения, противопоставляемые формам выражения единичности и множественности (ср.: *студент* — *студенты* — *студенчество*; *тряпка* — *тряпки* — *тряпье* и т. п.) и имеющие продуктивный характер, в нивхском языке выделяется лишь ряд омертвелых суффиксов собирательности³⁷.

³⁵ См.: «Логика», М., 1956, стр. 46.

³⁶ См.: О. Е с п е р с е н, *Философия грамматики*, М., 1958, стр. 225—226.

³⁷ См.: В. З. П а н ф и л о в, *Грамматика нивхского языка*, ч. 1, М.—Л., 1962, стр. 102—104.

Ряд суффиксов с собирательным значением выделяется в эскимосском (полисинтетическо-агглютинативном) языке³⁸, в чукотском и корякском (синтетическо-агглютинативных) языках³⁹ и других палеоазиатских языках. Интересно при этом отметить, что чукотские собирательные суффиксы *-тку/-тко* и *-гинив/-ганэв* используются для образования существительных, которые отличаются по степени мощности обозначаемых ими собирательных множеств: собирательные существительные с первым суффиксом обозначают множества большой мощности, со вторым же — множества небольшой мощности. В тунгусо-маньчжурских языках (также языках синтетическо-агглютинативного типа) существует ряд продуктивных суффиксов с собирательным значением, посредством каждого из которых образуются существительные, составляющие определенную семантическую группировку⁴⁰.

Собирательные суффиксы, в той или иной мере продуктивные или непродуктивные и омертвелые, в более или менее значительном количестве выделяются также и в других языках этого типа, а именно, в тюркских и финно-угорских⁴¹.

Возвращаясь к нивхскому языку, отметим, что, так как в этом языке нет продуктивных аффиксов с собирательным значением, в нем нет также и особой категории собирательности и соответствующие значения выражаются в рамках грамматической категории числа. При этом существительные с лексическим значением собирательности (как и вещественно собирательные) обнаруживают некоторые особенности в характере значений форм ед. и мн. числа по сравнению с существительными несобирательными (не имеющими лексического значения собирательности), т. е. они не являются только лексико-семантической группировкой.

Часть этих существительных в форме ед. числа указывает как на единичный предмет [в русском языке им обычно соответствуют существительные со значением единичности на *-ин(а)*, *-инк(а)* и др.], так и на совокупность, на собирательное множество, образуемое из соответствующих предметов. Причем в одних случаях такая совокупность образуется из однородных предметов (например: *к'у* «дробинка; дробь»; *алс* «ягодинка; ягоды»), а в других случаях такая совокупность образуется из предметов, хотя и имеющих одно и то же назначение, но тем не менее отличающихся друг от друга (*п'отс* «какая-либо принадлежность для питья, а также принадлежности для питья вообще», *чонгынс* «какая-либо принадлежность для рыбной ловли, а также принадлежности для рыбной ловли вообще», *ун'ри* «что-либо из посуды, а также посуда вообще» и т. п.).

Эти существительные оформляются также суффиксом мн. числа, указывая на совокупность предметов, т. е. имеют собирательное значение.

Те имена существительные этой группы, которые в форме ед. числа указывают как на единичный предмет, так и на такую совокупность, которая образуется из однородных предметов, в форме мн. числа могут указывать

³⁸ См.: Г. А. М е н о в щ и к о в, Способы выражения единичности и множественности в языках различного типа, ВЯ, 1970, 1, стр. 86.

³⁹ См.: П. Я. С к о р и к, указ. соч., стр. 317, 319—320; 322; А. Н. Ж у к о в а, указ. соч., стр. 82—83.

⁴⁰ См.: В. И. Ц и н ц у с, Множественное число имени в тунгусо-маньчжурских языках, «Уч. зап. ЛГУ». Серия филол. наук, 10, 1946, стр. 96. См. также: J. V e n z i n g, Die Tungusischen Sprachen, Wiesbaden, 1956, стр. 68—74.

⁴¹ См.: А. Н. К о н о н о в, Показатели собирательности — множественности в тюркских языках, Л., 1969; Д. В. Б у б р и х, Древнейшие числовые и падежные формы имени в финно-угорских языках, сб. «Язык и мышление», М.—Л., 1948; е г о ж е, Историческая грамматика эрзянского языка, стр. 211—212; е г о ж е, Происхождение именного словозменения в финно-угорских языках, в кн.: Г. М. К е р т, Дмитрий Владимирович Бубрих, Л., 1975, стр. 63—72; Б. А. С е р е б р е н н и к о в, Вероятностные обоснования в компаративистике, М., 1974, стр. 158—165.

на дистрибутивное множество, состоящее или из единичных предметов, или из нескольких совокупностей таких предметов. Так, например, форма мн. числа существительного *алс* может означать «ягоды», «ягодинки», а в сочетании с определителем *п'хат'п'хат'(п'хат'п'хат' алску)* означает «ягоды разных сортов».

Таким образом, в нивхском языке существительные собственно собирательные первого типа в ед. числе употребляются в значении единичности и собирательности, а в форме мн. числа как в значении собирательности, так и в значении дистрибутивной множественности, в то время как несобирательные существительные в ед. числе употребляются в значении единичности и дистрибутивной множественности, а во мн. числе лишь в значении дистрибутивной множественности.

Собирательные существительные нивхского языка второго типа в форме ед. числа употребляются только в собирательном значении (*тан* «домочадцы», *лэлэ* «родня», *далад'* «зелень», *нивстамлаф* «березняк», *кыптамлаф* «черемушник» и др.). Оформляясь суффиксом мн. числа, некоторые из них также выражают собирательное значение (*тангу* «домочадцы», *лэлэгу* «родня»), а другие указывают на дистрибутивное множество, каждый из членов которого представляет из себя совокупность каких-либо предметов (*нивстамлафку* «березняки» и т. п.).

В русском языке по сравнению с нивхским языком прослеживаются специфические особенности не только в том, что касается способов выражения значения собирательности, их соотношения с грамматической категорией числа, но и в самом объеме и структуре этого значения. Поскольку понятие собирательности занимает промежуточное положение между понятиями единичности и дистрибутивной множественности, в русском языке, так же как и в нивхском, оно может выражаться и формой ед., и формой мн. числа некоторых существительных, изменяемых по числам. Так, ср.: 1) *Изведал враг в тот день немало, что значит русский бой удалый* (Лермонтов, Бородино); 2) *Враги знают, что ни одно нарушение наших границ не останется безнаказанным*.

Собирательное значение в русском языке выражается также некоторыми существительными *pluralia tantum* (*алименты, востоды, дебри, деньги* и др.). В русском языке существует также продуктивный способ образования существительных с собирательным значением посредством специальных словообразовательных суффиксов: суффикса *-й* (*бабье, мужичье*), суффикса *-н* (*я*) (*солдатня, матросня* и т. п.), суффикса *-ий* (*братия, пионерия*), суффикса *-ик(а)* (*символика, методика* и т. п.) и некот. др.⁴². Все образованные таким образом собирательные существительные в большинстве своем употребляются только в ед. числе, т. е. принадлежат к *singularia tantum*. Наконец, в русском языке есть также значительная группа существительных с «лексической собирательностью» типа *толпа, стадо* и т. п. Такого рода собирательные существительные включаются в сферу действия грамматической категории числа, так как наряду с формой ед. числа они имеют и форму мн. числа, которая указывает на множество совокупностей (*толпа — толпы, стадо — стада* и т. п.).

Поскольку в отличие от нивхского языка в русском языке существительные с собирательным значением не могут одновременно употребляться в значении единичности, этот пробел восполняется в нем в сфере словообразования: от существительных с собирательным значением образуются существительные со значением единичности посредством слово-

⁴² См.: «Грамматика современного русского литературного языка», М., 1970, стр. 126—128.

образовательных суффиксов *-ин(а)* (ср. *горох — горошина*), *-инк(а)* (ср. *икра — икринка*), *-к(а)* (ср. *редис — редиска*) и некот. др.⁴³.

Многие из образованных таким образом существительных со значением единичности вовлечены в сферу действия грамматической категории числа и от них образуются формы мн. числа (*икринка — икринки*, по *дернина — *дернины*).

Итак, в русском языке категория собирательности оказывает значительное воздействие на сферу функционирования категории грамматического числа, выводя за ее пределы значительное количество существительных. В отличие от этого в нивхском языке, в котором собирательные понятия имеют более широкую сферу выражения, чем в русском языке, это не оказывает влияния на емкость категории грамматического числа существительных, сфера действия которой в этом языке по указанной причине оказывается более широкой, чем в русском языке. То же самое следует сказать и о других языках синтетическо- или полисинтетическо-агглютинативного типа. Так, в эскимосском языке все существительные, образованные посредством суффиксов с собирательным значением, имеют формы всех трех чисел, которые составляют в нем грамматическую категорию числа, а именно, формы ед., дв. и мн. числа⁴⁴. За некоторыми исключениями попадают в сферу функционирования грамматического числа и образованные посредством специальных суффиксов с собирательным значением собирательные существительные в корякском языке — в этом языке они также имеют формы всех трех чисел — ед., дв. и мн.

К собирательному типу множества в некоторых отношениях близок так называемый репрезентативный, или заместительный, тип множества⁴⁵, также выражаемый в некоторых языках формой мн. числа существительных. Этот тип множества выражается лишь собственными, а также нарицательными именами, обозначающими лиц. Форма мн. числа антропонима или нарицательного существительного, обозначающего лицо, указывает на то, что данное лицо находится в группе других лиц. Таким образом, эта группа лиц получает определенную характеристику по данному лицу, это последнее как бы представляет и объединяет их. Выражаемый в данном случае тип множества сближается по своему характеру с собирательным множеством, поскольку и здесь делается упор не на собственно количественную характеристику, а на то, что данная совокупность объектов с качественной стороны представляет собой одно целое и каждый из ее членов не имеет тех свойств, которые имеет все целое. Но между этими случаями есть и различие, состоящее в том, что если члены собственно собирательного множества равноправны в отношении их участия в создании качественной определенности всего множества, то в данном случае все множество получает характеристику по одному из его членов, который обозначается соответствующим собственным именем или нарицательным существительным, обозначающим лицо. По существу форма мн. числа в этих случаях придает существительному местоименную функцию, так как та или иная группа лиц выделяется посредством указания на один из членов этой группы и ее характеристика сводится к указанию на то, что соответствующее лицо находится в ее составе. Тот же тип множества выражается личным местоимением 1-го лица мн. числа. Это местоимение ука-

⁴³ Там же, стр. 128—129.

⁴⁴ См.: Г. А. М е н о в щ и к о в, Грамматика языка азиатских эскимосов, ч. 1, стр. 123.

⁴⁵ Этот термин был предложен А. А. Холодовичем (см.: А. А. Х о л о д о в и ч, Очерки по японскому языку, «Уч. зап. ЛГУ». Серия филол. наук, 10, 1946, стр. 179). О. Есперсен называет его «приблизительным множественным числом» (plural of approximation) (О. Е с п е р с е н, указ. соч., стр. 220).

зывает не на множество «я», а на группу лиц, в которой находится и «я» и которая определяется по этому признаку. Именно поэтому в некоторых языках оно образуется от местоимения 1-го лица ед. числа (например в нивхском: *н'и* «я» и *н'ы-н* «мы»).

Репрезентативный тип множества, выражаемый формой мн. (или дв.) числа антропонима или нарицательных существительных, обозначающих лиц, представлен в сравнительно ограниченном круге языков: японском, нивхском, корякском, тюркских и некот. др.

Следует при этом сказать, что в отличие от японского в нивхском языке возможность репрезентирования каким-либо одним членом целой группы лиц не обуславливается однородностью всех ее членов. Например: *Хэвгунгу нароют виныд'* «Хэвгун с товарищами собираются идти в лес охотиться» (собственное имя *Хэвгун* употреблено во мн. числе и указывает на группу лиц, во главе которых стоит Хэвгун). В отличие от собственных имен мн. число существительных нарицательных, обозначающих лиц, может выражать и репрезентативный, и дистрибутивный тип множества. Так, например, в зависимости от контекста существительное *ытык* «отец» во мн. числе (*ытык-ху*) может означать «отец с матерью» и «отцы».

В корякском языке репрезентативный тип множества также получает свое выражение в пределах грамматической категории числа. Так, в этом языке антропонимы и нарицательные существительные, обозначающие лиц, оформляясь суффиксом дв. числа *-нти/-нтэ*, обозначают названное лицо совместно с кем-либо или, реже, два лица, носящие одно и то же имя⁴⁶. Например: *Татантэ, ақоянтаң митив'* «Дядя (с младшим братом) завтра утром пойдут в табун оленей» (*тата-нтэ* «дядя» — в форме дв. числа, поскольку речь идет о дяде с младшим братом). Этот же тип множества может выражаться формой мн. числа имени собственного в тюркских языках⁴⁷, в которых, однако, это явление развито, по-видимому, в меньшей степени, чем в указанных палеоазиатских языках.

В эскимосском языке репрезентативный тип множества выражается посредством присоединения к существительному особого суффикса *-нку*, а затем это существительное оформляется суффиксом мн. числа *-т* или суффиксом дв. числа *-к*. Так, например, форма собственного имени *Куяпана-нку-т* может означать «люди Куяпы; семья Куяпы»⁴⁸. Таким образом, в эскимосском языке выражение репрезентативного типа множества, как и выражение собирательного типа множества, осуществляется специальными грамматическими средствами, не относящимися к грамматической категории числа.

Специфический характер приобретает функционирование грамматической категории числа и, в частности, ее мн. (в некоторых языках и дв.) числа в сфере вещественных или вещественно-собирательных существительных типа *вода, нефть, грязь, мука, земля, белла* и т. п. Объектам, обозначаемым существительными этой лексико-грамматической группировки, свойственно непрерывное количество, и они, следовательно, подлежат измерению, но не счету. Поэтому можно было бы ожидать, что существительные этой лексико-грамматической группировки окажутся вне сферы действия категории грамматического числа. Действительно, во многих языках и, в частности, в индоевропейских языках большинство такого рода существительных не изменяются по числам и они являются либо *singulugia tantum* (ср. русск. *вино, водка*), либо *pluralia tantum* (ср. русск. *белла*,

⁴⁶ В. Н. Жукова, указ. соч., стр. 128.

⁴⁷ См.: А. Н. Кононов, Грамматика современного турецкого литературного языка, М.—Л., 1956, стр. 69.

⁴⁸ Г. А. Меповщикова, Способы выражения единичности и множественности в языках различного типа, стр. 86.

дрова). Вместе с тем в индоевропейских языках некоторые вещественные существительные имеют формы обоих чисел. Однако в такого рода случаях между формами ед. и мн. числа имеются лексические расхождения, т. е. изменение по числам здесь играет уже словообразовательную роль (ср. русск. *вино* — *вина*, *вода* — *воды*)⁴⁹.

Если в русском и других индоевропейских языках по числам изменяется лишь ограниченное количество вещественных существительных, то в некоторых других языках, например, в палеоазиатских, самодийских, угорских, тюркских, индейских⁵⁰ по числам в принципе изменяются все вещественные существительные. В указанных языках эти существительные, имея форму ед. (или общего) числа, обозначают какое-либо однородное вещество, все части которого имеют те же свойства и название, что и целое. Получая форму мн. числа⁵¹, они обычно указывают или на несколько видов (сортов) того или иного вещества, или на то, что данное вещество заключено в нескольких сосудах, или на то, что имеется несколько его кусков, или на несколько предметов, состоящих из данного вещества, или, наконец, на то, что данное вещество представлено в большой массе.

Таким образом, при оформлении существительных вещественных суффиксом мн. числа изменяется их лексическое значение. Правда, следует отметить, что и в форме ед. (или общего) числа наряду со своим основным значением — обозначением вещества вообще — они могут употребляться и в переносном значении, как указание на определенную меру данного вещества (*один сосуд с жиром*, *один мешок муки* и т. п.). Но отличие здесь состоит в том, что в форме мн. числа они не обозначают какое-либо вещество вообще, но всегда содержат указание на меру этого вещества.

Что касается типа множества, выражаемого формой мн. числа вещественных существительных, то в тех случаях, когда они указывают на множество сортов и видов того или иного вещества, оно по своему характеру приближается к дистрибутивному, однако в отличие от последнего не предполагает однородности составляющих его объектов.

Благодаря тому, что существительные вещественные могут указывать не на то или иное вещество вообще, а на его конкретную форму, они сочетаются с количественными числительными и в этом отношении существительным образом отличаются от аналогичного разряда существительных в русском языке. Так, например, по-нивхски можно сказать *выт' н'аqr*, *выт' маqr*, *выт' т'аqr* и т. д. — букв. «одно железо», «два железа», «три железа» и т. д.

Грамматический строй любого языка есть результат длительной абстрагирующей деятельности человеческого мышления. Грамматические значения по самой своей природе не могут не иметь абстрактного и в той или иной степени обобщенного характера. Поэтому не кажется оправданной та точка зрения⁵², которая рассматривает возникновение грамматической категории числа как результат непосредственно-чувственного вос-

⁴⁹ «Грамматика современного русского литературного языка», стр. 324.

⁵⁰ См.: П. Я. Скорик, указ. соч., стр. 154; А. Н. Жуков, указ. соч., стр. 131—132; В. З. Панифлов, Грамматика нивхского языка, ч. 1, стр. 109—111; Г. А. Меньшиков, Способы выражения единичности и множественности в языках различного типа, стр. 34; Н. М. Терещенко, указ. соч., стр. 41—43; Н. И. Терещкин, Очерки диалектов хантыйского языка, ч. 1, М.—Л., 1961, стр. 62; В. Г. Гузев, Д. М. Насилов, указ. соч., стр. 108; Б. Уорф, Отношение норм поведения и мышления к языку, сб. «Новое в лингвистике», I, М., 1960, стр. 144—145.

⁵¹ В таких языках, как корякский, венецкий, эскимосский, они имеют также и форму дв. числа.

⁵² См.: И. С. Тимофеев, Методологическое значение категорий «качество» и «количество», М., 1972, стр. 116.

приятия количественной характеристики конкретных множеств предметов. И. С. Тимофеев полагает также, что грамматическая категория числа сформировалась до того, как возникли соответствующие числовые обозначения «один», «два», «три» и т. д.⁵³

Следует прежде всего сказать, что этап непосредственно-чувственного восприятия количества не мог привести к возникновению каких бы то ни было числовых обозначений. Язык по самой своей природе возникает как средство осуществления абстрактного, обобщенного мышления, а чувственно-наглядные образы сами по себе не нуждаются в языковых средствах их становления и фиксации. Этап непосредственно-чувственного восприятия каких-либо конкретных множеств предметов и установления количественных различий между ними есть лишь предпосылка формирования категории количества как категории абстрактного, обобщенного мышления. Но при отсутствии на этом этапе понятий об определенных количествах («один», «два», «три» и т. п.) и соответствующих числовых обозначений лексического характера не могли возникнуть и грамматические формы, которые бы фиксировали эти понятия в пределах грамматической категории числа. Те или иные грамматические значения и соответствующие формы их выражения не могут возникнуть в языке, если эти значения предварительно не получали того или иного выражения в лексической системе языка. Существует немало языковых данных, которые свидетельствуют о том, что грамматическая категория числа, включающая ед., дв., тройственное числа, могла возникнуть только в том случае, если уже существовали лексически выраженные понятия «один», «два», «три». Как уже отмечалось, существуют языки, в которых есть в той или иной степени развития система лексических обозначений числовых понятий, но нет грамматической категории числа. В то же время неизвестны случаи противоположного характера, т. е. когда при наличии грамматической категории числа в языке не существовало хотя бы нескольких числовых обозначений в пределах первого десятка.

Если говорить о последовательности возникновения частных грамматических значений при формировании грамматической категории числа, то она также оказывается иной, чем это предполагает И. С. Тимофеев. В процессе абстрактного познания дискретного количества первоначально возникают понятия «один» и «больше, чем один» (\approx «много»). Этимологический анализ показывает, что числовое обозначение «два» в ряде языков возникает как результат переосмысления того слова, которое обозначало понятие «больше, чем один» (\approx «много»). Из этого следует, что и возникающая грамматическая категория числа конституируется на основе оппозиции не форм со значением единичности и двоичности, а форм со значением единичности и множественности. И лишь затем во многих языках возникают также формы дв. или даже тройственного числа, причем доказано, что во всяком случае в ряде языков для выражения дв. числа используется грамматическая форма, ранее выражавшая мн. число⁵⁴. В этой связи нельзя не учитывать также того обстоятельства, что если мн. число есть во всех языках, которые имеют грамматическую категорию числа, то в отличие от этого дв. число (и тем более тройственное) свойственно далеко не всем этим языкам, даже если учитывать и их историческое прошлое.

Вместе с тем следует отметить, что дв. число существовало в широком круге языков, но одна из тенденций развития категории грамматического

⁵³ Там же, стр. 117.

⁵⁴ И. М. Т р о н к и н, К семантике множественного числа в греческом и латинском языках, «Уч. зап. ЛГУ». Серия филол. наук, 10, 1946, стр. 69—71.

числа состоит в том, что оно постепенно было утрачено большинством из них, как, например, почти всеми индоевропейскими языками. Эта тенденция к утрате дв. числа проявляется и в настоящее время в тех языках, где оно пока еще существует как, например, в ненецком языке⁵⁵.

Грамматической категории числа свойственна определенная структура, т. е. тот или иной тип соотношения значений, выражающихся формами ед. и мн. числа или ед., дв. и мн. числа для тех языков, в которых существуют не два, а три числа. Следует отметить, что, во-первых, эта структура будет неодинаковой в языках разных типов, а во-вторых, она может изменяться в процессе исторического развития одного и того же языка. Выше уже отмечалось, что существуют языки, в которых форма существительного, не имеющая каких-либо грамматических показателей числа, не образует оппозиции с теми грамматическими формами существительного, посредством которых указывается на множественность объектов, поскольку эта первая форма безразлична, нейтральна к количественной характеристике тех объектов, которые обозначаются существительным. Такого рода явления наблюдаются прежде всего в языках аналитическо-агглютинирующего типа (китайский и некоторые другие языки Юго-Восточной Азии). В языках синтетическо- или полисинтетическо-агглютинирующего типа формам мн. числа существительного, которыми указывается на множественность соответствующих объектов, обычно также противостоит форма существительного с нулевым показателем. В оппозиции с формами мн. числа форма существительного с нулевым показателем выступает как ее слабый, немаркированный член — она может выражать значение множественности, специфичное для первых, но обратное невозможно. Характерным для грамматической категории числа в языках рассматриваемого типа является: 1) широта сферы ее функционирования для существительных — по числам не изменяется лишь ограниченное число его лексико-семантических группировок, так как в этих языках есть лишь сравнительно немногочисленный разряд существительных *singularia tantum* и, как правило, совсем или почти нет существительных *pluralia tantum*; 2) ее ущербность для других частей речи и в особенности при ее использовании в согласовательной функции — в этих языках она не имеет облигаторного характера.

В языках синтетическо-флективного типа, в которых ед. и мн. число выражается флективными показателями, имеет место иной тип соотношения приуроченных к ним значений. Форма ед. числа в них, как и в синтетическо-агглютинативных языках, также может употребляться в родовом значении и в этом частном случае оказывается нейтральной по отношению к числовым противопоставлениям. Однако специфическим для нее значением является значение единичности и она не может употребляться в значении дистрибутивной множественности, что имеет место в языках синтетическо-агглютинативного типа.

В языках этого типа невозможны также и случаи противоположного характера, когда бы форма мн. числа существительных употреблялась в значении единичности. Сказанному не противоречит факт существования в этих языках существительных *pluralia tantum*, которые обозначают единичные объекты, состоящие из нескольких частей, так как эти существительные не изменяются по числам. В отличие от языков синтетическо-агглютинирующего типа грамматическая категория числа в языках флективно-синтетического типа характеризуется также: 1) менее широкой сферой своего функционирования среди существительных — в языках этого типа значительно больше существительных *singularia tantum*, чем в язы-

⁵⁵ См.: Н. М. Терещенко, указ. соч., стр. 50.

ках синтетическо-агглютинативного типа, а, с другой стороны, в них существует большое количество существительных *pluralia tantum*; 2) облигатностью своего функционирования в порядке согласования в сфере других частей речи (прилагательных, глаголов и т. п.).

Зависимость двух видов структур грамматической категории числа от типологической характеристики языка [синтетическо-(полисинтетическо)-агглютинирующий или синтетическо-флективный] наглядно демонстрируется историей развития некоторых языков, в процессе которого произошла смена средств выражения грамматического числа существительных одного типа на другой. Так, в древнеиранских языках грамматическая категория числа существительных, включающая ед., дв. и мн. число, выражалась флективными окончаниями, одновременно являющимися показателями падежа и рода. Соответственно этому она обладала теми чертами структуры, которые свойственны языкам синтетическо-флективного типа. В процессе своего исторического развития иранские языки, как и другие индоевропейские языки, постепенно утратили дв. число. Коренные изменения претерпели средства выражения ед. и мн. числа. В связи с общим процессом утраты именных флексий форма ед. числа существительных в новоиранских языках стала выражаться нулевым показателем, а место флективных показателей мн. числа в них заняли агглютинативные суффиксы. Это вызвало перестройку структуры грамматической категории числа. Если в древнеиранских языках форма ед. числа не могла выражать значение дистрибутивной множественности, то в новоиранских языках, имея нулевой показатель, она стала употребляться как в значении единичности, так и в значении дистрибутивной множественности. Таким образом, в новоиранских языках ед. число по существу превратилось в общее число и заняло в оппозиции со мн. числом место слабого (немаркированного) члена. Вместе с этим категория грамматического числа в новоиранских языках в значительной мере утерла и свою согласовательную функцию. Если в древнеиранских языках нарушение согласования в числе было исключением, то в новоиранских языках оно становится обычным явлением⁵⁶. В связи с этим произошло также сужение сферы действия грамматического числа. «В древнеиранских категориях числа охвачены все именные части речи, включая числительное. В новоиранских (типа персидского и таджикского) категория числа все больше становится отличительной структурной чертой имени существительного (не считая некоторых местоимений)»⁵⁷.

Та последовательность перехода от одной структуры грамматического числа к другой, которая имела место в ходе развития иранских языков, по-видимому, не может считаться основной или тем более единственной линией развития грамматической категории числа, поскольку в истории развития языков, вероятно, чаще происходил переход от синтетическо-агглютинативного к синтетическо-флективному типу, чем от последнего к первому.

Одним из направлений развития грамматической категории числа существительных (как и других грамматических категорий) является сфера ее функционирования. Как уже отмечалось, в ряде современных языков (палеоазиатских, самодийских, некоторых финно-угорских и др.) в сферу функционирования грамматической категории числа входят все вещественные существительные, которые регулярно изменяются в них по числам. В современных индоевропейских языках большинство существительных

⁵⁶ См.: «Опыт историко-типологического исследования иранских языков», II, М., 1975, стр. 200—249.

⁵⁷ Там же, стр. 249.

этого типа является или *singularia tantum*, или *pluralia tantum*. Лишь часть из них имеет формы обоих чисел, причем их изменение по числам сопровождается изменением и их лексического значения. Однако иное положение с этим лексико-грамматическим разрядом существительных наблюдается на более древних этапах развития этих языков. Во всех индоевропейских языках вещественные существительные некогда так же изменялись по числам, как они изменяются по числам в современных палеоазиатских и других названных выше языках⁵⁸. Как уже отмечалось, в этих последних вещественные существительные в форме мн. числа указывают на то, что соответствующее вещество представлено в виде каких-либо конкретных разновидностей [несколько сортов или видов вещества, несколько кусков или емкостей (сосудов, мешков и т. п.) с этим веществом] или в большой массе. Следовательно, можно предполагать, что исторической предпосылкой вовлечения вещественных существительных в сферу функционирования грамматической категории числа было более конкретное представление о веществе. Иначе говоря, изменения в сфере функционирования грамматической категории числа, которые имели место применительно к вещественным существительным, по-видимому, в той или иной мере связаны с развитием понятия вещества⁵⁹.

Одним из существенных факторов развития категории грамматического числа существительных является историческое развитие понятия множественности. Установлено, что многие языки на более ранних этапах своего развития имели значительное количество грамматических показателей собирательной множественности. Каждый из таких показателей, по-видимому, оформлял существительные, обозначающие определенный тип собирательного множества в зависимости от качественных особенностей его составляющих объектов. В процессе дальнейшего исторического развития языков отмечаются две тенденции: 1) постепенное стирание семантических различий между показателями собирательных множеств; 2) перерастание некоторых показателей собирательных множеств в показатели дистрибутивного типа множества⁶⁰. Говоря о последней тенденции, следует иметь в виду, что она не предполагает полного исчезновения грамматических показателей собирательных множеств, так как собирательное понятие остается одной из форм понятия человеческого мышления и на современном этапе его развития. Поэтому и в современных языках существуют лексические и грамматические способы выражения собирательности, и в том числе в пределах грамматической категории числа. При этом нередко один и тот же грамматический показатель употребляется как в значении дистрибутивной, так и собирательной множественности. Такова, например, функция тюркского показателя мн. числа *-лар*, чувашского *-сем*⁶¹ и т. д. Едва ли также есть основания предполагать, что существовал такой этап в развитии языков, когда грамматическая категория числа не

⁵⁸ См.: В. И. Дегтярев, Формирование категории вещественности, ВЯ, 1971, 6.

⁵⁹ См. также: В. З. Панфилов, Грамматика пивхского языка, ч. 1, стр. 109—110, примеч. 51; В. И. Дегтярев, указ. соч., стр. 62.

⁶⁰ Это явление отмечается для языков, принадлежащих к самым различным генетическим и типологическим группировкам. См., например: R. G. P. H. e. s. h., *Der türkische Sprachbau*, I. Kopenhagen, 1936, стр. 57—69; О. Есперсен, указ. соч., стр. 226; И. М. Тронский, указ. соч., стр. 62; В. И. Цинциус, указ. соч., стр. 113; Д. В. Бубрих, Древнейшие числовые и падежные формы имени в финно-угорских языках, стр. 79, 86; «Опыт историко-типологического исследования иранских языков», II, стр. 210; В. З. Панфилов, Грамматика пивхского языка, ч. 1, стр. 93—96, и многие другие работы.

⁶¹ См.: А. Н. Кононов, Грамматика современного узбекского языка, М.—Л., 1960, стр. 78; е го же, Показатели собирательности-множественности в тюркских языках, стр. 4; В. И. Сергеев, Способы выражения множественности в чувашском языке. АКД, М., 1973, стр. 6.

включала бы значения дистрибутивной множественности. Понятие дистрибутивной множественности является необходимой предпосылкой формирования числовых понятий уже на этапе установления равнозначности множеств. Что же касается способов грамматического выражения этого понятия, то, по-видимому, наиболее древним из них было удвоение основы существительного или парные слова, что отмечается специалистами по языкам, принадлежащим к различным генетическим и типологическим группировкам ⁶².

⁶² См., например: А. П. Р и ф т и н, Из истории множественного числа, «Уч. зап. ЛГУ». Серия филол. наук, 10, 1946, стр. 40; В. И. Ц и н ц и у с, указ. соч., стр. 76; И. М. Д ь я к о н о в, указ. соч., стр. 60, 63; А. С. Т е с е л к и н, указ. соч., стр. 41—42; В. Д. А р а к и н, указ. соч., стр. 98; М а у н М а у н Н ь у н, И. А. О р л о в а, Е. В. П у з и ц к и й, И. М. Т а г у н о в а, указ. соч., стр. 52—53; Н. К. Д м и т р и е в, Категория числа, стр. 68—69.

ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

О. Н. ТРУБАЧЕВ

О СИНДАХ И ИХ ЯЗЫКЕ

Наша лингвистическая литература почти не касалась вопроса о языке синдов. Северное Причерноморье, где жили синды в античную эпоху, представляется большинству современных исследователей безраздельным доменом иранства, а узкая прибрежная полоса — районом контактов греческого и иранского элементов. Присутствие того и другого здесь неоспоримо. Нестареющим достижением науки остается признание иранского характера языка скифов и родственных им сарматов¹. Его зачатки находим еще у древних: ... Sarmatae, Medorum (ut ferunt) suboles (Plin. Naturalis historia VI, 19). Впрочем современная наука унаследовала от античной в этой области не одни лишь достижения. До сих пор не преодоленным грехом античной учености может считаться слишком расширительное применение и толкование понятий «эллинизм» и «иранство». Еще не изжито народноэтимологическое осмысление в греческом духе ряда местных названий, греческое происхождение которых нуждается в проверке. До наших дней дожила, например, еще страбоновская этимология названий 'Αλάτορον, 'Αλάτορος, 'Αλατόρη (местность в азиатском Боспоре и тамшний эпитет Афродиты) — от греческого глагола ἀλατάω «обманывать», ἐξ ἀπάτης «обманом». «Чисто греческим» принято считать имя царя синдов 'Εκατάτος, на основании чего историками делаются выводы о сильной эллинизации синдов в то время, но это могла быть грецизированная запись негреческого имени, ср. скифское царское имя *Atheas* (с близким исходом индо-иран. *-taya-).

Расширительное употребление названий *скифы*, *Скифия* у древних авторов общеизвестно. Хотя критика нового времени раскрыла чисто литературный характер этой традиции, лингвистическая концепция индоевропейского Северного Причерноморья находится в современном сравнительно-историческом языкознании всецело под знаком своеобразного «паниранизма». В. И. Абаевым был выдвинут тезис: «Все, что не объяснено из иранского, в большинстве вообще не поддается объяснению»². Действительно, в литературе, например, уже указывалось специально на отсутствие славянского элемента в древней антропонимии и в целом — в античной эпигра-

¹ См. из литературы: K. Müllenhoff, Deutsche Altertumskunde. III, Berlin, 1892; В. М и л л е р, Осетинские этюды, ч. III. Исследования, М., 1887; M. Vasmer, Untersuchungen über die ältesten Wohnsitze der Slaven. I. Die Iranier in Südrußland, Leipzig, 1923 («Veröffentlichungen des baltischen und slavischen Instituts an der Universität Leipzig», 3); А. И. С о б о л е в с к и й, Русско-скифские этюды, ИОРЯС, XXVI, 1921; В. И. А б а е в, Осетинский язык и фольклор, I, М.—Л., 1949 (особенно раздел «Скифский язык»: стр. 147 и сл.); L. Zgusta, Die Personennamen griechischer Städte der nördlichen Schwarzmeerküste. Die ethnischen Verhältnisse, namentlich das Verhältnis der Skythen und Sarmaten, im Lichte der Namenforschung, Praha, 1955.

² В. И. А б а е в, Осетинский язык и фольклор, стр. 37.

фике Северного Причерноморья. Казалось бы, наличие в этом районе какого-либо иного индоевропейского этноса, кроме вышеупомянутых, практически вообще маловероятно при нынешнем состоянии знаний. И все же вероятно много, более сложного лингвотнического состава древнего Северного Причерноморья есть. Это вероятно питается главным образом фактами, которые можно обозначить как «нескифское в скифском» (о чем — ниже), а также внимательным изучением совокупных свидетельств античной традиции. Можно надеяться, что путь к определенным уточнениям и прояснениям (насколько они вообще возможны в этой трудной материи) лежит через непротиворечивое сопоставление и объединение показаний сравнительно-исторического языкознания и античной традиции. А противоречия здесь имеются. Так, например, существующая широкая иранистическая концепция языка древнего населения Северного Причерноморья как бы игнорирует наличествовавшее в античной традиции тонкое и весьма ясное противопоставление Скифии и Боспора, о котором мы еще будем говорить. Коренное население так называемого азиатского Боспора (нынешняя Тамань и восточное Приазовье) — синды и меоты — безоговорочно поглощаются названной выше концепцией. Проблема языковой принадлежности тавров горного и южного Крыма зашла вследствие этого в безнадежный тупик, так как, с одной стороны, иранисты, помня указание Геродота об особом положении тавров, не решаются пока причислить и их к иранским племенам, а с другой стороны, те из современных исследователей, которые говорят о древнем этнолингвистическом вкладе Кавказа в азиатском Боспоре, за малыми исключениями, не решаются распространять такую теорию на Тавриду, хотя материально-культурные аналогии и связи между этими областями известны. Не удивительно поэтому встречающиеся в литературе утверждения, что язык тавров остается загадочным и неизвестным. Настоящим миражом предстает перед нами проблема киммерийцев, потому что о них, как и о более реальных скифах, имеются, правда, несколько туманные, сведения со всех берегов Черного моря, что разумнее отнести на счет расширительного употребления также имени киммерийцев. Расплывчатость древних донесений и слухов о дальних походах киммерийцев тем более настораживает нас, что собственно Киммерия — это четко ограниченное, небольшое пространство земли — северная часть полуострова Тамань, точнее — современный полуостров Фонтан или Фанталовский (так!), запиравшийся с востока особым земляным Киммерийским валом. Об этом свидетельствуют Геродот и Страбон (Κιμμερίη, Κιμμέρια τείχεα, πορθήρια Κιμμέρια, Βόσπορος Κιμμέριος, Негод. IV, 11; Κιμμερικόν, город на полуострове, со рвом и валом на перешейке, Strab. XI, II, 5). Географическое нахождение Киммерии в азиатском Боспоре очень вредит иранистической концепции, которая и в киммерийцах усматривает иранское племя. Это противоречит античной традиции, специально упоминавшей о родстве киммерийцев и фракийцев-треров. Новый труд западногерманского историка Г. Шрамма³ с его оригинальной попыткой увязать киммерийский с древнеармянским грешит, пожалуй, все той же инфляцией понятия «киммерийский» (далеко отстоящий от Киммерии гидроним Τάναϊς «Дон», как и Ὑπανίς «Кубань», объясняются у него из киммерийского, с постулируемым передвижением согласных). Однако единственная киммерийская глосса носит балканский, македонско-фракийский характер⁴, ряд царей Боспора Киммерийского носил ярко фра-

³ G. S c h r a m m, Nordpontische Ströme. Namenphilologische Zugänge zur Frühzeit des europäischen Ostens, Göttingen, 1973.

⁴ Имеется в виду ἀρχιλλὰ «подземные жилища» (Эфор у Страб. V, 4, 5), сближаемое с ἀρχιλλὰ οἰκήματα Μακεδονικόν (Гесихий), алб. *ragal(ë)* «хижина», рум. *argeá* «землянка». Сведения см.: G. S c h r a m m, указ. соч., стр. 199.

кпийские имена, что позволяет исследователям (в том числе советским) говорить о фракийской принадлежности киммерийцев, ср. и попытку соответствующим образом прочесть их этноним⁵. Отсутствие в распоряжении исследователей четких языковых критериев побуждает некоторых из них прибегнуть к более проблематичному обобщению, что синды и меоты — преемники киммерийцев⁶. Но внимательное чтение древних авторов и складывающаяся на этой базе географическая картина этого не подтверждают, а, напротив, ясно говорят нам, что Киммерия и Синдика не совпадают друг с другом, их разделяет Таманский (древний Короковдамский) залив, а Киммерия, к тому же, отгорожена от более восточных меотов, по-видимому, не одним только земляным валом (который и сам по себе, как и в других подобных случаях, должен был знаменовать этническую и политическую границу! Ср. на Керченском полуострове так называемый вал Асандра, отделявший Боспор от скифов степного Крыма и т. д.). Любопытно отметить, что ни одно название, этимологизируемое нами как синдомеотское, не локализуется в собственно Киммерии.

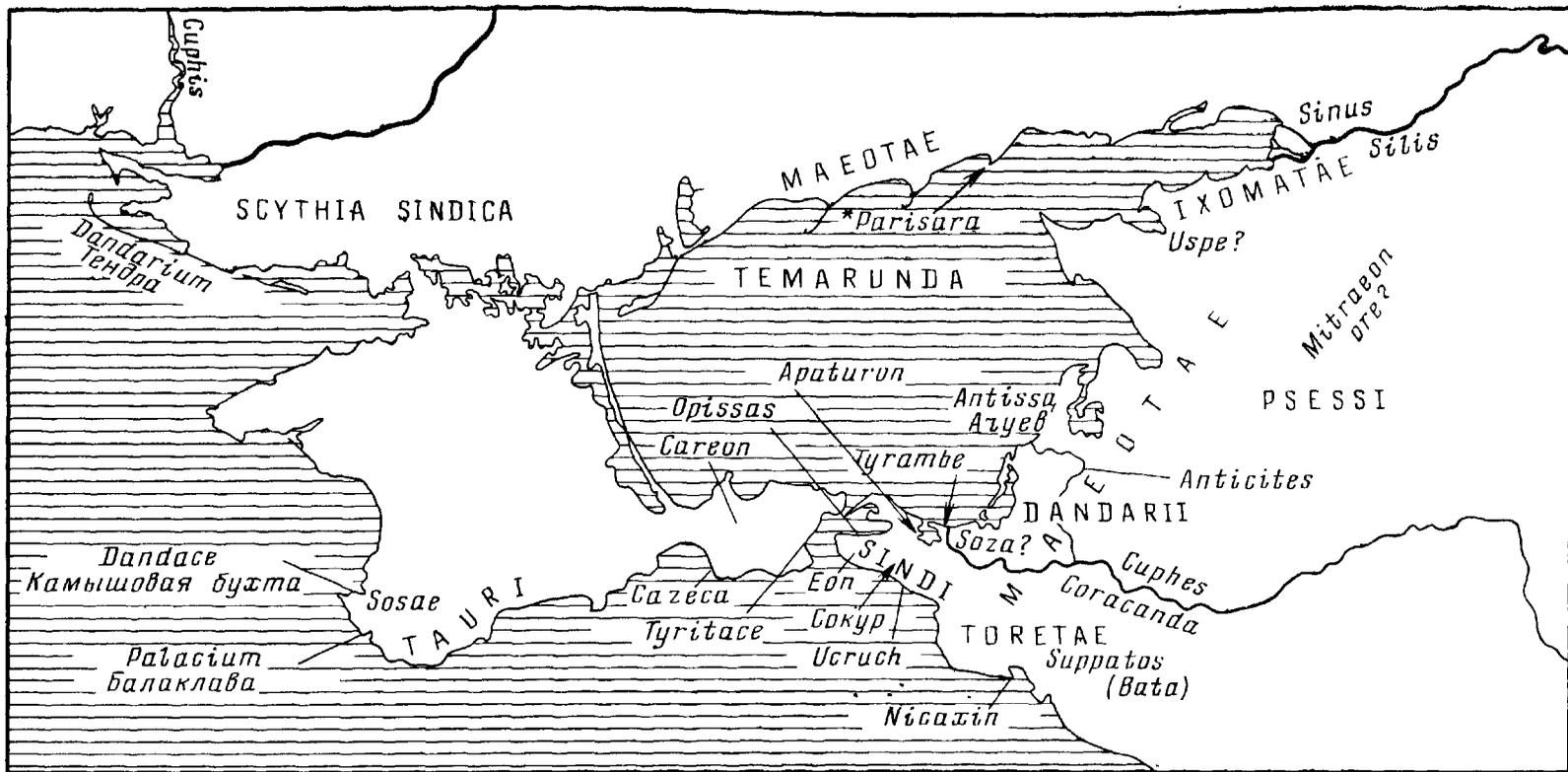
Несомненное, при всех возможных коррективах, древнее наличие иранцев в Северном Причерноморье легко может вызвать мысль также о древнем наличии где-то в относительной временной и территориальной близости их индоарийских родственников, праиндийцев. Например, археолог Б. А. Рыбаков в самое последнее время неоднократно выступал (мне известны два его таких устных доклада в Академии наук СССР в течение 1975 г.) с наблюдениями о сходствах элементов трипольской археологической культуры (Правобережная Украина, III тысячелетие до н. э.) и культуры древних индийцев. Однако совершенно ясно, что мысль о праиндийцах на Украине зависит от развития дискуссии о месте прародины индоевропейцев, а следовательно и о путях их расселения. В двух словах положение в нашей проблеме на сегодняшний день можно резюмировать следующим образом: нахождение индоарийцев (праиндийцев) в какой-то момент к северу от Черного моря принимается всеми, в то же время во всем индоевропейском языкознании нет положения более абстрактного, чем это. Одно из проявлений схематизма существующих воззрений на этот счет мы видим в том, что постулируемое разделение индоиранцев на индоарийскую (праиндийскую) и иранскую ветви где-то к северу от Черного моря явно или неявно мыслится как сопровождавшееся полным уходом всех индоарийцев «до последнего человека» на юго-восток⁷. Так вряд ли было в действительности. В действительности уже а priori следовало допускать сохранение остатков праиндийцев в отдельных районах Северного Причерноморья или даже на положении слоев, компонентов явно неоднородного скифского общества⁸ и соответственно — языка. Многие указывает на справедливость именно этого предположения. Начнем с античных свидетельств; им принадлежит первое слово также в этом вопросе. Как

⁵ О. Н. Трубачев, Tamarundam «matrem maris». К вопросу о языке индоевропейского населения Приазовья, «Античная балканистика. 2. Предварительные материалы», М., 1975, стр. 41—42.

⁶ В. Д. Блаватский, Архаический Боспор, МИА СССР № 33, М., 1954, стр. 42; М. И. Артамонов, К вопросу о происхождении боспорских Спартокидов, ВДИ, 1949, 1, стр. 35.

⁷ Ср.: В. И. Абаев, К вопросу о прародине и древнейших миграциях индоиранских народов, «Древний Восток и античный мир. Сборник статей, посвященный проф. В. И. Авдиеву», М., 1972, стр. 36: «II тыс. до н. э., 1-я пол. Арийская общность распадается на две ветви, протоиранскую и протоиндийскую. Последняя покидает территорию Европы и через Переднюю Азию проходит в Индию».

⁸ Ср.: К. Тгеимег, Die Ethnogenese der Slawen, Wien, 1954 (с ошибочной в целом теорией скифского языка как индийского суперстрата на кавказском субстрате, см. стр. 41, 47, 75); А. О. Билецкий, Проблема мови скіфів, «Мовознавство. Наукові записки», XI, Київ, 1953, стр. 75, 81—82, 86.



традицией «мидийского», т. е. иранского происхождения скифов и сарматов, так и преданием об «индийских» племенах в Северном Причерноморье мы обязаны древним.

Эти лаконичные древние исторические свидетельства и глоссы породили затяжной спор в науке. Речь идет об одной из научных контроверз, которые старше самой науки. Судя по всему, античные авторы знали два варианта названия племени синдов — $\Sigma\acute{\iota}\nu\delta\omicron\iota/\Sigma\acute{\iota}\nu\delta\omicron\acute{\iota}$ и $\acute{\iota}\nu\delta\omicron\iota$. Второй вариант явно иранский, причем иран. **hind-* в ионической Греции претерпело псилозу (утрату густого придыхания). Иониец Геродот (V в. до н. э.) совершенно закономерно поэтому пишет $\acute{\epsilon}\varsigma\ \tau\omicron\upsilon\varsigma\ \acute{\iota}\nu\delta\omicron\upsilon\varsigma$ «в (землю) индов», когда он рассказывает о набегах скифов на повозках зимой через замерзший Боспор в Синдику (Herod. IV, 28). В большинстве списков Геродота представлен вариант $\acute{\iota}\nu\delta\omicron\upsilon\varsigma$, отражающий форму, услышанную историком от информаторов-иранцев, которых было немало в припонтийских странах. Тогда как форма $\Sigma\acute{\iota}\nu\delta\omicron\upsilon\varsigma$, называемая также для Геродота либо в качестве основной, либо в качестве альтернативной, и формы $\Sigma\acute{\iota}\nu\delta\omicron\iota$, $\Sigma\acute{\iota}\nu\delta\omicron\acute{\iota}$, приводимые большим числом позднейших авторов (Скилак Карийский, Страбон, Николай Дамаскин, Дионисий, анонимный автор перипла Черного моря, Стефан Византийский, Никифор Блеммид, Полиен), равно как латинская форма *Sindi* (Присциан), *Sindones* (Помпониус Мела)⁹, восходят к особой неиранской форме, записанной или услышанной на месте. Тут и начинается упомянутый вечный спор, подогреваемый классическими филологами, которые, стремясь исправить текст, окончательно запутывали дело. Один вариант объявлялся при этом верным, остальные — неверными, мнения разделялись, в результате чего одни читают у Геродота $\acute{\iota}\nu\delta\omicron\upsilon\varsigma$, другие — $\Sigma\acute{\iota}\nu\delta\omicron\upsilon\varsigma$. Особенно трудным для науки оказался следующий глоссовый текст из древнего словаря Гесихия: $\Sigma\acute{\iota}\nu\delta\omicron\iota\cdot\acute{\epsilon}\theta\nu\omicron\varsigma\ \acute{\iota}\nu\delta\iota\kappa\acute{\omicron}\nu$ ¹⁰. Классическая филология и критика текста всячески улучшала это место, предлагая чтения $\Sigma\acute{\iota}\nu\delta\omicron\iota\cdot\acute{\epsilon}\theta\nu\omicron\varsigma\ \Sigma\acute{\iota}\nu\delta\iota\kappa\acute{\omicron}\nu$, т. е. «синды — синдское племя (!)» или $\Sigma\acute{\iota}\nu\delta\omicron\iota\cdot\acute{\epsilon}\theta\nu\omicron\varsigma\ \Sigma\acute{\iota}\nu\delta\iota\kappa\acute{\omicron}\nu$ «синды — скифское племя», хотя первое бессмысленно, второе маловероятно (см. выше о Скифии и Боспоре) и только чтение $\Sigma\acute{\iota}\nu\delta\omicron\iota\cdot\acute{\epsilon}\theta\nu\omicron\varsigma\ \acute{\iota}\nu\delta\iota\kappa\acute{\omicron}\nu$ кажется правильным и естественным по смыслу: «синды — индийское племя». Следует примириться с жизненностью обоих вариантов начала слова и в свою очередь отнестись критично к усилиям гиперкритиков, усматривавших везде описки, например утрату начальной сигмы ($\acute{\iota}\nu\delta\iota\kappa\acute{\omicron}\nu$, $\acute{\iota}\nu\delta\omicron\upsilon\varsigma$) под влиянием конечной сигмы предшествующего слова ($\tau\omicron\upsilon\varsigma$, $\acute{\epsilon}\theta\nu\omicron\varsigma$), хотя последовательность «описок» говорила, конечно, совсем о другом, а именно о стоявшем за ней предании, традиции. Эта частная, казалось бы, деталь заслуживала того, чтобы на ней остановиться, поскольку направление, указываемое ею, в конце концов должно привести к решению проблемы синдов и их языка. Во-первых, как уже сказано, за этими вариантами письма и глоссами стоит предание об индийской принадлежности синдов, которое мы сейчас меньше всего намерены подвергать сомнению; во-вторых, уже здесь содержится один из точнейших лингвистических критериев опознавания индоарийских, индийских языковых фактов — сохранное этимологическое индоевропейское *s*. Варьирование $\acute{\iota}\nu\delta\omicron\upsilon\varsigma$ — $\Sigma\acute{\iota}\nu\delta\omicron\upsilon\varsigma$, $\acute{\iota}\nu\delta\iota\kappa\acute{\omicron}\nu$ — $\Sigma\acute{\iota}\nu\delta\iota\kappa\acute{\omicron}\nu$ не должно быть камнем преткновения, как мы это обычно наблюдаем у филологов и лингвистов, решающих этот вопрос в ду-

⁹ См.: В. В. Л а т ы ш е в, Известия древних писателей греческих и латинских о Скифии и Кавказе, I — Греческие писатели, СПб., 1893, II — Латинские писатели, вып. 1, СПб., 1904; вып. 2, СПб., 1906; W. P a r e, G. V e n s e l e r, Wörterbuch der griechischen Eigennamen, II, Graz, 1959, стр. 1396: $\Sigma\acute{\iota}\nu\delta\omicron\iota$.

¹⁰ «Hesychii Alexandrini Lexicon» recensuit M. Schmidt, I—IV, Jenae, 1858—1862, s. v. $\Sigma\acute{\iota}\nu\delta\omicron\iota$.

хе предпочтения одной из форм, но должно свидетельствовать, скорее, о существовании иранско-неиранских контактов, функционировании, как сейчас говорят, формулы пересчета звукосоответствий одного языка на другой близкородственный. Точно такая же пара звукосоответствий независимо установилась на другой периферии, между Индией и Персией — др.-инд. *sindhu-* «река», особенно «река Инд» и др.-перс. *hiⁿdu-* «Индия», причем иран. *hind-*, как полагают, явилось заимствованием, иранизацией индийской формы¹¹.

Но вернемся к истории вопроса, которой еще предстояло проделать весьма тернистый путь. Особое место в ней занимает книга К. Риттера, написанная на самой заре сравнительно-исторического языкознания с наивно-романтическим отождествлением санскрита и праязыка, Индии и прародины. Для Риттера Индика и инды (как он упорно именует Синдику и синдов) — это одна из многих колоний древнеиндийских жрецов-буддистов, переселившихся в доисторические времена в поштийские и другие страны из Азии, Индии¹². Теория Риттера по понятным причинам была обречена на неуспех¹³, а впоследствии и вовсе позабыта, хотя не без ее воздействия в историко-археологической литературе XIX в. о Боспоре еще продолжали время от времени всплывать упоминания, что таманские синды — выходцы из области Синд, близ Бактрии¹⁴. Остается фактом, что именно географ К. Риттер одним из первых в научной литературе нового времени вновь поставил вопрос о связи синдов и Индии. Сейчас ясно, что Индия — конечная точка этого движения, а не наоборот, как думал Риттер. И если современная наука только еще «ставит вопрос, почему топоним *Синд* (в Северо-Западной Индии. — *О. Т.*) не засвидетельствован в текстах III и II тыс. до н. э.»¹⁵, то самое время ответить на него, что этот топоним принесли арии с Северного Кавказа и из Северного Причерноморья, где он уже сложился в различных функциях еще раньше, хотя письменность греков зафиксировала его в сравнительно позднее время — в V, от силы — в VI веке до н. э.¹⁶.

После неудачи Риттера прошло более столетия, и можно сказать без преувеличения, что за все это время не появилось ничего достойного упоминания о языке синдов¹⁷. Так продолжалось до тех пор, пока

¹¹ J. Wackernagel, A. Debrunner, *Altindische Grammatik*, II, 2, Göttingen, 1954, стр. 475.

¹² C. Ritter, *Die Vorhalle europäischer Völkergeschichten vor Herodotus um den Kaukasus und an den Gestaden des Pontus. Eine Abhandlung zur Altertumskunde*, Berlin, 1820. Материалы и отдельные конкретные идеи этой книги интересны и сейчас, например, сближение упоминавшегося нами *Ἀπάτωρος* с др.-инд. *avatar* или *avatur* «descensus» (стр. 58, 63). Мы бы предположили происхождение из индоар. **ap(a)-tur-* «преодолевающая вода». Храм Афродиты Апатуры на мысе Дубовый рынок стоял лицом к водам Ахтаназовского лимана, и богиня была видна издали с кораблей. Вспомним, что в Горгиппии (Анапе) почиталась Афродита-Навархиды, т. е. «судоначалница», покровительница моряков (И. Т. Кругликова, *Синдская гавань, Горгиппия, Анапа*, М., 1975, стр. 63).

¹³ K. Lath, *Commentaire sur la description des pays caucasiens de Strabon*, «Nouveau journal asiatique», I, Paris, 1828, стр. 299: «Догодка знаменитого немецкого географа, который полагал, что нашел в народности синдов индийскую колонию, кажется мне совершенно неприемлемой, и я думаю, что мой ученый друг ее давно оставил».

¹⁴ Ср.: А. Ашик, *Воспорское царство*, ч. 1, Одесса, 1848, стр. 5, 15; С. Ф. Мельников-Разведенков, *Воспор Киммерийский в эпоху Спартокидов*, «Сборник материалов для описания местностей и племен Кавказа», XXI, Тифлис, 1896, стр. 6.

¹⁵ J. H. P. N. S. M. A. N., *A periplus of Magan and Meluhha*, BSOAS, 36, 3, 1973, стр. 566.

¹⁶ В. Д. Блаватский, *Древнейшее свидетельство о Синдике*. «Исследования в честь на акад. Д. Дечев», София, 1958, стр. 703 и сл. (догеродотовское упоминание о *Σινδίων διάσφραξις* у Гиппоакта Эфесского, VI в. до н. э.).

¹⁷ Так, о «весьма смелом предположении» Шантра (E. Chantre, *Recherches anthropologiques dans le Caucase*, I, Paris, 1885, стр. 87—88) о том, что синды — цыгане,

П. Кречмер не выступил в самый разгар второй мировой войны с небольшой статьей «Индийцы на Кубани»¹⁸. Почва для этого была подготовлена ранее отчасти открытиями в области письменности и языков народов Передней Азии (из них упомянем лишь следы пребывания индоарийцев в государстве Митанни, Сев. Месопотамия, XIV в. до н. э.), отчасти — собственными разысканиями Кречмера о кавказском пути древних индийцев в Переднюю Азию. Опуская здесь археологическую аргументацию, привлеченную автором для доказательства того, что индийцы прошли дербентским проходом, приведем его лингвистические аргументы. Кречмер обратил внимание на то, что Геродот в известном месте (см. выше) различает скифов и синдов. Далее, автор приложил усилия, чтобы реабилитировать показания Гесихия Σίνδοι·ἔθνος Ἰνδικόν и геродотовское ἐς τοὺς Ἰνδοὺς, одновременно указав впервые на «подлинную, национально-индийскую форму» самоназвания индийцев, сохраненную как раз в имени племени Σίνδοι, близко соответствующем др.-инд. *sindhavas* мн. «речные жители», производному от преимущественно индийского *sīndhu*— «река вообще», «река Инд и примыкающая страна» (иранцы обозначают реку совершенно иначе). Река, в низовьях которой сидели синды, называлась в древности *Huranis*, в средние века *Cuphis*, Κούφις (вин. п., Никифор Григора), Κούφις (Кедрен); Кречмер сближает этот гидроним с древними формами названия реки Кабул, впадающей в Инд с запада, — Κούφις (Страбон XV, 697), Κούφην (Арриан и др.), а также др.-инд. *Kubhā*. Оставляя в стороне *Huranis* как скифскую форму, автор объединяет все остальные как отражения древнеиндийского названия Кубани, занесенного индийцами затем в Индию. Достаточно прозорливо он обратил внимание и на «второй» *Huranis* (визант. Κούφης), объяснив его тем, что «синды раньше сидели на Буге, который тогда прежде Кубани должен был носить название *Kubhā*» (стр. 40 статьи). Полезно и замечание Кречмера, что индийская принадлежность синдов не могла ускользнуть от близкородственных им соседей — иранцев-скифов. Таковы, как видим, очень немногочисленные, но и сегодня убедительные в наших глазах доказательства Кречмера, хотя мы не можем не отметить, что не упомянутый им Риттер за сто двадцать лет до него уже обратил внимание на индийскую природу синдов, на близость названий *Huranis* «Южный Буг» — *Huranis* «Кубань» и *Huranis*, *Huphasis* в Индии (Диодор Сицилийский XVII. 93). Больше того — Риттер обратил внимание на то, мимо чего прошли и Кречмер, и все остальные исследователи, — это древнее строительство искусственных каналов в так называемой Синдской Скифии (*Scythia Sindica*) — в низовьях Ю. Буга и к северу от Крыма, а также на нижней Кубани (по данным Плиния и Страбона)¹⁹, что предполагает давнюю оседлость и высокий уровень развития земледелия. Это указывает еще на одно вероятное серьезное отличие синдов от скифов и дает синдам характеристику, гораздо более выпуклую и отличную от той, которую дал им Кречмер, увидевший в них лишь индийских коневодов северопонтийских степей.

которые сами называют себя *sinte*, упомянуто в кн.: А. Лаппо-Данилевский, Древности кургана Карагодеуаш как материал для бытовой истории Прикубанского края в IV—III вв. до Р. Х., «Материалы по археологии России, изд. имп. Археол. комиссии», № 13, СПб., 1894, стр. 106, примеч. 6.

¹⁸ P. K r e t s c h m e r, Inder am Kuban, «Anzeiger [der] Akademie der Wissenschaften in Wien. Philosophisch-historische Klasse», 80. Jg., 1943 (1944), № I—XV, стр. 35—42.

¹⁹ С. R i t t e r, указ. соч., стр. 181, 187. О развитии строительства искусственных каналов в Индии см.: «Культура древней Индии», сост. и отв. ред. А. В. Герасимов, М., 1975, стр. 32.

Статья Кречмера явилась этапной, его выводы, например, полностью принял В. Бранденштейн²⁰, они получили некоторое, правда, очень беглое отражение у других авторов²¹, но гораздо более заметной оказалась как раз отрицательная реакция в последующей литературе. Один из ранних критиков теории Кречмера — норвежский иранист Г. Моргенштерне²² обратил внимание на то, что, если Σίνδοι = санскр. *Sindhavah* мн. (только в Махабхарате и поздних источниках), то это предполагало бы существование названия реки *Σίνδος «Кубань», чего классические источники не знают. Моргенштерне сомневается, далее, в исконном индоарийском происхождении др.-инд. *sindhu-*, что уже совсем напрасно. Для того чтобы уверовать в то, что разделение индоарийцев и иранцев состоялось в степях Южной России, норвежскому лингвисту явно не хватает здесь гор и других топографических преград (стр. 237), но с таким же правом можно утверждать, что именно степные просторы благоприятствовали разделению и рассеянию народов...

Число фактов оставалось прежним (их было мало и у Кречмера), а скептицизм с годами рос. Згуста в упомянутой выше книге 1955 г. (примеч. 1) называет теорию Кречмера «eine gewagte Hypothese». Значительную близость Σίνδοι — *Sindhavas* он уже готов признать случайным созвучием, потому что есть местные названия Σίνδα в Писидии и Σινδία в Ликии, но первое из них лучше оставить в стороне ввиду наличия вариантов Ίσινδα, Πισίνδα, Τσίνδα²³, а название Σινδία (город в Ликии), в конце концов, не такого свойства, чтобы поколебать приведенное выше тождество. Но настоящим гиперкритицизмом в адрес Кречмера проникнута статья В. Эйлерса и М. Майрхофера²⁴. Возведению гидронимов Κούφην, Κούφης, Κούφης «Кубань», Κούφης «Ю. Буг» к др.-инд. *Kubhā* они противопоставляют этимологию из ср.-иран. *kōfēn* «горный» (др.-иран. **kaujaina*). С равнинным Бугом эта этимология как-то не вяжется. Все, что Кречмер сказал об этнониме Σίνδοι, встречает неизменное сомнение обоих авторов: *Sindhavah* — «не старше эпоса», *sindhu-* — едва ли арийское (доказательства?), основу *sind-* можно встретить там, где индийцев никогда не было, — в Македонии, Писидии (про Писидию мы уже сказали выше, «созвучие» с македонскими синтами, синтиями не очень веско). Наконец, опираясь на глоссу Фотия Σίνδοι·Σινδίων γένος, Эйлерс и Майрхофер утверждают, что вся античная географическая традиция

²⁰ W. Brandenstein, Die alten Inder in Vorderasien und die Chronologie des Rigveda, «Frühgeschichte und Sprachwissenschaft», Wien, 1948, стр. 134 и сл.

²¹ E. Berzin, E. Grantovsky, Kinsmen of Indians on Black Sea shores, «Soviet land. An illustrated fortnightly magazine published by the Information department of the USSR Embassy in India», XV, 10, May, 1962, стр. 26—27. Авторы этой краткой популярной информации уместно вспомнили об обнаруженном в Тузле (античная Корокондама), на Таманском полуострове эпиграфическом женском имени Ίνδία, V в. до н. э. См. сведения о нем: Н. П. Сорокина, Тузлинский некрополь, М., 1957, стр. 16; «Корпус боспорских надписей», отв. ред. акад. В. В. Струве, М. — Л., 1965, стр. 641 (№ 1103). Обычно считается, что Ίνδία — это имя рабыни и вольноотпущенницы (при имени нет указания на отца или мужа), указывающее только на страну происхождения, ср. Λυκία, Αἰγυπτία. Но Ίνδία в стране синов — едва ли простая случайность.

В. Н. Топоров (О некоторых проблемах изучения древнеиндийской топонимии, «Топонимика Востока», М., 1962, стр. 63) пишет: «Задача сводится к обследованию широкой полосы от Причерноморья, где античные источники помещают „Синдику“, „индиев“, до территорий, непосредственно прилегающих к Индии с запада...». Пользуюсь случаем, чтобы выразить В. Н. Топорову свою живейшую благодарность за консультацию в области индологической литературы.

²² G. Morgenstierne, Indo-European *k* in Kafiri, NTS, XIII, 1945, стр. 235 и сл. Сведениями об этой статье я обязан любезности И. М. Оранского.

²³ W. Pape, G. Benseler, указ. словарь, II, стр. 1395.

²⁴ W. Eilers, M. Mauryhofer, Namenkundliche Zeugnisse der indischen Wanderung? Eine Nachprüfung, «Die Sprache», VI, 1960, стр. 107 и сл.

считала синдов скифами²⁵, а это в корне неверно, и ниже мы приводим мнения лучших знатоков античной истории и археологии синдов и вообще Боспора, которые безоговорочно доказывают противоположное. Мы согласны, пожалуй, вместе с Эйлерсом и Майрхофером вычеркнуть *Croucasim* «Кавказ» (Плиний) из числа индийских реликтов, куда его отнес Кречмер, потому что здесь, скорее, отражено др.-иран. (скиф.) **xrohu-* «лед»²⁶.

На этом спор, казалось, затих. Аргументы за и против были исчерпаны, новый фактический материал не поступал. В вопросе об этногенезе синдов, которым в последние десятилетия в советской литературе почти исключительно — и небезуспешно — занимаются археологи и историки, наметилась тенденция восполнить отсутствие четкой лингвистической концепции синдов автохтонистской теорией западнокавказского их происхождения: «синды — языковые предки адыгов». В пользу этой довольно популярной теории говорили как будто многие весьма здравые соображения. Вместо абстрактных скифов, фракийцев и еще более абстрактных, казалось бы, для Северного Причерноморья индоарийцев, исчезнувшее племя синдов ассоциировалось на этот раз с совершенно конкретными обитателями практически этих же и соседних с ними мест — кабардинцами и адыгейцами. Однако не нужно упускать из виду, что ученые, разделявшие мнение об адыгском, западнокавказском происхождении синдов, в сущности не ставили задачу систематической специальной проверки в этом плане всего лингвистического материала (а таковым следует, в первую очередь, считать всю древнюю ономастику, все доступные эпиграфические остатки с территории исторической Синдикки и примыкающих земель прочих меотских племен; о том и о другом — ниже). Авторы работ о древностях Тамани, Приазовья и Прикубанья, будучи в основном историками и археологами²⁷, не шли в упомянутом вопросе дальше общих утверждений. Мы не ставим под сомнение автохтонность западнокавказских народов. Но автохтонные народы тоже не были чужды известных передвижений и изменений своих этнических границ. В средние века и новое время адыги определенно обитали также на морском побережье, в том числе — на Таманском полуострове. Но еще Клапрот здраво заметил, что в языке черкесов нет даже слова, обозначающего остров²⁸, а это было бы противоестественно для древнего местного населения Таманского полуострова, который вместе с дельтой Кубани в древности представлял не один, а несколько островов — целую «полинезию»²⁹.

Путешественники прошлого застали у причерноморских черкесов предания, что здешние курганные могильники и монументы вроде доль-

²⁵ Там же, стр. 115.

²⁶ Там же, стр. 116.

²⁷ См.: Е. И. Круной, Древняя история Северного Кавказа, М., 1960, стр. 395, 397; Н. В. Аяфимов, Племена Прикубанья в сарматское время, СА, XXVIII, 1958, стр. 62; его же, Меоты и их взаимоотношения с Боспором в эпоху Спартокидов, «Античное общество. Труды конференции по изучению проблем античности», М., 1967, стр. 127 и сл.; Ю. С. Крушкoл, К вопросу об этногенезе синдов, «Античное общество», стр. 158 и сл.; е е же, Древняя Сиддика, М., 1971, стр. 43, 231; Л. И. Лавров, О происхождении народов северо-западного Кавказа, «Сборник статей по истории Кабарды», III, Нальчик, 1954, стр. 193 и сл.

²⁸ J. v. Klapproth, Reise in den Kaukasus und nach Georgien unternommen in den Jahren 1807 und 1808, I, Halle — Berlin, 1812, стр. 557, примеч. Факт отсутствия лексемы «остров» в адыгских языках подтверждает и А. К. Шагиров (устная консультация).

²⁹ См.: К. Гёрц, Археологическая топография Таманского полуострова, М., 1870, стр. 5.

менов принадлежат народу, проживавшему до них в этих краях³⁰. Нашу мысль можно лучше всего выразить, прибегнув к словам Ю. Клапрота в его уже цитированном комментарии к Страбону: «Племена меотов, населявшие во времена Страбона эту часть побережья Черного моря, исчезли, уступив место племенам черкесского и абхазского происхождения»³¹. Сейчас уже трудно сказать, кому первому пришла в голову повторяемая всеми старая мысль, что античные керкеты и черкесы — это одно и то же название «в несколько измененном виде»³². Но *Κερκίται* (Скилак Карпандский, Страбон) — не что иное, как другое название меотского племени торетов, так сказать, греческий эпитет этих последних, от греч. *κερκέτης* «особый руль, кормовое весло». Еще в лексиконе Фотия на сей счет ясно сказано: *Κερκίται: ἔθνος Ἰνδικόν, ὃ χρῆται μακρῶι τηδαλίωι ἢ καλεῖται κερκέτης*³³ «керкиты — индийское племя, которое пользуется длинным кормовым веслом, называемым *κερκέτης*». К слову сказать, *κερκέτης* — нормальный греческий апеллатив, производный с *-t*-суффиксальным от глагольно-именного корня *κερκ-/κρεκ-*, известного в ремесленной терминологии. Ничего адыгского здесь нет, и обозначение *Κερκίται Τορέται* (Dionys. Perieg. 682) можно толковать как «тореты с длинными рулями». Об этнониме *Τορέται* (также *Τορεῖται*, *Τορίται*, у тех же авторов, ср. еще *Toryni* — C. Valerius Flaccus. Argon. 144) можно высказать предположение, что это суффиксальное производное от индоевропейской основы, родственной др.-инд. (Атхарваведа, *ἄπ. λζγ.*) *tāra* «берег». В ином суффиксальном оформлении эта же основа представлена в названии близлежащего города и порта *Τορίκς* (Scyl. Caryand. 74), что мы прочли бы как прилагательное «береговой». Ср. еще др.-инд. *tāra* м. р. «переправа», *tarika* м. р. «паром, лодка» (M. Monier-Williams, A Sanskrit-English dictionary, Oxford, 1964, стр. 438, 439; D. C. Sircar, Indian epigraphical glossary, Delhi, Varanasi, Patna, 1966, стр. 338). Такое обозначение как нельзя лучше подходило местной ветви меотов, называвшейся «понтийским племенем» (*Τορέται, ἔθνος Ποντικόν*, Steph. Byz. 280) и слывшей «весьма мореходными» (*ναυτικόν μάλιστα*, Anon. Per. р. Eux. 65(24)). Индоевропейский вид этих названий и способ сочетания их морфем заставляют нас быть осторожными в отношении попытки дать название торетов адыгскую этимологию, а тем более связывать их на этой почве с таврами³⁴. Адыгская этимология Л. Лопатинского — *Μαιγίτις, Μαιώτις* «Азовское море» из адыг. *mei* «вонь», *jam'e* «болото, тина, лужа»³⁵ — оставлена наукой³⁶. Весьма популярна аналогичная этимология точно не локализованного названия реки *Ψάτης* и, видимо, производного от него названия меотского племени *Ψηροί*, ср. адыгейское и кабардинское *псы* «вода», а также название Кубани у адыгских народов —

³⁰ Ж.-В.-Э. Тебу де Мариньи, Путешествие в Черкесию в 1818 г., «Адыги, балкарцы и карачаевцы в известиях европейских авторов XIII—XIX вв.», сост. В. К. Гарданов, Нальчик, 1974, стр. 312—313, 318.

³¹ K l a p r o t h, Commentaire sur la description des pays caucasiens de Strabon, стр. 302.

³² Л. И. Лавров, указ. соч., стр. 195.

³³ Photii lexicon e codice galeano descripsit R. Porsonus, Pars prior, Lipsiae, 1823, стр. 136 (157, 9).

³⁴ См. Л. И. Лавров, указ. соч., стр. 197. После работы И. Толстого «Остров Белый и Таврика на Евксинском Понте» (Пг., 1918), показывающей возможность вторичного переноса названий *Ταυρικη*, *Ταυρος* с Лемноса и его обитателей на Крым и чисто греческую мифологическую природу этого акта, маловероятно, чтобы *Ταυρος* было с а м о н а з в а н и е м туземцев Крыма.

³⁵ Л. Лопатинский, Заметки, «Сборник материалов для описания местностей и племен Кавказа», XXI, Тифлис, 1896, стр. 77.

³⁶ M. V a s m e r, Untersuchungen über die ältesten Wohnsitze..., стр. 166. По устному указанию А. К. Шагирова, адыгское словообразование требовало бы здесь прямо противоположного порядка компонентов.

Псыжь, букв. «старая река»³⁷, но и здесь можно допускать индоевропейские, доадыгские истоки, особенно ввиду сложных отношений к паре $\Theta\acute{\alpha}\tau\eta\varsigma$, название реки, $\Theta\alpha\tau\epsilon\iota\varsigma$, название племени в азиатском Боспоре. Некоторые авторы цитируют рядом $\Psi\eta\sigma\iota\omicron\iota$, $\epsilon\iota\tau\alpha$ $\Theta\alpha\iota\mu\epsilon\omega\tau\alpha\iota$ (Ptol. V, 8, 17—25, конъектура Бёка: $\Theta\alpha\tau(\epsilon\iota\varsigma)$ Ματῶται «фатей-меоты»). Догадка Клапрота относительно тождества рек $\Psi\acute{\alpha}\tau\eta\varsigma$, $\Psi\acute{\alpha}\theta\iota\omicron\varsigma$ (у Клапрота — *Psathus*) и *Кумлы-Кубань* (тюрк.) «п е с ч а н а я Кубань»³⁸ — по Клапроту, северный рукав Кубани — позволяет выдвинуть предположение об отражении здесь старого апеллатива со значением «песок» — **psat-* < и.е. **bhsmt-*, ср. греч. (гомер.) $\psi\acute{\alpha}\mu\alpha\theta\omicron\varsigma$ «песок» и родственные. Трудную пару $\Psi\acute{\alpha}\tau\eta\varsigma$ — $\Theta\acute{\alpha}\tau\eta\varsigma$ кажется возможным объяснить, лишь допустив вторичную иранизацию **psat-* > **phat-* > *That-*; об иранизации фатеев может свидетельствовать тот, правда, единичный факт, что в междоусобной войне Эвмела, Сатира и Пританиса принимал участие царь фатеев с иранским именем Ἀρτιφάρνης (Diod. Sic. Bibl. XX, 22).

Дальше на юг и ближе к Кавказским горам следы контактов боспорских и прочих греков с немеотскими и, возможно, древнеадыгскими местными племенами вполне реальны. Вспомним местность $\tau\eta\iota$ $\delta\upsilon\omicron\mu\alpha\zeta\omicron\mu\epsilon\lambda\eta\upsilon\eta$ $\Psi\acute{\alpha}\alpha$ (Diod. Sic. XX, 25), вызывавшую сильные сомнения В. В. Латышева³⁹, по-видимому, отдаленный район, поскольку речь в тексте идет о предоставлении его переселенцам. Развеять в какой-то мере сомнения помогает наличие реки *Псоу* (адыгско-абхазское) «длинная река», впадающей в Черное море у самой границы Абхазии⁴⁰. Адыгское *ЦГэмэз* «Новороссийск», откуда *Цемесская бухта* (*ЦГэ* «вошь», *мэз* «лес»)⁴¹, как-то отражено в причерноморском этнониме-прозвище $\Phi\epsilon\delta\epsilon\iota\rho\phi\acute{\alpha}\gamma\omicron\iota$ «вшееды»⁴².

Поскольку далее у нас излагается попытка реконструкции ряда лексем древнего языка местного населения азиатского Боспора, может оказаться полезной небольшая предварительная сводка синонимичных адыгских лексем. Речь идет о немногочисленной фондовой лексике, обозначающей самые элементарные и основные понятия: «мать» — кабардинское *анэ*, адыгейское *ны*, «старый» — каб., адыг. *жъы*, «море» — каб., адыг. *хы*, «женщина» — каб. *фыз*, адыг. *шъуыз*, «девушка» — каб., адыг. *хъыджэбз*, «дева» — каб., адыг. *пичъашъэ*, «хороший» — каб. *флы*, адыг. *шълуы*, также *дэгъуз/дэгъу*, «селение» — каб. *кълуажэ*, адыг. *къуадж*, «один» — каб., адыг. *зы*, «вода» — каб., адыг. *псы*, «берег» — каб. *ныджэ*, адыг. *ныджы*, «умереть» — каб., адыг. *лэн*, «черный» — каб. *флыцгэ*, адыг. *шълуыцгэ*, «темный» — каб. *чыфл*, адыг. *шълуынчл*⁴³. Не говоря уже о словообразовании и структуре доступного нам туземного лингвистического (главным образом ономастического) материала азиатского Бос-

³⁷ Л. Л о п а т и н с к и й, указ. соч., стр. 77—78; Л. И. Л а в р о в, указ. соч., стр. 194; Дж. Н. К о к о в, Кабардинские географические названия, Нальчик, 1966, стр. 10.

³⁸ K l a r p r o t h, Commentaire. . ., стр. 62.

³⁹ В. В. Л а т ы ш е в, ПОНТИКА, «Изборник научных и критических статей по истории, археологии, географии и эпиграфике Скифии, Кавказа и греческих колоний на побережьях Черного моря», СПб., 1909, стр. 171 и сл.

⁴⁰ Дж. Н. К о к о в, указ. соч., стр. 13, 145. Сближение $\Psi\acute{\alpha}\alpha$: *Псоу* см. еще: О. Н. Т р у б а ч е в, Некоторые данные индоевропейского и славянского языкознания об этногенетических импульсах Северного Кавказа (в печати).

⁴¹ Дж. Н. К о к о в, указ. соч., стр. 152.

⁴² Маловероятно о последних см.: В. Ф. Б е л я е в, К вопросу о толковании этнической принадлежности древнегреческого этнонима $\Phi\epsilon\delta\epsilon\iota\rho\phi\acute{\alpha}\gamma\omicron\iota$, ВДИ, 1964, 3, стр. 130 и сл. (с литер.).

⁴³ Сведения почерпнуты из книг: А. К. Ш а г и р о в, Очерки по сравнительной лексикологии адыгских языков, Нальчик, 1962; е г о ж е, Этимологический словарь адыгских (черкесских) языков, I (А — Л) (в печати); пользуюсь случаем, чтобы поблагодарить автора, предоставившего мне возможность ознакомиться с работой в рукописи).

пора, индоевропейского по характеру, следует отметить, что способы лексического воплощения одних и тех же семем («мать», «море», «женщина», «хороший», «темный», «черный» ...), насколько мы можем судить об этом с помощью этимологической реконструкции, принципиально отличны в реконструируемой туземной лексике азиатского Боспора от лексики адыгских языков.

Итак, синды... Кто же они? — «К меотам принадлежат сами синды и дандарии, и торматы, и агры, и аррехи, а также тарпеты, обидиакены, ситтакены, доски и многие другие...» (Strab. Geogr. XI, 2). Страбон первый указал на принадлежность синдов к меотам, большой совокупности племен, родственных, очевидно, по языку. Однако его достаточно длинный перечень заведомо не полон; один важный пробел легко восполняется из других авторов, указывающих на принадлежность к меотам также племени язаматов [Μαιωτῶν γένος Ἰαζαματῶν, Anon. (Scymn. Ch.) Perieg. 878], или яксаматов (Ἰαξαμάται ἔθνος, Ptol. Geogr. V, 8), иксоматов (Ἰεομάτας, Polyæn. Strateg. VIII, 55). Эти яксаматы были самым северным из крупных меотских племен и граничили, видимо, по Дону с иранцами-сарматами. Показания отдельных авторов существенно отличаются, нуждаются в специальном изучении и комментариях. Например, ср. Pomr. Mela I, 114: «Изгибающийся берег от Босфора до Танаиса населяют меоты (Maotici), фаты (Thatae), сирахи, фикоры (? Phicoges) и близкие к устью реки иксаматы». Мела, как видим, включил в перечень меотов также племя сираков, живших немного к югу от устьев Дона; это скорее подтверждается некоторыми нашими наблюдениями, хотя вообще сираки нередко трактуются как близкие сарматам. Плиний упоминает меотов вместе с многими другими племенами, названия которых у него даны подчас в весьма темной форме, что не умаляет, однако, уникальности свидетельств именно этого автора. Племена Приазовья и Северного Кавказа у Плиния — большая самостоятельная проблема, о которой мы не можем здесь говорить подробно. Достаточно сказать, что, кажется, ему одному принадлежит ценнейшее указание, что меоты жили также по северному берегу Азовского моря: «От Буцеса (северо-западная часть Азовского моря. — О. Т.) выше Меотиды — савроматы и эседоны, а по берегу до самого Танаиса — меоты, от которых получило имя озеро» (Plin. Nat. hist. IV, 88). Любопытное беглое свидетельство Евстафия, а также Стефана Византийского о том, что Таврический полуостров назывался также и Меотским (νῆρος ἢ Ταυρικῆ ἢ καὶ Μαιωτικῆ)⁴⁴, как бы приоткрывает тайну первоначальных связей и их масштабов. Ясно, что Киммерийский Боспор (Керченский пролив) никогда не был серьезной преградой и этническим рубежом, ср. и тот факт, что единый политический организм — Боспорское царство — в течение почти тысячелетия охватывало оба берега пролива. То же следует утверждать об основном населении царства — меотах. Они были тесно связаны с Меотийским озером, предметом их особого культа «матери», согласно известию Максима Тирского⁴⁵, а также — не в последнюю очередь — согласно этимологии имени меотов — Μαίηται, Μαιωται, (эпигр.) Μαίται — грецизированного (но не греческого, как иногда думают) производного типа *maî-at-, *maî-it- с приблизительным значением «материнский». В этом отразился, надо полагать, местный вариант культа богини-матери, а главенствующая роль женского начала была вообще характерна для местных племен с их «женовладеемой» общественной организацией и прежде всего — для придонских яксаматов⁴⁶,

⁴⁴ Цит. по кн.: C. Ritter, указ. соч., стр. 208—209.

⁴⁵ См.: В. В. Латышев, Известия древних писателей. . . , I, стр. 591.

⁴⁶ М. И. Ростовцев, Скифия и Боспор. Критическое обозрение памятников литературных и археологических, Л., 1925, стр. 110.

из среды которых вышла воительница Тиргатао. Кстати, Дон-Танаис также назывался *Μαίτηης* (Herod. IV, 45). Со стороны реальной, физико-географической, здесь нашло отражение то знание, которое объединяет древних с современными географами (и не всегда принимается в расчет современными историками), что Азовское море — как бы расширенный лиман Дона, а Боспор — донское устье, самая выдающаяся функция которого — питать избытком пресных вод Черное море. Поэтому можно позволить себе, в согласии с данными, реконструкцию фрагмента мировоззрения: вопреки мнению отдельных лингвистов (выше), главной Рекой для меотов, их **Σίνδος* 'ом никогда не была Кубань, это был Дон (подтверждения также далее). Со стороны идеологической, здесь нашел отражение упомянутый культ обожествляемой матери, одним из воплощений которой были воды Дона-Танаиса и Меотиды. Традиция определять *Μαίτηης* «Азовское море» как *μήτηρ τοῦ Πόντου* «мать Понта» (Herod. IV, 86), проходящая через всю античность, как и древняя этимология *Μαῖωτις*: *μαῖα* «мать-кормилица» (Eustath. Comment. ad Dionys. Perieg. 163), которую мы лишь несколько аранжировали выше, заслуживает доверия. Греч. *μαῖα* — своего рода этимологический ориентир, а не источник: и.-е. **māiā* представлено шире, ср. индийское *Maha-Mai* «Magna Mater», у буддистов Непала, приводимое Риттером (стр. 58 книги) в связи с *Μαίτηης*.

Эпиграфические свидетельства дополняют сведения из авторов, кратко названные выше, ср. устойчивые перечисления в титулатуре боспорских царей: ... *βασιλεύοντος Σίνδων, Τορσέων, Δαυδαρίων, Ψησῶν*⁴⁷; ... *βασιλεύοντος Σίνδων καὶ Μαίτων πάντων* «царя синдов и всех маитов»⁴⁸; ... *βασιλεύοντος Σίνδων, Μαίτων, [Θ]ατέων, Δόσχων*⁴⁹. Синды — часть меотов, и поиски следов языка синдов суть одновременно поиски языковых остатков этих последних. В литературе уже высказывалась мысль о близости всех меотов между собой и о едином языке у них⁵⁰. Косвенным отражением сознания самими меотами этой взаимной близости может служить допускаемое учеными существование у меотов племенного союза, не идентичного политическим рамкам собственно Боспорского царства⁵¹. Правда, ученые так заключают больше по типологическим вероятностям, хотя могут быть предложены для обсуждения и языковые свидетельства об этом. Например, у Лукиана (II в. н. э.) упоминаются неподалеку от Меотиды *Μιτραίων ὄρη* (Luc. Sam. Tox. 52), которые можно при поддержке др.-инд. *mitra* «друг»⁵² и соответственного производного прилагательного **mitraya-* «дружественный, союзнический» прочесть как «горы Союзников». Хотя Лукиана и осуждали за подражательность⁵³, против вымышленного характера *Μιτραίων ὄρη* говорит, как кажется, и такое, на первый взгляд, странное название, как *ἡ Μιθριδάτου χώρα* «страна Митридата (?)» (Ptol. V, 8, 17—25), очень конкретно локализуемое по соседству с сираками. Наверное, это порча первоначального **Μιτραίων χώρα* «страна союзников».

⁴⁷ «Корпус боспорских надписей», стр. 18 (№ 6).

⁴⁸ Там же, стр. 552 (№ 971).

⁴⁹ Там же, стр. 553 (№ 972).

⁵⁰ В. В. Л а т ы ш е в, ПОНТИКА, стр. 64.

⁵¹ М. И. А р т а м о н о в, К вопросу о происхождении боспорских Спартокидов, ВДИ, 1949, 1, стр. 37; Н. В. А н ф и м о в, Племена Прикубанья в сарматское время, СА, XXVIII, 1958, стр. 68; Т. В. Б л а в а т с к а я, Очерки политической истории Боспора в V—IV вв. до н. э., М., 1959, стр. 90.

⁵² «Значение „друг“ (санскр. *mitra*) не засвидетельствовано в авестийском и древнеперсидском» (F. J u s t i, Iranisches Namenbuch, Marburg, 1895, стр. 503).

⁵³ Т. В. Б л а в а т с к а я предлагает «безоговорочно исключить Лукиана из числа источников по истории Боспора» (указ. соч., стр. 146).

Некоторым исследователям представляется, что во главе меотского племенного союза стояли синдды⁵⁴, что само по себе имеет чисто умозрительные основания. Удовлетворимся поэтому констатацией известного факта, что синдды были более развиты экономически и культурно, только у них существовало в настоящем смысле слова государство⁵⁵, связанное иногда кровными узами с другими меотскими племенами, например с якаматами, иногда враждовавшее с ними⁵⁶, хотя источники упоминают также «царей» фатеев, сираков.

Локализация меотских племен на географической карте — задача трудная, и ее решают по-разному. Достаточно сличить карты племен Восточного Приазовья у В. В. Латышева⁵⁷ и В. П. Шилова⁵⁸. Единственное, что объединяет этих авторов и кажется вообще бесспорным, это местоположение синддов в южной части Таманского полуострова (так называемый Синдский остров); более или менее одинаково — от Анапы до Новороссийска — помещаются керкеты-тореты, что теперь находит поддержку в этимологии их названия. Дандарии, вероятно всего, жили в дельте Кубани, в плавнях, что, по-моему, разительно явствует из новой этимологии их этнонима, приводимой нами в конце работы (в этих плавнях их и помещают, с некоторыми отличиями, оба археолога). Что касается локализации досхов, тарпетов, фатеев, псессов, она совершенно произвольна; стоит лишь отметить, что фатен и псессы, хотя и помещаемые Латышевым и Шиловым в абсолютно разных местах, всякий раз молчаливо трактуются как соседние (ср. о них выше). В общем здесь еще много работы для критики. По неизвестным мотивам Шилов опускает якаматов, не говоря о сираках. Впрочем и на более содержательной карте Латышева мы не найдем страбоновских ситтакенов, обидиакенов, агронов.

Отношения меотов и скифов, Боспора и Скифии давно и надежно определяются наукой как противостояние. Во-первых, имеется в виду самое прямое противостояние — демографическое: скифов практически не было в азиатской части Боспора, первоначально они не преобладали и в европейском Боспоре⁵⁹. Сарматизация азиатского Боспора — вторичный процесс. Во-вторых, меотов и их соседей разделяет противостояние культурно-бытовых укладов. Меоты — земледельцы, о чем согласно говорят и древние писатели, и современные археологи. «На всем этом побережье живут меоты, земледельцы, но не менее воинственные, чем кочевники» (Strab. Geogr. XI, 2). Меотами была обжита сравнительно неширокая полоса вдоль Азовского моря, дальше к востоку жили кочевники. Оседлость меотов ярко характеризовалась, например, интенсивным разведением свиней. О строительстве искусственных каналов мы уже упомянули выше. «Рассказывают, что Фарнак некогда обратил и Гипанис против дандариев через какой-то старый канал, очистив его, и затопил страну» (Strab. XI.2). Оседлость означала и большую густоту заселения и некото-

⁵⁴ М. И. Артамонов, указ. соч., стр. 37; В. П. Шолов, О расселении меотских племен, СА, XIV, 1950, стр. 102. Н. В. Афанасьев (указ. соч.) говорит о главенстве сираков.

⁵⁵ В. И. Мошинская. О государстве синддов, ВДИ, 1946, 3, стр. 203 и сл.

⁵⁶ Ср.: P o l u a e n, Strateg. VIII, 55 (новелла о меотянке Тиргатао, жене синдского царя, вышедшей из царского рода иксоматов).

⁵⁷ В. Л а т y с h e v, Inscriptiones orae septentrionalis Ponti Euxini graecae et latinae, II, Petropoli, MDCCCXC, карта 2.

⁵⁸ В. П. Шолов, указ. соч., стр. 122, рис. 2.

⁵⁹ С. А. Жебелев, Северное Причерноморье, М.—Л., 1953, стр. 103, 160; В. Ф. Гайдучевич, Боспорское царство, М.—Л., 1949, стр. 35, 57; В. Д. Блаватский, Киммерийский вопрос и Пантикапей, «Вестник МГУ», 1948, 8, стр. 13; Т. В. Блаватская, указ. соч., стр. 35, примеч. 112; Н. И. Соколовский, Синдская скульптура, «Античное общество. Труды конференции по изучению проблем античности». М., 1967, стр. 203.

рую гарантию сохранения и выявления следов этноса, к чему мы еще вернемся при обсуждении преемственности. Полное исчезновение иранского элемента к востоку от Приазовья и нижней Кубани давно поставлено в связь с редкостью заселения и именно кочевым характером иранцев-сарматов. Дифференциально могут быть выделены некоторые особенности материальной культуры, например, употребление при погребениях подстилки из травы камки *Zostera maritima*, характерное во всем Северном Причерноморье только для Приазовья от Тамани до Танаиса. Следует упомянуть также мнение об этнокультурном родстве тавров Крыма и древних жителей Восточного Приазовья и Прикубанья. Скифы как постоянный компонент при этом решительно исключаются⁶⁰.

Нелегкая проблема источников изучения остатков языка синдов и меотов может быть охарактеризована следующим образом. Письменность синдов и меотов до нас не дошла, по-видимому, у них и не было своей письменности (примитивные знаки на глиняных табличках или тамгообразные знаки боспорских царей не имеют сюда отношения). К тому времени, когда у синдов отмечается наличие государства (V в. до н. э.), уже начинается эллинизация: все сферы жизни обслуживает греческое письмо. Таким образом, синдских и меотских письменных текстов нет. Не сохранилось даже ни одной номинальной синдской глоссы, т. е. такой, где бы слово, цитируемое как синдское (или меотское), сопровождалось переводом на другой язык. Это, казалось бы, безнадежное положение, однако, отнюдь не означает невозможности рассуждений на тему «синдский язык» и вовсе не уполномочивает нас к признанию реконструкции синдских языковых остатков неосуществимой. К настоящему времени наука имеет определенное представление о целом ряде древних языков, засвидетельствованных почти исключительно ономастикой. Таковы фракийский, иллирийский, мессапский языки. Таков скифский язык. Связных текстов на этих языках практически нет, однако никто не станет отрицать их реального самобытного существования. Положение с синдским языком очень напоминает положение с этими языками с той разницей, что проблема синдского языка еще труднее. Трудности лишь усугубляет необходимость подходить к реконструируемому древнему языку как языку живому с неизбежно сложным составом.

Скифские глоссы известны в некотором количестве. Эти номинальные скифские (т. е. названные скифскими) глоссы оказываются нередко псевдоскифскими, когда они противоречат тому, что достоверно известно о скифском языке как иранском. Такая расширительная античная трактовка — в духе уже упоминавшейся «скифской» литературной традиции и идеализации древними всего скифского. Начнем с глоссы $\mu\acute{\epsilon}\sigma\pi\lambda\eta\acute{\eta}$ $\sigma\epsilon\lambda\acute{\eta}\nu\eta$ $\pi\alpha\rho\acute{\alpha}$ $\Sigma\acute{\omega}\delta\alpha\iota\varsigma$ (Hes.). В слове $\mu\acute{\epsilon}\sigma\pi\lambda\eta$, которое явно членится на две части, можно правдоподобно выделить отражение и.-е. **mēs-* «луна, месяц», которое в иранском нормально рефлексировало в форме *mah-*. Ясно, что $\mu\acute{\epsilon}\sigma\pi\lambda\eta$ — не скифское название луны. Чье именно — сказать трудно (фракийский, армянский рефлексы этого индоевропейского слова имели бы свои отличия). Для более полного объяснения $\mu\acute{\epsilon}\sigma\pi\lambda\eta$ подошла бы индоарийская конструкция **mās-* «месяц» + *prā-*, ср. др.-инд. *prāta-*, прич. прош. страд. «наполненный», откуда $\mu\acute{\epsilon}\sigma\pi\lambda\eta$ — «полная луна». Разумеется, такие этимологии (особенно без четкой локализации) сохраняют значение пробных зондов, вызывая подчас новые проблемы (сохранение *e* и *l* нуждается в комментарии на арийском фоне). Не обходится

⁶⁰ В. М и л л е р, Осетинские этюды, ч. III, М., 1887, стр. 97; Н. А н ф и м о в, Древние поселения Прикубанья, Краснодар, 1953, стр. 9, 25—26; Д. Б. Ш е л о в, Танаис и нижний Дон в первые века нашей эры, М., 1972, стр. 235; Б. Н. Г р а к о в, Скифы, М., 1971, стр. 78, 79, 110, 113, 114, 119.

здесь также и без ошибочных записей. Не более скифским оказывается слово *sacrium*, находимое у Плиния (Nat. hist. XXXVII, 40) в значении «скифское название янтаря» и осторожно сближаемое с др.-инд. *śarkarā* «мелкие камешки, галька»⁶¹.

К числу псевдоскифских глосс Плиния мы относим ключевое для нашей проблемы место: *Tanaim ipsum Scythae Sinum vocant, Maeotim Temarundam, quo significant matrem maris* «сам Танаис скифы называют *Sinu-*, (а) Меотиду — *Temarunda*, что (на их языке) означает „мать моря“» (Nat. hist. VI, 20). Загадочное *Temarunda* «Азовское море» получает при этом объяснение как сложение, целая именная фраза **tem-arun-dā* «кормилица Черного моря» (*mater maris*). Последний компонент восходит к и.-е. **dhē-* «кормить (грудью)», решающим же для этнолингвистической атрибуции всей конструкции является то, как названо Черное море. Скифы называли Черное море **axšaina-zraya-*⁶², фракийцы скорее всего — **kirs-mar-*, хетты, возможно, — просто *aruna-* «море» («черный, темный» по-хеттски — *dankui-*). Обозначение Черного моря с помощью словосложения **tem-arun-* могло принадлежать только индоарийцам, ср. др.-инд. *tāmas* ср. р. «темнота, мрак», *ārṇa-* «пучина» (в *-arun-* представлена еще не синкопированная форма). Эти «скифы» оказываются приазовскими синдомеотами, на что, кроме близости Азовского моря, указывает плиниевское (там же) *Tanaim... Sinum vocant*. Те же самые «скифы» называли Танаис *Sinu-*, в котором мы видим легкое искажение первоначального синдомеот. **Sindu-*, идентичного др.-инд. *sīndhu-* «река», а также самоназванию племени *Σίνδοι*, о котором уже была речь выше⁶³. Изменению формы **Sindu-* > **Sinu-* при записи Плинием могло способствовать сходство с лат. *sinus* «залив»⁶⁴. Эта этимология как бы подкрепляет сказанное выше, что для синдомеотов Рекой по преимуществу, их Синдом был Дон, а не Кубань. Отголоском такого названия Дона вплоть до относительно поздних времен можно считать обозначение *Синья Вода* (1363 г.)⁶⁵.

Главный лингвистический итог, который можно извлечь из этих немногих пока фактов, — это то, что по крайней мере часть материала, попадающего в рубрику «нескифское в скифском», обнаруживает индоарийские особенности. Из них важнейшая, с фонетической точки зрения, — сохранение и.-е. *s* этимологического (**sindu-*, **mes-?*, см. также далее). Паличие индоарийских особенностей очевидно и с изоглосно-лексической стороны (соответствие др.-инд. *ārṇa-*, *sīndhu-*, *śarkarā*, при отсутствии иранских параллелей). Но для широких обобщений мало единичных, пусть даже точных идентификаций, нужны ряды соответствий. Скудость источников является, как мы считаем, главной причиной того, что эти ряды выстраиваются с трудом. Поиски необходимо продолжать, зондируя возможные другие пласты «нескифского в скифском», например, имена скифских богов. То, что из этих имен, переданных Геродотом, по крайней мере часть не этимологизируется как иранские (назовем *Ἄπολλωνος* «Аполлон», *Ταξίτι*, богиня домашнего очага), несмотря на попытки, было ясно многим языковедам (Миллер, Траймер, Белецкий).

⁶¹ M. V a s m e r, Untersuchungen über die ältesten Wohnsitze..., «Schriften zur slavischen Altertumskunde und Namenkunde», I, стр. 148.

⁶² M. V a s m e r, Osteuropäische Ortsnamen: 1. Das Schwarze Meer, «Acta et commentationes Universitatis Dorpatensis», Serie 1, I, 3, 1921, стр. 3 и сл.

⁶³ Подробно см.: О. Н. Т р у б а ч е в, Temarundam «matrem maris». К вопросу о языке индоевропейского населения Приазовья, стр. 38 и сл.

⁶⁴ Курьево, что др.-инд. *Sīndhu* было записано тоже в форме *Sin* китайским паломником Сюан Цзяном (B. C. L a w, Tribes in Ancient India, Poona, 1943, стр. 13).

⁶⁵ Идентификацию *Синья Вода* = Дон см.: Ф. К. Б р у н, «Труды I археологического съезда в Москве. 1869», II, М., 1871, стр. 394—395.

Как видно, псевдоскифские глоссы, продолжая оставаться интересным объектом нашего исследования, в количественном отношении не могут сами по себе быть основным источником предпринимаемой реконструкции синдомеотских языковых реликтов. Основной источник — ономастика исторического Боспорского царства и смежных областей, доступная нам в античной литературе, с подключением данных, сохранных более поздней литературой; сюда примыкает ономастика, дошедшая до нас в эпиграфике (всякого рода надписях) боспорских территорий. Например, местные, племенные названия и личные собственные имена (без особой спецификации и без упоминания уже называвшихся выше) из греческих авторов: Πάτους, Τυράμβη, Ἀντικείτης, Κοροκονδάμη, Ἀβοράκη, Βάτα = Πάτους «Новороссийск», Μερμάδαλις, Μερμόδας, Ἀβέακος, царь сираков, Ἀττικίτης = Ἀντικείτης, рукав Кубани, Σίλις, одно из названий Дона, Πάγρα(ι), Πανιάρδις, Μαράβιος, Ἀζαρα, Μάπητα, Ταζός, Ἐξέπολις, Σέρβοι, Σαναραῖοι, Κοναφηνοί, Μέταιβοι, Σουαρνοί, Ἀζάραβα, Σούρουβα, Κορουσία, Σιβριάπα, Σεράχα, Ἐπτάλου λιμὴν, Νίκαξιν, Ὀπισσᾶς, Βριξάβα, Τυργατάω, Ἀρκεσίνης «Дон», Παταρόνη, Ἀξαζίτις, Γέρουσα, Ναύαρις, Ὀσιλοι, Τυρι(σ)τάκη, Γάργαζα, Αἰαίη, Ἀστερουσία, Εὐλυσία, Καζέκα, Καροία, Λαγύρα, Πίλακος, скифский царь, Τάξακις, скифский царь, Παλάκιον, τὰ Ἀδαρά, Νίκοφισ, Οὐκρόυζ, Σπαταλόυ λιμὴν = Ἐπτάλου = Πάτους, Σῶσαι, Φοῦλλα(ι); из латинских авторов: *Coracanda* «Кубань», *Pyrra*, *Antissa*, *Coretus*, *Buces*, *Eon* = *Oium* «Синдский остров», *Camacae*, *Mazamacae*, *Carastasei*, *Menotharus*, *Caroni*, *Mendaraei*, *Bitiae*, *Thibii*, *Zorines*, царь сираков, *Soza*, город дандариев, *Uspe*, город сираков, *Panda*, *Derbis*, *Dia*, *Careon*, *Carriziton*, *Suppatos*, *Dina* = *Dia*, *Sita*, *Dandareon*, итал. *Palastra* = турецк. *Balisera*, коса на Азовском море; из эпиграфики Северного Причерноморья: Ζώρσανος, [Σ]αρία, Καμαζαρόη, Μαιωσάρα, Σαρόκη, Καβαθάξης, Ζωρθίνος / Ζωρθίνης, Κοθίνας, Τύργα.

Первый критерий синдомеотской принадлежности названия — местонахождение его в Восточном Приазовье, на Таманском полуострове и в пределах Боспорского царства. Эти территориально синдомеотские названия проверяются на предмет их индоарийской (праиндийской) языковой принадлежности, причем решающее значение приобретает лингвистические критерии — исключительные фонетические рефлексы и изоглоссы, исключительные связи вскрываемого синдомеотского репертуара лексических основ и словообразования с древнеиндийским. Если территориально синдомеотское название, допускающее вероятную индоарийскую этимологизацию, обнаруживает вероятные соответствия также за пределами исторической собственно синдомеотской территории и эти соответствия не единичны и достаточно красноречивы, в таком случае подготавливается почва для новых заключений и дальнейших поисков, уже относительно не связанных начальным критерием территориальной принадлежности. Я имею в виду указания о языковых связях тавров и синдомеотов, о наличии индоарийского элемента в Синдской Скифии (к северу от Крыма), на северном берегу Азовского моря. В этих последних выводах заинтересованы, помимо лингвистов, вероятно, также историки. Фонетические приметы индоарийской принадлежности — это уже называвшееся сохранение и.-е. *s* (при иран. *h*, *χ*), а также рефлекс типа др.-инд. *kṣ* из и.-е. *ks* при иран. *š*. Дополнительные примеры на *s* этимологическое: *Soza* < индоар. **su-aja* «добрый выгон» или, возможно, **su-vasa* «доброе жилье» (Соза — город дандариев. Тас. Ann. XII, 16), ср. сюда же Σῶσαι место близ Херсонеса в Крыму (Const. Porph. De adm. imp. 53, 199^r); другая ступень чередования корня *vas* : *us-* «жить, обитать» могла бы быть указана в названии города сираков *Uspe*, производном с суффиксом

-р-⁶⁶. Явным сложением с индоар. *su-* «хороший, добрый» оказывается название города *Suppatos* (сюда же Σπαταλοῦ λιμῆνι и иранизированное, с порчей, Ἐπάταλο λ., см. выше: о втором компоненте *pat-* говорится далее). Не менее регулярно выступает *s* этимологическое в составе имен Καμασαρόη, Μαιωσάρα, Σαρόκη, [Σ]αρία — все из боспорской эпиграфики⁶⁷. Все это — женские имена, на чем основана наша этимология от индоар. **sar-* «женщина», ср. остаточное др.-инд. *ap-sarā* «мифическое женское существо, связанное с водой». Перечисленные имена реконструируются как сложения **kama-sar-* «любимая женщина», **maia-sar-* «меотьянка?» и суффиксальные производные **saruka*, **saria*. В. И. Абаев толкует все эти имена как иранские от **sar-* «голова»⁶⁸, что, принимая во внимание частотность и типологию (имена женщин), маловероятно даже в таком «женовладеемом» обществе, как меотское. Иранское соответствие индоар. **sar-* имело бы форму **har-*, ср. авест. *hā²rišī* «женщина, самка». Поскольку реликтам и.-е. **sor* «женщина» была посвящена дискуссия в литературе, синдотеотское (индоарийское) **sar* представит интерес для языковедов, особенно учитывая его двойственную функцию основы и форманта, ср. Καμασαρόη, Μαιωσάρα, напоминающую хетт. *haššušara* «царица», *išhaššara* «госпожа»⁶⁹.

Примеры на индоарийский рефлекс типа др.-инд. *kṣ* из и.-е. *ks*: уже давно отмечено этимологическое тождество скифского царского имени Τάξαις (Herod. IV, 120) и др.-инд. *Takṣakā*⁷⁰. Любопытно, что Фасмер отвергает эту этимологию⁷¹, потому что в иранском ожидалось бы *taš-*, т. е. как раз на тех же основаниях, на которых мы к ней вновь возвращаемся⁷². Та же основа индоар. **takš-* представлена в менее знатном имени-сложении Καβαθάξης (засвидетельствована форма Καβαθάξω, дважды, оба раза — на Синдском острове⁷³), возможно, из **kumbha-takša-* «отесывающий сосуды», ср. др.-инд. *kumbhā-* «сосуд (для воды)», сложение *kumbhakāra-* м. р. «гончар». Заманчиво было бы проследить ту же фонетическую особенность в местном названии Νίκαξι «Святой порт» (Аноп. Рег. р. Eux. 62(21)), возможно, — нынешний Новороссийск⁷⁴, если пра-

⁶⁶ Суффиксальное *-р-* в какой-то мере характерно для санскрита и с о в е р ш е н н о не встречается в иранском. См.: В. Ghosh, Les formations nominales et verbales en p du Sanskrit, Paris, 1933, стр. 9, 63. Автор приводит кауз. *vasāpaya-* и производное *vāsāpaka* (стр. 68). Наличие производных на *-р-* отмечается также в хеттском (см.: F. Edgerton, «Language», X, 1934, 295 и сл.). Ср. хетт. *sarri-waspa-* «habit de taille, ceinture» (цит. по кн.: E. Lagrange, Les noms des Hittites, Paris, 1966, стр. 366) и лувийское *cašpant-* «одежда» (J. Friedrich, Hethitisches Wörterbuch. 2. Ergänzungsheft, Heidelberg, 1961, стр. 44), родство которых с названием города *Ušpe* у сираков вполне возможно.

⁶⁷ «Корпус боспорских надписей», №№ 75, 280, 512; В. Latyshev, Inscriptions. . . , II, № 116, стр. 83—84.

⁶⁸ В. И. Абаев, Осетинский язык и фольклор, I, стр. 180—181.

⁶⁹ Подробнее, с библиографией, см. нашу статью «Некоторые данные индоевропейского и славянского языкознания об этногенетических импульсах Северного Кавказа» (в печати). Правда, исследователь древнеиндийских личных имен не знает образований на *-(a)r-*, *-sri*; см.: A. Hilka, Beiträge zur Kenntnis der indischen Namengebung. Die altindischen Personennamen, Breslau, 1910.

⁷⁰ F. Justi, Iranisches Namenbuch, стр. 321.

⁷¹ M. Vasmer, Untersuchungen über die ältesten Wohnsitze, стр. 119.

⁷² А. А. Белецкий справедливо предпочитает сближение с др.-инд. *takṣakā* этимологии из **tak-sāka-* «быстрый олень» у В. И. Абаева (см.: А. О. Билецкий, Проблема мови скифів, стр. 81—82). Др.-инд. слово в данном случае не нужно понимать буквально как «плотник», речь идет о древнем личном имени (уже др.-инд. *Takṣakā-* выступает как имя принца). Мы не согласны лишь с тем, что Белецкий сближает корень *takṣ-* с греч. τέξω «лук». И.-е. **teks-* отразилось в греч. τέκτ-.

⁷³ «Корпус боспорских надписей», стр. 617—618 (№ 1056), 648 (№ 1113).

⁷⁴ Ф. Брун, Черноморье. Сборник исследований по исторической географии Южной России, ч. II, Одесса, 1880, стр. 260.

вильна предлагаемая нами этимология — к др.-инд. *ni-kakṣá-* в значении «низменная бухта», ср. подходящие значения др.-инд. *kákṣa-* «укрытие, бок» и особенно — родственного ему др.-инд. *kaccha-* «берег»⁷⁵. Иранское соответствие имеет форму *kaša-*, ср. авест. *vouru-kaša-* «имеющее широкие заливы (или берега?)», эпитет Каспийского моря. Наше Νίκαξιν интересно еще в словообразовательном плане, поскольку адективные производные на *-in* характерны как раз для индийского — как древнего (ср. реальное санскр. *kakṣin*⁷⁶), так и нового (бихар. *kāchī* < **kacchin*⁷⁷). В отношении своей внутренней формы реконструируемое **ni-kakṣa-* «низменный берег, бухта» в Νίκαξιν образует прекрасную коррелятивную пару с др.-инд. *Bhr̥gu-kaccha*, морской порт в Западной Индии (соврем. *Broach*), собственно «High Coast Land». Соответствия др.-инд. *kakṣa-/kaccha-*, которые мы находим в береговой номенклатуре причерноморских индоариев (ср. ниже), напоминают, кстате сказать, ту популярность, которую эта именная основа получила в приморской Западной Индии (ср. там название известной области Раннский Кач).

В вопросе индоарийских связей репертуара лексических основ синдо-меотской ономастики на первом месте безусловно стоит выявление соответствий на одинаковом уровне (топонимии, антропонимии). Назовем Πάλαχος, имя сына царя крымских скифов Скилура (Strab. VII) и его полное соответствие — др.-инд. *pālaka-* «защитник, покровитель», «принц, правитель, государь», также *Pālaka-*, имя нескольких припцев⁷⁸. Нам кажется неслучайным, что имя Πάλαχος носил принц крови именно у скифов Крыма, ср. и производное от него название порта тавров Παλάκιον, которое еще Паллас отождествил с Балаклавой⁷⁹. Имя Πάλαχος было своим для тавров, с точки зрения иранского оно не толкуется⁸⁰. Поиски в этом направлении надо продолжать (ср. еще примеры полных пар соответствий в конце настоящей работы). Нельзя, однако, забывать о трудных условиях подобных поисков: малая доступность источников по топонимии и антропонимии Индии, недостаточность существующих источников такого рода, специфичность и несовершенство отражения, например, у античных авторов (Страбон, Птолемей, Арриан, Мегасфен) форм древнеиндийских названий. Такие пары сходных названий как Ἀπάτορον (Боспор) — Ὀποτοῦρα (город в Индии, Ptol. VII, 1, 76), Κοροκονδάμη (Боспор) — Καρικάρδαμα (город в Индии, Ptol. VII, 1, 86) должны не только привлекать наше внимание, но истораживать.

Но даже при той скудной и случайной обеспеченности материалом, которая отличает нашу проблему, возможности выявления полных пар понтийско-индийских соответствий, разумеется, не исчерпаны. Было бы близорукостью ограничиваться при этом одним античным и раннесредневековым материалом, необходимо также привлекать более поздний и даже современный материал с приазовских территорий. Поздние свидетельства, при условии, если они удовлетворяют другим важным требованиям, могут обернуться для нас плодом очень длительной эволюции и давней преемственности. Например, нынешняя *Белосарайская* коса (сев.-вост. часть Азовского моря) вместе с итальянской записью *Palastra* (XV в.) и *Baliserà*

⁷⁵ M. Monier-Williams, A Sanskrit-English dictionary, стр. 241, 242.

⁷⁶ Там же, стр. 242.

⁷⁷ R. L. Turner, A comparative dictionary of the Indo-Aryan languages, fasc. II, London, 1962 —, стр. 130.

⁷⁸ M. Monier-Williams, указ. словарь, стр. 622—623.

⁷⁹ [P. S.] Pallas, Voyages entrepris dans les gouvernements méridionaux de l'empire de Russie pendant les années 1793 et 1794, III, Paris, 1811, стр. 82, примеч. 1.

⁸⁰ Заметим, что Фасмер лишь приводит имя Πάλαχος, оставляя его без всякого объяснения (M. Vasmer, Untersuchungen über die ältesten Wohnsitze. . ., стр. 145), В. И. Абаев вовсе не упоминает этого имени.

(Эвлия-эфенди, XVII в.) может отражать местное индоар. **pari-sara* «обтекание, обход», ср. др.-инд. *parisara*- м. р. «округа, окружность», *parisāra*- «хождение вокруг»⁸¹. Ср. еще *Παρίσαρα*, город в Индии (Ptol. VII, 2, 23). Как известно, одна из кос северного берега Азовского моря носит название *Обиточная*. Иранское название, разумеется, имело бы форму **pari-xara*.

Внимательное сопоставление и выявление повторяющихся элементов названий представляет собой довольно реальный путь к реконструкции их апеллативной основы. Сличение названий *Τυρι(σ)τάκη* на западном берегу Боспора и *Τυράμβη* — на восточной стороне пролива — позволяет выделить три апеллативных основы **tura*-/**turi*-, **taka* и **amba*, ср. соответственно др.-инд. *turā*-, ж. р. *turī*- «стремительный, -ая», *tak*- «мчаться, нестись», *āmbi* «вода» (последнее — без достоверных иранских соответствий)⁸². Раскрываемое значение *Τυριτάκη* — «быстрое течение» — вполне отвечает быстрому течению Керченского пролива. Что касается реконструкции для *Τυράμβη* значения «быстрая вода», то наблюдатели отмечали факт очень быстрого течения Кубани «мимо города Темрюка»⁸³, т. е. близко к Тирамбе. Членение *Τυράμβη* поддерживается географическими названиями вроде *Ζόραμβος*, река в Гедрозии, *Κοίραμβα*, город в Гедрозии⁸⁴ (Гедрозия примыкает к Индии с запада и рассматривалась в литературе как возможный путь прихода ариев). Сопоставление ряда названий *Καροία*, *Careon*, *Eon*, *Oium* открывает путь к предположительной реконструкции лексических основ **kar*-, видимо, «камень», в древнеиндийском только в редуцированном виде *karkara*- «камень», сюда же *śarkarā*; вторая основа — **oṣṭon*, возможно, «остров» (ср. ниже). Композит **kar-oṣṭon* «каменный остров» мог быть местным эквивалентом греч. *Τραχεία Χερσονήσος* «Скалистый полуостров» — о Керченском полуострове. Царское имя *Zorsines*, по-видимому, двусловное, напоминает своим вторым компонентом *-sines* (возможно, запись первоначально ионического **-σινης*, отражающего туземное **-sina*) продуктивный в индийском тип знатных имен на *-sena*.

Достижение некоторых, правда, еще скромных результатов, как и следовало ожидать, влечет за собой новые проблемы и трудности. Не говоря о том, что горстка апеллативных основ — это еще далеко не словарь, сейчас особенно ощутимо практически полное отсутствие элементарных сведений об основах грамматики самобытных реконструируемых остатков языка. Нет ясности относительно количества гласных, впрочем и наши представления об их качестве (взять хотя бы кардинальное для индоиранцев изменение *e, o > a*) весьма зыбки и зависят от передач в текстах. Есть вероятность того, что самобытность синдмеотов находила свое выражение отнюдь не в том только, что это были местные праиндийцы, отличные от соседних иранцев. Мы с первых шагов наталкиваемся на признаки самостоятельного диалекта (или диалектов). Здесь есть чем заинтересоваться индоевропейской диалектологией. Наряду с преобладающими, насколько пока можно судить, индийскими изоглоссными связями синдмеотской лексики, отмечаются и существенные диалектизмы. Ср. выше о словообразовательной функции женского *-sara* анатолийского типа. Название женщин, убивающих взглядом, — *Bitiae* (Plin. VII-

⁸¹ O. Böhtlingk, Sanskrit-Wörterbuch in kürzerer Fassung, IV, St. Petersburg, 1883, стр. 46, 48.

⁸² M. Mauryhof, Kurzgefasstes etymologisches Wörterbuch des Altindischen, I, стр. 45, 514, 515.

⁸³ И. Е. Забелин, Объяснение страбоновых свидетельств о местностях Боспора Киммерийского, «Труды III Археологического съезда в России», II, Киев, 1878, стр. 19.

⁸⁴ W. Pape, G. Benseler, указ. словарь, svv.

17) — образовано от и.-е. **bheǵ-* «бить», как и слав. **biti*, т. е. отлично от корня **žhan-* с этим значением во всех индоиранских языках, а также от прочих продолжений и.-е. **g^hhen-* «бить» в анатолийских, греческом. Намечается своеобразная местная трактовка изоглоссных стыков Востока и Запада в этом районе.

Припонтийский индоарийский диалект синдгов и меотов не был и, конечно, не мог быть слепком с классического индийского или санскрита. То, что мы наблюдаем уже сейчас из числа доступных фонетических особенностей, складывается в древнюю, но весьма живую картину народного индийского диалекта — праkrita. Некоторые особенности этого рода будут небезынтересны, по-видимому, для индологов и индоевропеистов.

Местное название *Bátá* (Strab. XI, 496; Ptol. V, 9, 8), сюда же *Πάτους* (Scyl. Car. 72) и *Suppatos*⁸⁵, отождествляемое с современным Новороссийском, мы реконструируем как индоар. **su-patta-* < **su-parta-* «Добрая гавань». Известно, что это место называлось еще *Ἱερός λιμήν* «Священная гавань» (Anon. Per. p. Eux. 62(21)) и *calolimena*⁸⁶. Давно замеченный недостаток в хороших гаванях на Черном море⁸⁷ заставлял древних не скупиться на подобные топонимические эпитеты. Отношение засвидетельствованного *-t-* и реконструируемого *-rt-* в *Πάτους*, *Suppatos* очень напоминает отношение двойного церебрального *ṭṭ* в пали *paṭṭanam*, санскр. *paṭṭanam* «порт, гавань» и регулярного санскритского *-rt-*, реконструированного на базе внешнего сравнения с лат. *portus*⁸⁸. Сюда же мы отнесем *Πάταλα* (Птолемей), *Πάτταλα* (Арриан; NB: гемината!), название острова в дельте Инда и города там же. Ср. названия *Σπαταλοῦ* (Const. Porph. De adm. imp. 42, 122^v), *Ἐπτάλοῦ λιμήν* (Anon. Per. 60 (19)) в районе Новороссийска. Наконец, в Новороссийске отмечено личное имя *Βατταχος*⁸⁹, производное от названия города, ср. др.-инд. *paṭṭaka-* «город»⁹⁰ с праkritическим вариантом начала слова *vāḍā-*⁹¹, напоминающим *B-* наших примеров.

Та же кардинальная особенность упрощения групп согласных, уже представленная, например, в дублетной паре санскр. *kakṣā-/kaccha-* (см. выше), документально может быть прослежена в таком сохранившемся вплоть до наших дней индоарийском реликте как местное название *Качик* в восточном Крыму. Уже давно замечено, что это название идентично названию *Καξέχα* в периплах Арриана и Анонима⁹². Важно другое: название *Качик* (мыс к востоку от Феодосии) представляет собой отраженное и сохраненное в тюркской среде индоар. **kacchika-* «береговой», производное от праkritического *kaccha-*⁹³. Тюрки Крыма лучше донесли до нас кон-

⁸⁵ «Ravennatis Anonymi Cosmographia», ed. M. Pinder et G. Parthey, Berolini, 1860, стр. 172 (IV, 3).

⁸⁶ Ф. Брун, Черноморье, ч. II, стр. 260.

⁸⁷ E. H. Minns, Scythians and Greeks, Cambridge, 1913, стр. 9.

⁸⁸ R. A. Hall, Sanskrit *paṭṭanam*: Latin *portus*, etc., «Language», 12, 1936, стр. 133—134. Этимология *Suppatos*: др.-инд. *supāth* «добрая дорога» (P. Kretschmer, указ. соч., стр. 38, примеч.), сомнительная и для автора, неприемлема для нас семантически.

⁸⁹ В. Ф. Гайдукевич, Боспорское царство, М.—Л., 1949, стр. 221.

⁹⁰ M. Monier-Williams, указ. словарь, стр. 220—221; Е. М. Медведев, Опыт исследования древнеиндийской общины по данным топонимики, «Индия в древности (сборник статей)», М., 1964, стр. 220—221. Осетинская этимология *Βατταχος* у Миллера (см.: M. Vasmer, Untersuchungen über die ältesten Wohnsitze..., стр. 134) носит случайный характер.

⁹¹ D. C. Sircar, Indian epigraphical glossary, Delhi — Varanasi — Patna, 1966, стр. 357.

⁹² Pallas, Voyages..., IV, стр. 61; W. Pape, G. Benseler, указ. словарь, I, стр. 589.

⁹³ R. Pischel, Grammatik der Prakrit-Sprachen, Strassburg, 1900 (=«Grundriss der indo-arischen Philologie und Altertumskunde», I, 8), стр. 219.

сонантизм, очень приблизительно переданный греч. Καζέκα; они сохраняли долго и память о значении этого слова, потому что мыс этот называется также *Таш-Качик* «Каменный Качик» и *Яга-Качик*, ср. тюрк. (татар., ногай.) *яга* «берег: береговой»⁹⁴. Об отражении *kařa-* на кавказском берегу см. выше.

Поиски синдомеотских (индоарийских) языковых остатков в Северном Причерноморье привлекают перспективой восстановления на этом пути фрагментов древней этнической истории и исторической географии, а также уточнения путей миграции. В заключение остановлюсь кратко на нескольких таких примерах, которые, как мне кажется, сами говорят за себя.

Известно, сколько сейчас споров ведется об ариях в Передней Азии; материал для спора — имена индоарийского типа в документах Митанни (работы М. Майрхофера, А. Камменхубер, В. Вюста, И. М. Дьяконова и др.). В аргументации по переднеазиатским ариям данные из Северного Причерноморья практически отсутствуют. Между тем можно назвать женское имя *Tirgutawiya* в алалахских табличках времен Митанни, около середины II тыс. до н. э.⁹⁵ и — как его соответствие — имя меотянки *Τιργατάω*, разведенной жены синдского царя Гекатея в V—IV вв. до н. э. (Polyaen. Strateg. VIII. 55). Благодаря этому тождеству получает поддержку индоарийская этимология переднеазиатского имени и делается вероятной такая же этимология для севернопричерноморского имени (единственный способ объяснить их тождество), иранские этимологии последнего, напротив, становятся очень сомнительными. Это первое индоарийское личное имя, засвидетельствованное как в Передней Азии, так и к северу от Черного моря. Лучшего доказательства того, что индоарийцы частично еще оставались на Северном Кавказе после ухода их основной массы на юг, трудно желать.

В Приазовье и Северо-Западной Индии можно, оказывается, констатировать как бы повторение элементарных топонимических ландшафтов. Кроме названия **Sindu-*, обозначавшего, по-видимому, Дон (см. выше), — и параллельно ему — употреблялось название *Silis*, Σίλις «Дон» (в вариантах к *Sinum* у Плиния; см. также Eustath. Comment. ad Dionys. 14), в чем иногда сомневаются, видя здесь смешение с Яксартом, Сыр-Дарьей. Однако ср. сообщение о народе *Ὀσίλοι* на нижнем Дону (Ptol. III, 5, 10)⁹⁶, возможно, префиксальное **o-sil-*. Нельзя не вспомнить о том, что в Северо-Западной Индии, где течет река, называвшаяся *Sindhu-*, сохранялось предание, хорошо отраженное и классической литературой (Мегасфен, Арриан, Диодор, Страбон), о реке Σίλλας, Σιλίας, Σιλας где-то на севере Индии и о живущем там народе Σιλαῖς. В этой уникальной реке, гласит предание, ничто не плавает, но тонет, о к а м е н е в а я; название реки давно поставлено в связь с др.-инд. *śilā* «камень»⁹⁷. Исключительно индийское *śilā* объясняет и Σίλις «Дон», выступающий в паре с **Sindu-* подобно *Sindhu-*: Σιλας в Индии. Возможно, донское название Σίλις скрывается в современном *Сал* ($a < *i$ в тюркоязычной среде?), названии левого притока нижнего Дона. Сосед Сала река Маныч отличается соленой водой⁹⁸. Несколько темное предание у Плиния (Nat. hist. II, 106,5)

⁹⁴ А. Ф а б р, Древний быт Эйовы, внешнего полуострова Тамази, Одесса, 1861, стр. 33, примеч. 2.

⁹⁵ Цит. по кн.: E. L a g o s h e, Les noms des Hittites. Paris, 1966, стр. 185.

⁹⁶ В. В. Л а т ы ш е в, Известия древних писателей..., I, стр. 232.

⁹⁷ J. W. M c C r i n d l e, Ancient India as described in classical literature, Westminster, 1901, стр. 46—47, со ссылкой, вслед за Лассеном, на Махабхарату (II, 1858); е г о же, Ancient India as described by Megasthenes and Arrian. Rev. 2nd ed. by R. C. Majumdar. Calcutta, 1900, стр. 33, 64, примеч. 202.

⁹⁸ Консультация географа проф. Э. М. Мурзаева.

возрождает, кстати, миф о каменных реках и на Кавказе (?): «В реке Сурии (Surius), в Колхиде, дерево, брошенное в воду, покрывается каменной корой...»⁹⁹. В коренной Синдике, в южной части Таманского полуострова, находится лиман *Цукурский*, он же *Цукур* или *Сокур*, собственно — западная часть лимана *Кизилташ*, что по-тюркски значит «красный камень»: на берегу лимана, действительно, находятся известняковые утесы¹⁰⁰. Мы склонны толковать название *Цукур/Сокур* из индоар. **sukkur* < **sarkar-*, ср. название известного ныне своей плотиной города Суккур на реке Инд в Пакистане¹⁰¹ — *Sukkur*, праkritическое изменение др.-инд. *Śarkarā*, упоминаемого еще Панини и названного так по скалам, на которых город расположен¹⁰². Выше уже отмечалось глоссовое *sacrium* как след др.-инд. *śarkarā* в Скифии. Таким образом, в Приазовье вскрывается группа **Sindu-* — **Sili-* — **Sarkar-* с групповым соответствием на Западе Индии. Поиски в этом направлении также должны продолжаться. Обращает, например, на себя внимание туземное название Кубани, разветвляющейся на два рукава при впадении в море, — *Coracanda* (Pomp. Mela I, 110), а также сходство этого названия с названием реки Кабул (зап. приток Инда, см. выше) *Ghorvand*, объясняемого мною в е с т в о м р у к а в о в у этой реки, по сообщению Бируни¹⁰³. Кубань, известную как реку блуждающую, с изменчивым руслом, нельзя было обозначить удачнее, чем с помощью индоар. **krka-vant(i)* «имеющая много горловин». След исходной основы индоар. **krka-*, представленной в др.-инд. *krka-* «горло», *krkāta-* «шея», еще хорошо просматривается в тюркизированной форме Οὐκροῦχ, название реки, отделяющей Зихию от Таматархи (Const. Porph. De adm. imp. 42, 121—122), а его значение сохранено тюркским названием *Бугаз* «горло».

Комбинаторикой состава названий *Careon* (Iord. Get. 32), *Καροία* (Ptol. III, 5, 13) < **kar-oion* «каменный остров» и *Eon* «Синдский остров» (Plin. NH VI, 18), *Oium* (Iord. Get. 26—27)¹⁰⁴ мы получаем местное самобытное название острова, первоначально **aḷ(v)am/*oḷ(v)om* «одно, одинокое»¹⁰⁵. Видимо, сюда же (в Синдику, а не в Колхиду) придется этимологически отнести гомеровский остров *Αἰαίη*, отплыв от которого утром, Одиссей мог вечером того же дня прибыть к киммерийцам (см. выше о расположении Киммерии). Тождество *Αἰαίη* = *Eon* лишь подкрепляло бы мнение географа акад. К. Бэра о посещении Одиссеем Керченского пролива и окрестностей¹⁰⁶.

Древность некоторых старинных дорог может соперничать с древностью этнокультурных рубежей, а также может косвенно проливать свет

⁹⁹ Цит. по кн.: К. Га н, Известия древних греческих и римских писателей о Кавказе, «Сборник материалов для описания местностей и племен Кавказа», IV, Тифлис, 1884, стр. 101.

¹⁰⁰ К. Гер ц, Археологическая топография Таманского полуострова, М., 1870, стр. 13—14, 61.

¹⁰¹ Н. Х о х л о в, Вытканый солнцем Синд, «Известия» 14 VIII 1974.

¹⁰² V. S. A g g a w a l a, India as known to Pāṇini, Lucknow, 1953, стр. 50, 70.

¹⁰³ D. C. S i g s a r, Studies in the geography of Ancient and Medieval India, Delhi — Patna — Varanasi, 1960, стр. 43.

¹⁰⁴ Иордан так называет землю б л и з М е о т и д ы, т. е. Синдский остров, куда переправились готы *emenso amne transposita* «перейдя огромную реку», т. е., конечно, Керченский пролив, который достоверно форсировали готы-эвдусиане в III в. н. э., а не Днепр, как считается в литературе, где *Oium* толкуют как гот. *Aiuḡt* «страна, изобилующая водой». Так см. Е. Ч. Скржинская в комментариях к изд.: И о р д а н, О происхождении и деяниях гетов, М., 1960, стр. 196.

¹⁰⁵ Подробнее см. нашу ст. «Некоторые данные индоевропейского и славянского языкования об этногенетических импульсах Северного Кавказа» (в печати).

¹⁰⁶ К. Б э р, Знакомство Гомера с северным берегом Черного моря, «Записки Одесского общества истории и древностей», X, 1877, стр. 522 и сл.; Г р. К а р а у л о в, Исторические вопросы, решаемые натуралистом, там же.

на последние. Таков, например, внутренний водный путь по рукавам Кубани из Азовского моря в Черное в обход опасного пролива. Его знали турки и казаки, но наша номенклатура позволяет на добрых два тысячелетия углубить хронологию. Путь начинался у современного Ачуева, раньше — Ачук¹⁰⁷, в котором мы усматриваем тюркизацию античного *Antissa* (Plin. NH II, 206) < *antikja, ср. Ἀντικίτης (Strab. XI, 2), Ἀτικίτης (Strab. Chrest. 11), нынешняя Протока, северное русло Кубани. Названия эти можно объяснить в связи с др.-инд. *antika*- «ближний», *antikata* «близость». Один вариант пути в древности кончался, видимо, в Корокондамском (Таманском) заливе, называемом в перипле Анонима Ὀπισσᾶς, что верно толковалось как «задний, последний»¹⁰⁸, не без помощи близкого греч. ὀπίσω, но очевидное наличие пары *Antissa* — Ὀπισσᾶς делает ощутимыми негреческие истоки¹⁰⁹ этого обозначения, ср., например, хетт. *apuzzi*- «последний, задний». Многозначительно, что упомянутый путь из одного моря в другое шел в обход Боспорского пролива и негостеприимных киммерийских берегов (сев. часть Таманского полуострова).

Пафос нашей работы в том, чтобы показать силу преемственности отраженных и трансформированных элементов культуры и языка в этом сложном районе. Эта замечательная особенность традиционно недооценивается, и тогда исследователи отдают дань предвзятой схеме резких смен населения и полного обезлюдения районов Причерноморья¹¹⁰. В таких случаях полезно напоминать пример с кубанской мягкой пшеницей, которая и сейчас растет там же, где росла в V в. до н. э.¹¹¹ Но человеческая речь знает примеры не менее стойкой сохранности. Таковы теперешние *Камышовая бухта* в Крыму и *Тендровская коса* у черноморского побережья Украины. На первый взгляд, между ними нет ничего общего и к нашей проблеме они отношения не имеют. Однако мы считаем, что *Камышовая бухта*, название небольшого залива у основания полуострова Херсонеса и современного поселка там же, — это перевод древнего названия Δανδάκη (Ptol. III, 2,6), местность в Херсонесе Таврическом, локализация которой вызывала затруднения¹¹². На такую мысль наводит полное соответствие таврического Δανδάκη и др.-инд. *Dandaka*-, название леса в Декане, производное от др.-инд. *dandā*- «палка», *dāndana*- «вид тростника». Идентификация с Δανδάκη делает обязательной этимологию др.-инд. *Dandaka* < **Dandraka*-¹¹³. Существующая этимология Δανδάκη = осет. *dændag* «зуб» (Томашек, Миллер, Фасмер, Абаев) влекла за собой гадательную локализацию типа «вероятно, какой-то мыс»¹¹⁴. Удачнее догадка Миннза, который допускал, что Дандака — одна из трех страбоновских гаваней между городом Херсонесом и мысом (он же считает, что три гавани — это нынешние Стрелецкая, Камышовая и Казачья бухты)¹¹⁵. Название *Тендровская коса*, *Тендра*, тюрк. *Тентере*, визант.-греч. τὰ Ἰνδάρια (Const. Porph. De adm. impr. 42, 120^v) еще Тунман (XVIII в.) убедительно отождествил с *Dandarium*, *Dandareon* (Rav. An. IV,5; V,11). Древние на-

¹⁰⁷ Т у н м а н н, Крымское ханство, пер. с нем. издания 1784 г., Симферополь, 1936, стр. 65.

¹⁰⁸ E. N. M i n n s, Scythians and Greeks, стр. 24.

¹⁰⁹ Иранские эквиваленты имели бы вид **nazdyā*-«ближний», **apara*-«дальний».

¹¹⁰ Ср.: В. В. Л а п и н, Греческая колонизация Северного Причерноморья, Киев, 1966, стр. 53—54. Но ср. еще: E. N. M i n n s, указ. соч., стр. 36: «...и даже в степях население сменяется не так легко, как принято думать».

¹¹¹ Д. П. К а л л и с т о в, Очерки по истории Северного Причерноморья античной эпохи. Л., 1949, стр. 109, 229.

¹¹² М. И. Р о с т о в ц е в, Скифия и Боспор, стр. 76, 78.

¹¹³ Подробно о последней см.: М а у р h o f e r, указ. словарь, II, стр. 11—12.

¹¹⁴ M. V a s m e r, Untersuchungen über die ältesten Wohnsitze..., стр. 164.

¹¹⁵ E. N. M i n n s, указ. соч., стр. 496, 498, примеч. 1.

зывали эту косу Бегом Ахиллеса. То, что название *Тендра* сохранилось до наших дней, избавляет нас от гаданий, будто *Dandarium* — «Uferstation» в устье Бугского лимана, и от этимологии из иран. **dānūdara*- «державшие реку»¹¹⁶, что совсем не подходит для морской косы... У иранистов мы возьмем тождество названий *Dandarium*: *Δανδαρίοι* (Страбон), племя в низовьях Кубани, но не их иранскую этимологию. Логичнее понимать *Δανδαρίοι* как синдомеот. (индоар.) **dand-arya*- «камышовые арии», подобно тому как много столетий спустя местные казаки назывались у татар *сари-камыш-козаклер*¹¹⁷. Важное значение камыша для этих безлесных территорий¹¹⁸ наложило печать на их названия, близость которых в кубанских плавнях, в *Scythia Sindica* и на Херсонесе Таврическом говорит о близости самих этносов.

Когда лингвист берется за решение подобных задач, он, пожалуй, особенно остро чувствует, что работает не столько для лингвистики, сколько для обширной исторической науки, для познания прошлого. Кречмер, докладывая в 1943 г. Венской Академии наук об индийцах на Кубани, почел нужным упомянуть о боях 1943 г. ... Сейчас, тридцать с лишним лет спустя, когда следы последней войны на кубанской земле давно стерлись, пробуждаются новые надежды на то, что отыщется след ее давних жителей. Синды еще не заговорили, но отголоски их особого языка на Кубани и на Тамани все же доходят до нас.

¹¹⁶ M. V a s m e r, Untersuchungen über die ältesten Wohnsitze..., стр. 160, 194.

¹¹⁷ Т у н м а н н, указ. соч., стр. 69.

¹¹⁸ В конвенции с Турцией о границах 1775 г. специально оговаривалась возможность для населения беспрепятственно собирать камыш по берегам Днепра, Буга и окрестностям. См.: Т у н м а н н, Приложения, стр. 104.

В. П. ДАНИЛЕНКО

О МЕСТЕ НАУЧНОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ В ЛЕКСИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ ЯЗЫКА

При изучении терминологии с лингвистических позиций важно определить, какое место она занимает в структуре современного русского языка, его лексической системе. Существует устойчивое, традиционное мнение, согласно которому терминологии отводится особое, самостоятельное место. При этом, однако, часто остается не вполне ясным, в составе какого структурно-функционального понятия она выделяется: в составе ли общелитературного языка или одного из его функциональных стилей или же в составе особой разновидности общелитературного языка.

Определение места терминологии в структуре современного русского языка важно не только для «строгости» подхода к изучаемому объекту (хотя и это само по себе существенно), но главным образом для более объективного выделения тех признаков, которыми обладает изучаемый объект и оценки их, ибо ни одно явление в языке не может быть понято без учета системы, к которой оно принадлежит¹. В самом деле, рассматривая терминологию в составе общелитературного языка, хотя и в качестве особого, автономного слоя его лексического состава, трудно, исходя из семантических процессов развития общелитературной лексики, найти объяснение особым формам протекания этих процессов в терминологии и особенно тем явлениям, которые свойственны только терминологии и вызваны не имманентными языковыми причинами, а особой связью терминов с теорией, наукой. Те же сложности становятся неизбежными и при исследовании терминологического словообразования, где столь же важно четкое выделение на основании особенностей терминологической лексики существенных признаков (общих и конкретных) терминологического словопроизводства². Нельзя оценивать практическое терминотворчество, не зная всех подробностей и особенностей действия словообразовательного аппарата применительно к терминологии. Иными словами, при включении терминологии в лексику общелитературного языка теряется в значительной мере ее функциональная специфика, утрачивается особый критерий ее оценки. Однако и противоположный прием — изъятие терминологии из лексики общелитературного языка и анализ ее вне определенной лексической системы — также чреват опасными последствиями: неизбежным искажением фактических процессов, специфических и общих, распространяющихся на терминологическую лексику.

Весь комплекс вопросов, связанных с выявлением собственно лингвистических особенностей терминологической лексики, может быть поставлен и изучен только при анализе ее в «естественных условиях», т. е. в той языковой среде, где она применяется в своем прямом назначении, в своей основной номинативно-дефинитивной (или, по терминологии А. А. Рефор-

¹ «Тезисы Пражского лингвистического кружка», в кн.: «Пражский лингвистический кружок», М., 1967, стр. 17.

² См. об этом в ст.: В. П. Даниленко, О терминологическом словообразовании, ВЯ, 1973, 4.

матского, номинативно-семасиологической) функции, т. е. в функции наименования и выражения специального понятия, регламентированного в своих границах дефиницией. Такой естественной средой для терминологии является, с нашей точки зрения, самостоятельная функциональная разновидность общелитературного языка, традиционно именуемая языком науки (или языком науки и техники). В употреблении и квалификации понятия «язык науки», к сожалению, нет желательной терминологической строгости. Создается впечатление, что термин «язык науки» не обрел еще самостоятельного содержания, поэтому он легко применяется в лингвистической литературе то как синоним языка научной литературы, то как аналог научного стиля, то для наименования специфических искусственных (символических) систем, имеющих узконаучные сферы применения типа языка программирования и под.³ По нашему мнению, язык науки можно соотнести с самостоятельным, отдельным понятием, соответствующим самостоятельному функциональному типу общелитературного языка⁴.

Наличие функциональных типов литературного языка как будто не вызывает сомнений. В конкретной классификации этих типов наметилось довольно определенное отграничение функционально-речевых стилей, которые «сформировались и активно развиваются в недрах письменной речи»⁵, от разговорной речи, противопоставленной им по ряду существенных признаков (особенности внеязыковой ситуации, неподготовленность речевого акта, непринужденность речевого акта, непосредственное участие говорящих в речевом акте⁶) и устной форме ее реализации. Из состава функционально-речевых стилей выделяется также и художественная речь (язык художественной литературы). Основанием для выделения художественной речи является несовпадение функций последней с функциями литературного языка, неполное совпадение средств выражения и «недостаточность» норм литературного языка для «оценки языковых особенностей художественных текстов...»⁷.

Если воспользоваться теми аргументами, на основании которых выделяется в самостоятельную разновидность общелитературного языка художественная речь (язык художественной литературы), и попытаться на их основании оценить язык науки, то они представляются достаточными для выведения за пределы функционально-речевых стилей и языка науки, ибо функции языка науки также полностью не «накладываются» на функции общелитературного языка, поскольку язык науки является средством познания, средством научной информации, средством собственно интеллектуальной коммуникации. Набор материальных единиц языка науки не исчерпывается средствами выражения литературного языка. Он шире и настолько, что выходит за рамки не только общелитератур-

³ Примером такой недостаточной терминологической строгости может служить интересная книга О. Д. Митрофановой «Язык научно-технической литературы», М., 1973.

⁴ О характеристике языка науки на понятийно-онтологическом уровне см.: П. Н. Денисов, Очерки по русской лексикологии и учебной лексикографии, М., 1974, и более ранние его работы: «О некоторых общих аспектах изучения языков науки», в кн.: «Современные проблемы терминологии в науке и технике», М., 1969; е го же, Еще о некоторых аспектах изучения языков науки, сб. «Проблемы языка науки и техники. Логические, лингвистические и историко-научные аспекты терминологии», М., 1970, и др.; М. Н. Кожина, О речевой системности научного стиля сравнительно с некоторыми другими, Пермь, 1972.

⁵ Д. Н. Шмелев, О стилистической дифференциации литературного языка, «Р. яз. в шк.», 1975, 2, стр. 77.

⁶ «Русская разговорная речь», М., 1973, стр. 6.

⁷ Д. Н. Шмелев, указ. соч., стр. 79.

ного языка, но и общенационального языка. Нормы общелитературного языка также оказываются недостаточными для оценки языковых особенностей текстов научной литературы, поскольку язык науки значительно отличается содержанием выражаемого, что позволяет использовать более широкие по сравнению с литературным языком средства выражения (это относится главным образом к специальной терминологии) и требует своей особой внутренней организации текста или речи.

Язык науки как функциональная подсистема общелитературного языка стоит в одном ряду с такими понятиями, как разговорная речь и язык художественной литературы. Каждой из разновидностей общелитературного языка свойственны сферой заданные функции и структурно обособленные средства выражения. Каждая из них приобретает более широкие семантические или структурные границы, выходящие за рамки общелитературного языка. Именно этим, т. е. особенностями, заложенными в структуре, и более широкими по сравнению с общелитературным языком рамками охвата средств выражения, разновидности общелитературного языка, с нашей точки зрения, отличаются от функциональных стилей, суть которых как лингвистического явления (известно, что стиль — понятие широкое и охватывает самые различные области человеческой деятельности и поведения) сводится либо к принципу отбора и организации средств выражения (В. В. Виноградов, В. Г. Адмони, В. Матезиус), либо к типу организации языковых выражений (Б. Гавранек), а границы их находятся в пределах общелитературного языка⁸.

По отношению к общелитературному языку язык науки, с одной стороны, более узкое понятие, поскольку языку науки не свойственны все функции общелитературного языка. Для языка науки, например, наиболее существенны гносеологическая, информационно-логическая или интеллектуально-коммуникативная функции, которые менее существенны для других разновидностей общелитературного языка (художественной речи или разговорной). В то же время в языке науки отсутствует (или почти отсутствует) такая существенная для других разновидностей общелитературного языка функция, как эмотивная, или экспрессивная. С другой стороны, язык науки — более широкое понятие по сравнению с общелитературным языком, поскольку язык науки включает в себя специальную терминологию, которой именуются научные понятия, стоящие за пределами обычной, непрофессиональной сферы общения. А сами средства выражения этих наименований (символика) выходят за пределы обычных словесных знаков⁹. Язык науки возник и развивался на базе общелитературного языка, поэтому, естественно, основу языка науки составляет лексика, словообразование, грамматика общелитературного языка, на принципах которых создаются лексическая, словообразовательная, грамматическая подсистемы языка науки.

Однако этим не исчерпываются материальные единицы языка науки. Они дополняются такими средствами, которые выходят за рамки понятий и общенационального, и общелитературного языков, но оказываются в пределах общей семиотической системы. Это знаки, символика в широком смысле, которые так естественно входят в арсенал средств выражения специальных понятий современного языка науки в силу того, что «позво-

⁸ Данная работа не относится к области функциональной стилистики, поэтому в ней не предполагается детальная разработка вопросов, связанных с функциональными стилями. Важно было только подчеркнуть, что мы придерживаемся той точки зрения, согласно которой возможно выделение понятия разновидностей общелитературного языка, в отличие от понятия функциональных стилей.

⁹ См.: В. Ш. Рубашикин, Математическая логика и язык науки, ВФ, 1973, 1, стр. 112.

ляют выражать соответствующие понятия... в с о к р а щ е н н о й ф о р м е»; «имеют, по условию, совершенно точное значение»; «фиксируют и такие понятия, для которых... вообще нет соответствующих словесных выражений»; «содействуют установлению структурного е д и н о о б р а з о в а н и я, единства некоторых общих закономерностей в различных областях действительности»¹⁰.

Язык науки — понятие историческое. На русской почве истоки развития языка науки ведут к началу XVIII в. К этому времени приурочивается формирование многих научных терминологий, поскольку именно в этот исторический период происходит развитие многих наук в России, подготовка специалистов для новых областей знания и практической деятельности, написание учебных пособий, создание специальных словарей¹¹. Язык науки претерпевал и претерпевает в своем развитии заметные изменения. Эти изменения определялись, с одной стороны, процессами в самом общелитературном языке, на базе которого формировался язык науки, а с другой — особенностями развития науки в разные исторические периоды.

Современный язык науки, безусловно, имеет существенное отличие от языка науки в XVIII в. (тогда он только зарождался, и его связь с общелитературным языком была значительно более тесной) и даже в начале XX в. Общие процессы развития языка науки сводились к формированию в нем таких свойств и средств, которые бы обеспечивали реализацию основных его функций, т. е. к формированию особого номинативного фонда, обеспечивающего образование специальных наименований, к выработке семантически специализированных словообразовательных средств, с помощью которых создаются наименования основных категорий понятий, к отбору морфологических и синтаксических средств, наиболее целесообразных для научных текстов. Особенно заметной стала тенденция к формализации средств выражения специальных понятий. В связи с этим резко увеличивается роль символики в терминообразовании. Появление формализованных (искусственных) языков (информационных, информационно-логических, языков программирования и т. п.) также оказало определенное воздействие на язык науки.

Ядро, основу языка науки, его лексики составляет терминология, представляющая собой общую совокупность наименований специальных понятий разных наук и соответствующих областей практической деятельности. В целом, в лексическом составе языка науки можно отметить по крайней мере четыре слоя¹².

1. Знаменательные слова общеобиходного употребления, наличие которых для языка науки совершенно необходимо. Они составляют нейтральную словесную ткань специального текста или речи. В их числе есть и глаголы (*изучать, работать, публиковать, действовать, выполнять, описывать, составлять, выяснять, решать, определять, преобразовывать, подытоживать, воспроизводить, измерять, проверять, включать* и т. п.), и имена существительные (*работа, область, строение, описание, публикация, доклад, соотношение, правило, состояние, средство, целесообразность, сведения, акт, условие, измерение, распределение*), и прилагательные (*новый, старый, правый, левый, правильный, убедительный, обратный, прогрессивный, достаточный, целесообразный* и т. п.).

¹⁰ Л. О. Р е з н и к о в, Гносеологические вопросы семантики, Л., 1964, стр. 303.

¹¹ См. об этом: Л. Л. К у т и н а, Формирование языка русской науки, М. — Л., 1964; е е ж е, Формирование терминологии физики в России, М. — Л., 1966.

¹² Ср. подобную классификацию в книге: А. М о л ь, Социодинамика культуры, М., 1973, стр. 41.

2. Служебные слова общеобиходного употребления, выполняющие роль логических организаторов определенных формулировок и фраз специального текста или речи (*и, или, не, если ... то, но, ибо, то же* и т. п.).

3. Общенаучные слова, составляющие такой класс слов, употребление которых не ограничивается рамками лексического состава одной науки. Кроме того, они, как правило, входят на правах так называемых книжных слов и в лексику общелитературного языка (*наука, процесс, организм, метод, функция, функционирование, отрицание, циркуляция, информация, тождество, моделирование, формация, реакция, аналогия, фактор, субъект, формула; эквивалентный, вероятностный, функциональный, моделированный, объективный, субъективный* и т. д., и т. п.)¹³.

4. Собственно терминологическая лексика, распределенная по отдельным терминосистемам и составляющая в сумме лексико-семантическое ядро языка науки. Специальная терминология включает в свой состав наименования определенных категорий понятий, таких, как наименования наук, процессов, действий, предметов, объектов исследования; наименования свойств и качеств предметов; наименования лиц и некоторые другие: *кибернетика, алгоритм, логическая схема; электроника, теория игр, теория автоматов; генетика, условный рефлекс, ген, молекула, хромосома, протеин, генотип; абсолютная истина, абстрактное; суффикс, синтаксис; ямб, дактиль; хорда, косинус* и т. п.

Все четыре слоя лексики языка науки объединяются тем, что они относятся к словесным средствам выражения специальных и общих понятий.

Вторая разновидность средств выражения в лексике языка науки представлена символикой, в число которой входят разного рода обозначения с помощью букв русского, латинского или греческого алфавитов, условных знаков, формул и т. п. Символические средства языка науки очень разнообразны и по своему набору, и по возможности выражения с их помощью понятия.

В составе научной символики можно выделить и целые системы типа символики математической логики, символики традиционной логики, химической символики и т. п., и набор определенных символов, possessing характер межнаучных обозначений типа ° (градус), ' (минута), % (процент) и т. п., а также единичные символические обозначения типа: √-образное соединение, ∪-образное соединение, ∩-образное соединение и др. Кроме того, в составе символических средств выражения специальных понятий есть такие, которые можно назвать семантически пустыми. Эти символы типа α, β, γ..., или А, В, С..., или а, б, в... и т. п., наполнение которых конкретным содержанием осуществляется в конкретных науках. Подобные символы также выражают понятия, но «понятия особые, не связанные с реальными вещами. Это понятия математических чисел»¹⁴, физических величин и их отношений.

Основной особенностью символических средств выражения специальных понятий является их почти обязательная соотношенность со словесными средствами выражения тех же понятий. Ср.: || — абсолютная истина, ⊂ — включение, ⊢ — выводимость, ≠ — неравнозначность, ⊥ — знак отбрасывания и т. п. в символике математической логики; или А — общеутвердительное суждение, А есть А — закон тождества, Е — общеотрицательное суждение и т. п. в символике традиционной логики.

¹³ Е. Н. Толкина также выделяет «класс общенаучной лексики», который характеризует как принадлежность «современному книжному стилю» [Е. Н. Т о л к и н а, Термин в толковом словаре (к проблеме отбора), в кн.: «Вопросы исторической лексикологии и лексикографии восточнославянских языков», М., 1974, стр. 86].

¹⁴ А. А. Р е ф о р м а т с к и й, Введение в языковедение, М., 1967, стр. 71.

Не менее существенной особенностью символических средств языка науки является их условность, конвенциональность. Они должны быть приняты, усвоены, поскольку их значение интуитивному восприятию не поддается.

Итак, терминология как специальная лексика, именуемая специальными понятиями разных областей знания, принадлежит особой функциональной разновидности общелитературного языка, словарному составу языка науки. Большинство терминов почти никогда не выходит за пределы лексики языка науки, оставаясь доступными только специалистам определенной отрасли науки или практики. Конечно, многие термины «знакомы» и широкому кругу носителей литературного языка. Иные из них становятся фактом общелитературного языка, так как включаются в толковые словари общелитературного языка, употребляются в языке художественной литературы, в обиходно-разговорной речи неспециалистов. И все-таки это только приблизительное представление о том или ином термине, так как истинное знание содержания понятия, стоящего за термином, и употребление термина в его прямой функции предполагает принадлежность к определенной научной или производственной сфере. Это отнюдь не означает, что специальная лексика языка науки лишена связей с общелитературной, общеобиходной лексикой. Связь между ними и функциональная, и генетическая, потому что общелитературный язык был и остается на всем протяжении развития языка науки основным источником образования и пополнения терминов. Многие термины появились как семантические неологизмы на базе общеупотребительных слов, например, *круг, свет, скорость, сила, тяжесть, движение, время, тело, тепло, усталость* (металла), *странность* (частиц), *память* (машины) и т. п.

Многие термины относятся к так называемой полифункциональной лексике, т. е. такой, которая обслуживает разные сферы — общеобиходную и специальную (*луна, земля, вода, кровь, сердце, дождь* и т. п.). От семантических неологизмов полифункциональные слова отличаются тем, что у первых совпадают только означающие (при разных означаемых), а у вторых совпадают и означающие, и означаемые. Разница между полифункциональными словами в объеме содержания понятия, в объеме заключенной в них информации. В этом нетрудно убедиться, сравнив определения слова в толковом словаре общелитературного языка и термина (внешне совпадающего со словом) в специальных словарях. Ср. *Предвидение* (по 17-томному «Словарю современного русского литературного языка»): 1. Действие по знач. глаг. *предвидеть* (предвидеть — предугадывать, видеть заранее, наперед, что должно произойти. // На основе изучения фактов, данных и т. п. делать верный вывод о направлении развития, о возможности наступления чего-либо). 2. Способность предвидеть будущее, предугадывать то, что должно произойти (т. 11, стр. 105—106), и: *Предвидение* (по проекту терминологии «Прогностика», издание КНТТ АН СССР, М., 1975, стр. 9): Опережающее отображение действительности, основанное на познании законов природы, общества и мышления.

Многие термины были созданы и создаются теперь на основе общеобиходных слов средствами деривации. Таковы старые по образованию термины — *сложение, вычитание, деление, умножение* и сравнительно новые — *дождевание, глинизация, адресность* (машины), *луговость* и т. п. Все эти термины, генетически связанные с общеобиходными словами, попав в специальную сферу, приобретают черты самостоятельности по отношению к общелитературной лексической системе и функционально, и семантически. Став членами другой лексической системы, термины начинают подчиняться другим лексико-семантическим процессам, которые диктуются и определяются прежде всего особенностями развития науки, а так-

же подвижным, текучим, изменчивым характером явлений действительности, в результате чего «понятия тоже подвержены изменению и преобразованию»¹⁵. В терминах это выражается в подвижности семантики при постоянстве языкового знака, что является или результатом исторического развития понятия (*атом, кибернетика*), или результатом разной интерпретации учеными сущности изучаемого объекта или явления, проистекающего из различий в аспектах его изучения (*информация*), а также следствием разных методологических позиций (*материя, демократия*). Для терминологии характерен и другой, прямо противоположный процесс, выражающийся в подвижности знака при относительном постоянстве означаемого. Такая ситуация возникает чаще всего в начальные периоды формирования новых терминологий или отдельных терминов, когда идет поиск, отбор из ряда вариантов лучшего, более соответствующего содержанию понятия наименования. Так возник, вернее, укрепился, например, термин *витамины*, которому предшествовали и описательные наименования — «добавочные пищевые вещества», «факторы роста», «пищевые факторы» и однословные наименования — «нутрины» и некот. др. Разные знаки для одного означаемого появляются также и в тех случаях, когда наименования даются в разных языках. Так, полиамидные волокна, выпускаемые в разных странах, имеют разные наименования: *капрон* (СССР), *нейлон* (США, Англия), *перлон* (ГДР), *силон* (Чехословакия), *стилон* (Польша), *амилон* (Италия, Испания, Япония), *грилон* (Швеция), *рильсон* (Франция), *энкалон* (Голландия). Разные наименования появляются и тогда, когда одному и тому же предмету (материалу, в данном случае) даются разные названия в зависимости от сферы функционирования, например, торговое, химическое и техническое названия: *лавсан, полиэтилентерефталат, терепласт*.

Принадлежность терминологии языку определяет тот факт, что общезыковые лексико-семантические процессы (полисемия, омонимия, синонимия, антонимия), которыми термины так или иначе «охлажены», протекают в них в сокращенном объеме и преобразованном виде, которые не нарушают принципов функционирования терминов в языке науки. Так, полисемия в терминологии проявляется главным образом как категориальная многозначность и на основе метонимического переноса значения свойства и величины (*твердость, стойкость*), процесса и величины (*давление*), явления и величины (*электрический ток*), процесса и явления (*излучение*) и т. д. В реальном функционировании терминов явление категориальной полисемии в языке науки нейтрализуется стандартным контекстом. Омонимия находит выход в терминологию только в той ее разновидности, которая является результатом, «продолжением» полисемии, т. е. превращения многозначности слова в самостоятельные слова, которые обязательно расходятся в разные отраслевые терминологии (межсистемная омонимия). Синонимия реализуется в лексике языка науки, прежде всего в ее семантической (а не стилистической) разновидности, со свойственными ей функциями замещения и уточнения, и является порождением разных источников формирования терминов (национальный и заимствованный) или разных способов образования (полный и краткий вариант наименования) и некот. др. Антонимия в языке науки выступает как один из регулярных принципов наименования понятий с противоположным содержанием и реализуется в двух типах: лексическом (*точечные и протяженные структуры*) и словообразовательном (*частица — античастица*,

¹⁵ В. И. С и ф о р о в, Методологические вопросы науки об информации, ВФ, 1974, 7, стр. 105—106.

макроструктура — микроструктура, блокирование — деблокирование, стабильная — нестабильная частица и т. п.).

Язык науки, связанный непосредственно с конкретными областями науки и практики, определяет потребности в новых специальных терминологических наименованиях, используя в качестве источников пополнения терминологии прежде всего ресурсы общелитературного языка (наряду с интернациональным фондом, заимствованиями из других национальных языков и также своими внутренними резервами). Язык науки предопределяет и конкретные способы и приемы номинации разных категорий понятий, применяя для этого как общелитературные словообразовательные модели, так и специализированные, собственно терминологические, поскольку для терминологического ряда желательным является, чтобы понятия одной категории были образованы по возможности по одной модели. Таковы, например, образования наименований минералов от основ имен собственных посредством суффикса *-ит*, образования единиц структуры языка в лингвистической терминологии посредством форманта *-ема* и т. п.

Только при условии анализа терминологии в составе языка науки становятся понятными и объяснимыми особенности системной организации терминологии (системность в научных терминологиях является отражением изучения и описания структуры исследуемого объекта или явления); тип лексического значения, реализуемого в терминологических наименованиях (в терминологической лексике преобладает, как правило, один тип лексического значения — прямое или номинативное значение, соответствующее природе терминологии с предметно-логическим принципом соотношения означаемого и означающего); критерии оценки словоупотребления и словообразования в терминологии (для терминологии, например, тавтология, стилистически нежелательная в общелитературном словоупотреблении, является часто необходимым приемом создания специального наименования типа *электронно-электронный переход, жидкостно-жидкостный теплообменник, воздушно-воздушный теплообменник, одно-однозначное соотношение* и т. п.).

Только потребностями языка науки диктуются факты, когда в терминологическом словообразовании происходит специализация словообразующей морфемы на выражении такого значения, которое не свойственно общелитературному словообразованию [например, суффикс *-ист(ый)* в терминах-прилагательных может выражать малую степень качества]. Только тогда, когда терминология изучается как принадлежность лексике языка науки, возможно говорить о влиянии терминологической лексики на общелитературную, о воздействии терминологического словообразования на общелитературное.

Таким образом, на вопрос, какое место занимает научная терминология в лексической системе языка, можно ответить с достаточной определенностью: научная терминология принадлежит лексике языка науки. Язык науки представляет собой самостоятельную функциональную разновидность общелитературного языка, т. е. является автономной подсистемой по отношению к общелитературному языку со своими функциями, средствами выражения и специфичными приемами их организации, с особыми критериями оценки. С лексикой общелитературного языка терминологию связывают общие генетические каналы и общая словообразовательная база. Однако терминология обладает и такими чертами и признаками структурного, семантического характера, которые не свойственны общелитературной лексике, и это дает ей возможность развиваться по иным законам и процессам и оказывать влияние на тенденции развития лексики и словообразования русского языка в целом.

Т. И. ДЕШЕРИЕВА

**К ПРОБЛЕМЕ СООТНОШЕНИЯ ГЛАГОЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ
ВИДА И ВРЕМЕНИ**

Особенности соотношения глагольных категорий вида и времени определяются особенностями соотношения систем аспектуальности и темпоральности.

Аспектуальностью мы называем все средства выражения в языке «характеров» и «способов действия». Категория глагольного вида, соотносящая предикацию с одним или более «характерами действия» через посредство соответствующих «способов действия», входит в аспектуальность как ее часть.

Темпоральностью называется совокупность языковых средств, выражающих сущность физического и философского аспектов категории времени. Категория глагольного времени (совокупность временных глагольных форм) — часть темпоральности, выраженная средствами глагольной морфологии.

В любом языке история развития темпорально-аспектологической, а следовательно, и видо-временной систем может иметь свои специфические особенности. Однако все это допустимое многообразие путей развития, на наш взгляд, может быть сведено к таким трем типам:

1. Первоначально независимое развитие систем темпоральности и аспектуальности с их последующим взаимодействием, взаимовлиянием, что имело место, например, в славянских языках. Здесь довольно развитая система грамматических времен, характерная для старославянского, значительно сократилась в результате взаимодействия с не менее развитой системой видов, столь типичной для современных славянских языков¹. Попытка представить универсальным этот путь развития видо-временной системы языка содржится в работах Б. Гавранка². Эту точку зрения последовательно развивают в своих исследованиях Л. Андрейчин, М. Деянова, В. Станков, И. К. Бунина и некоторые другие исследователи славянских языков³. Сторонники такой точки зрения на соотношение категорий вида и времени стремятся дать в своих исследованиях чисто хронологическую интерпретацию временной системы языка, описывая ее в терминах абсолютных и относительных времен.

2. Первичность аспектологической системы и развитие на базе ее средств выражения системы временных отношений. При этом система временных глагольных форм может вообще не получить развития, как это

¹ См.: И. К. Бунина, Система времен старославянского глагола, М., 1959; Ф. П. Филин, Происхождение русского, украинского и белорусского языков, Л., 1972, и др.

² См., например: Б. Гавранек, Вид и время глагола в старославянском языке, сб. «Вопросы глагольного вида», М., 1962.

³ См., например: Л. Андрейчин, Грамматика болгарского языка, М., 1956; М. Деянова, Към въпроса за функционалния развой на перфекта в славянските езици, «Славистичен сборник», София, 1963; В. Станков, Имперфектът в съвременния български книжовен език, София, 1966; И. К. Бунина, История глагольных времен в болгарском языке, М., 1970, и др.

имело место, например, в китайском языке⁴. К числу языков с исходной аспектологической системой относятся также иберийско-кавказские языки. В существующей кавказоведческой литературе представлена точка зрения о вторичности временной системы в этих языках. Задачей наших исследований было уточнение ряда положений этой гипотезы. Е. Курилович считает именно этот путь развития видо-временной системы языка универсальным⁵. Попытка доказать первичность аспектологической системы в индоевропейском праязыке содержится в исследованиях И. В. Нетушила по греческому языку⁶. Применительно к семитским языкам эта точка зрения на путь развития видо-временной системы обосновывается Фр. Мюллером; в болгаристике ее разделяет Ю. С. Маслов (правда, не столь последовательно)⁷.

3. Первичность временной системы и развитие на базе ее средств выражения системы аспектологической — например, в тюркских языках. Здесь категории глагольного вида (при наличии довольно развитой временной системы) находится в стадии развития и становления, имея, в основном, аналитическую форму⁸.

Нам представляется неправомерным признание у н и в е р с а л ь н о с т и какого бы то ни было пути развития видо-временной системы языка, потому что неизбежным следствием такого признания является категорическое суждение о единственно возможном соотношении глагольных категорий вида и времени. Так, например, для исследователей, считающих универсальным тезис Б. Гавранка о независимости аспектуальности и темпоральности (Л. Андрейчин, И. К. Бунина и др.), является неизбежным также тезис о независимости категорий вида и времени; для исследователей, считающих универсальным путь развития временной системы языка из системы аспектологической (Е. Курилович, Ю. С. Маслов и др.), вид и время — это единая синкретическая категория. В связи с этим отметим, что Е. Курилович, например, в категориях вида и времени видит общее содержание «совершенности». Отличие категории времени от категории вида сводится им лишь к тому, что в категории времени «совершенство» обязательно оказывается соотносенной с моментом речи. «Западно-европейские в р е м е н а содержат два элемента, — пишет Е. Курилович, — 1) вид, 2) временную вежу, с которой соотносится вид»⁹. При этом истинным, конституирующим, содержанием глагольных форм признается вид. В категории времени русского языка, по его мнению, понятие «временной вежи» не составляет главного, конституирующего, содержания; оно просто отсутствует.

Различия между системами времен в славянских (кроме болгарского) и в западноевропейских языках относятся к различиям количественного порядка, поскольку количество времен в данной системе определяется количеством глагольных форм, в которые входит элемент, именуемый Е. Куриловичем «временной вежей». В содержании западноевропейских и болгарских форм времени этот элемент присутствует, чем и объясняется наличие в этих языках разветвленной системы времен с двумя рядами

⁴ Е. Н. Горелова. В. И. Горелов, Китайский язык, М., 1962; В а н Л я о-и, Основы китайской грамматики, М., 1954, стр. 110—113.

⁵ См.: Е. Курилович, Происхождение славянских глагольных видов, сб. «Вопросы глагольного вида», М., 1962.

⁶ И. В. Нетушил, Об основных значениях греческих времен, ЖМНП, 1891, июнь (Отдел классической филологии).

⁷ См.: Fr. Müller, Grundriss der Sprachwissenschaft, III, Abt. 2, Wien, 1885; Ю. С. Маслов, Морфология глагольного вида в современном болгарском литературном языке, М.—Л., 1963.

⁸ См.: «Языки народов СССР», II — Тюркские языки, М., 1966.

⁹ Е. Курилович, Очерки по лингвистике. Сборник статей, М., 1962, стр. 142.

форм — относительных и абсолютных. Русским же формам, по мнению Е. Куриловича, указание на систему отсчета не свойственно: соотношение действия, обозначенного формой времени, с «моментом речи» или со временем какого-либо другого действия выражается в русском языке с помощью других средств (различных обстоятельств времени, временных союзов) или выясняется из общего контекста.

В результате проведенного исследования структур семантических полей актуальности и темпоральности и, в частности, структур семантических полей глагольных категорий вида и времени с помощью ранее разработанного нами метода ¹⁰ можно сделать вывод, что видовое и временное значения сосуществуют в глагольных формах, сохраняя определенную (относительную) самостоятельность и специфику, никогда не переходя одно в другое. Основным содержащим временной глагольной формы в любом языке (в том числе и в русском) является не понятие вида («совершенности», по Куриловичу), а соотношенность с абсолютной или относительной системой отсчета лингвистического времени. Наши исследования подтвердили гипотезу И. К. Буниной о том, что понятие «совершенности» вообще не входит в содержание категории времени ¹¹. Возвращаясь к схеме Е. Куриловича, заметим также, что в ней сознательно опущены формы будущего времени. Это обстоятельство и позволяет автору свести содержание форм времени к комбинации видовых понятий совершенности и несовершенности. Глагольное будущее время он называет наклонением ¹².

Как известно, модальная трактовка форм будущего времени имеет свою традицию, восходящую, например, к работам Е. Лерха, Х. Фосслера в романистике и к работам М. Янакиева в болгаристике ¹³. Однако, как справедливо отмечает И. К. Бунина, предшественники Е. Куриловича и М. Янакиева были более осторожны при решении этого вопроса и отмечали, что понятие будущего времени содержит два элемента: объективный и субъективный. Ш. Балли, например, понимал под объективным элементом «идею будущего», а под субъективным — модальный элемент; А. Мей также придерживался мнения о двойственности категории будущего времени ¹⁴. Построенная нами модель лингвистического времени подтверждает вывод о неправомерности отказа от рассмотрения в семантике категории будущего времени ее основного элемента — «идеи будущего», т. е. вполне определенной соотношенности этой временной глагольной формы с абсолютной или относительной точкой отсчета в модели лингвистического времени ¹⁵.

В русском языке дифференциация временных глагольных форм отсутствует в повелительном, сослагательном наклонениях и в инфинитиве. Это происходит потому, что в указанных наклонениях смысловая соотношенность действия с абсолютной или относительной системой отсчета лингвистического времени не существенна. Доминирующими в семантике русских глагольных форм повелительного и сослагательного наклонений

¹⁰ См.: Т. И. Дешериева, Структура семантических полей чеченских и русских падежей, М., 1974.

¹¹ И. К. Бунина, Система времен старославянского глагола, стр. 24—25.

¹² Е. Курилович, Очерки по лингвистике, стр. 144.

¹³ E. Leisch, Die Verwendung der romanischen Futurums als Ausdruck eines sittlichen Sollen, Leipzig, 1919; H. Fossler, Geist und Kultur in der Sprache, Heidelberg, 1925; М. Янакиев, За грамемите в българската граматика «сегашно време» и «бъдеще време», «Изв. на ин-та за български език», кн. VIII, София, 1962.

¹⁴ См. об этом: Э. Косериу, Синхрония, диахрония и история, в кн.: «Новое в лингвистике», III, М., 1963, стр. 251, 257—259.

¹⁵ См.: Т. И. Дешериева, Лингвистический аспект категории времени в его отношении к физическому и философскому аспектам, ВЯ, 1975, 2.

являются компоненты семантического поля модальности, а для формы инфинитива — номинация действия или процесса.

Таким образом, исследуя соотношение глагольных категорий вида и времени как правильную часть соотношения систем аспектуальности и темпоральности, мы приходим к выводу об относительной самостоятельности видового и временного значений в глагольной форме¹⁶. А это значит, что, в принципе, возможен любой из трех описанных выше типов исторического развития видо-временной системы языка; неправомерно говорить о каком то ни было у н и в е р с а л ь н о м пути ее развития. Это подтверждается языковой реальностью. В частности, применительно к нахским языкам, на наш взгляд, можно вполне уверенно говорить (причем в гораздо более категорической форме, чем это принято в известной нам кавказоведческой литературе) о первичности аспектуальности, первоначально представленной категориями однократного и многократного способов действия. В результате проведенных исследований мы считаем правомерным говорить о категории вида и о совершенном и несовершенном видах (как основных компонентах этой категории) в современных нахских языках.

По нашему мнению, в нахских языках основа настоящего времени — это типичная основа несовершенного вида. От нее образуются прошедшее несовершенное, будущее несовершенное («возможное»), деепричастие несовершенного вида. Например: чеч. *õху* — *õхура* — *õхур* — *õхуш*; инг. *оах* — *оахар(а)* — *оахарнда* — *оахаш*; бацб. *ãхo* — *ãхор* — *ãхор* — *ãхош* «пашу — пахал — буду пахать — *пахая».

Основа так называемого недавнопрошедшего времени является основой совершенного вида. От нее образуются (в соответствии с нашей терминологией) прошедшее совершенное очевидное, прошедшее совершенное абсолютное, совершенное давнопрошедшее, причастно-деепричастная форма совершенного вида. Например: чеч. *ẽхи* — *ẽхира* — *аьна* — *аьнера* — *аьна*; инг. —, — *аьхар* — *аьхад* — *аьхадар* — *аьха*; бацб. *ãхи* — *ãхина* — *ãхир* — *аихнõр* — *ãхина* — *аихнõралo*. Бацбийская форма *аихнõралo* — это дополнительная форма давнопрошедшего неочевидного.

Лишь будущее совершенное («фактическое») образуется от основы настоящего времени в чеченском языке с помощью вспомогательного глагола-связки *ду-бу-ву-ю* и без вспомогательного глагола — в ингушском и бацбийском языках. Например: чеч. *õхур ду*; инг. *оахар*; бацб. *ãхо* «вспашу».

Исключительный интерес представляет в нахских языках повелительное наклонение, в котором аффиксы *-л-*, *-ла-* мы считаем морфологическим выражением совершенного вида. Например: *дẽша* «читай» (несов. вид); *дẽша-л* «прочти-ка» (сов. вид); *дẽшахь* «читай» (несов. вид); *дẽша-ла-хь* «прочти» (сов. вид); *дẽш-ийш* «читайте» (несов. вид); *дẽша-ла-ш* «прочтите» (сов. вид). В этом наклонении глагол вообще не изменяется по временам, но изменяется по лицам, числам и виду.

Аблаутные чередования в глагольных основах, маркирующие аспектные различия, являются древнейшими. В современных нахских языках они маркируют формы совершенного — несовершенного видов, семантические поля которых содержат, кроме, соответственно, однократности — Од(х) и процессности с оттенком многократности — П_{мнк}(х), еще ряд других способов действия, например: результативный (с оттенком фишитности — Р_ф(х) и др.), ингрессивный — Ин(х), процессный с оттенком эволютивности — П_{эв}(х) и др. Ср. *сатта* — *ситта* «согнуть — гнуть», *йала* — *иййла* «кончить — кончать», где аблаутное чередование *a/u* (*ий*)

¹⁶ О структуре семантического поля категории глагольного вида см.: Т. И. Дешериева, К проблеме определения категории глагольного вида, ВЯ, 1976, 1.

маркирует формы совершенного — несовершенного видов, в семантические поля которых входят, соответственно, $P_{\phi}(x)$, $P_{\text{МК}}(x)$. То же можно сказать об аблаутном чередовании $o/ий$ в формах *тхъоеса* — *тхъийса* «заснуть — засыпать» и чередовании $e/ий$ в формах *леца* — *лийца* «поймать — ловить». В формах *Іаха* — *ІиэІа* «заблеть — блеть», *къажа* — *къиэжа* «улыбнуться — улыбаться», чередование $a/иэ$ маркирует формы совершенного — несовершенного видов с семантическими полями, содержащими, соответственно, $Ин(x)$, $Од(x)$ и $P_{\text{МК}}(x)$.

Чередования, различающие основы временных форм, являются более поздними. Они возникли в результате регрессивной ассимиляции гласных глагольных основ с гласными временных аффиксов, что отмечалось в кавказоведческой литературе.

В. И. АБАЕВ

О ТЕРМИНЕ «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ЯЗЫК»

Когда мне впервые встретилось выражение «естественный язык» («natural language»), я подумал, что речь идет о языке животных. Оказалось, однако, что имеется в виду человеческая речь. Если слова имеют еще какой-нибудь смысл, то «естественное» в применении к человеку может означать только «биологическое» и ничего более. Надо быть крайне неразборчивым в употреблении терминов, чтобы языки Гомера, Фирдоуси, Данте, Шекспира, Пушкина называть «естественными», т. е. явлением биологического уровня. Элементарной истиной является то, что язык возникает не на биологическом, а на социальном уровне. Это справедливо как в онтогенетическом плане (в развитии индивида), так и филогенетическом плане (в развитии человечества в целом). Ребенку не надо учиться, скажем, сосать грудь, потому что это — его естественная, биологическая функция. А языку он учится, как позднее учится письму, или нотной грамоте, или любому другому искусству и мастерству. Если ребенок растет не у родителей, а в иноязычной среде, он начинает говорить на этом «чужом» языке; именно потому, что язык — приобретаемая, а не естественная способность. Иначе обстоит дело с естественным языком животных. Если цыпленок-петушок растет в обществе гусей, он все равно будет кукарекать по-петушину, а не гоготать по-гусиному. Точно так же осленок, выросший в конском табуне, не будет ржать по-лошадиному, а будет реветь по-ослиному. Пусть извинит мне читатель упрощенность моих примеров: примитивные ошибки приходится опровергать примитивными же доводами.

Если в онтогенезе не может быть речи ни о каком естественном, т. е. биологически присущем и биологически детерминированном языке, то не иначе обстоит дело и в филогенезе, в развитии всего человечества. Хотя происхождение языка во многом еще окутано тайной, несомненно одно: язык неразрывно связан с коллективным опытом и сознанием и родился вместе с ним. Человечество совершило скачок от бессознательно биологического бытия к осознанно социальному бытию, и язык был одной из объективаций этого скачка. Странно и парадоксально называть «естественным» то, что было первейшим признаком преодоления естественного, — язык. Насколько мы можем проникнуть в глубину истории человечества, язык был всегда опознавательным признаком отдельных этнических групп. Этнос же категория не биологическая, а социальная. Язык — это объективация коллективного опыта и сознания в звуковых символах, обработанных в процессе технизации в коммуникативную систему.

Коллективное сознание находит свое выражение не только в языке, но и в фольклоре, литературе, искусстве. Язык, фольклор, литература, искусство, представляя разные формы объективации общественного сознания, образуют единый гуманитарный мир. И если можно говорить об «естественном языке», то должны существовать также «естественный фольклор», «естественная литература», «естественная музыка», «естественная живопись», «естественная скульптура», «естественная архитектура». Нелепость этих словосочетаний очевидна.

Можно подойти к вопросу об «естественности» языка и с другой стороны. Как одна из форм объективации общественного сознания язык стоит в одном ряду с фольклором, литературой и искусством, образуя с ними единый гуманитарный комплекс. Но язык с самого начала обременен еще другой функцией, функцией коммуникативной техники. И здесь язык стоит в одном ряду с другими техническими достижениями человека: знаками письма и другими средствами и приемами сигнализации и информации, с орудиями труда, с оружием, одеждой и пр. Ни к одному из этих в социальной практике обретенных достижений не применимо определение «естественный». Напротив, все они знаменуют разрыв с «естественным», биологическим бытием и переход в качественно новое бытие: технологическое. Теплый мех для медведя — его естественная одежда. Но шуба, спитая человеком из того же меха, не может уже называться естественной одеждой. Точно так же рев медведя — его естественный язык. Но социально отработанная сложная система звуковых символов, которую в течение тысячелетий творчески создавал и обрабатывал человек, никак не может называться естественным языком. Нет другого естественного языка, кроме языка животных.

Возьмем еще один аспект занимающего нас вопроса. Коль скоро наш язык называют *natural language*, «естественным», попытаемся оценить правильность такого наименования с точки зрения латинской корреляции *natura* || *cultura*. Следует ли относить язык к сфере *natura* или к сфере *cultura*? Слово *natura*, производное от *nascor* «рождаться», по словарю И. Х. Дворецкого и Д. Н. Королькова (1949) означает: «рождение», «природные свойства», «природная склонность», «природа», «первичная материя», «основное вещество». Слово *naturalis* по словарю И. Х. Дворецкого и Д. Н. Королькова: «естественный», «созданный природой», «физический», «природный», «врожденный». Слово *cultura*, производное от *colo* «возделывать», «обрабатывать», по словарю И. Х. Дворецкого и Д. Н. Королькова: «возделывание», «обрабатывание», «уход», «воспитание», «образование», «развитие» (например, души, *animi*)¹.

Вопрос, стало быть, стоит так: относится ли язык к природным, созданным природой, врожденным свойствам человека или к тем его способностям, которые приобретаются возделыванием, обработыванием, воспитанием, развитием? Мы показали выше, что и в онтогенетическом, и в филогенетическом плане справедливо только последнее. Среди нескольких тысяч национальных языков, известных на земном шаре, нет ни одного врожденного, природного. Все они «возделывались» говорящим коллективом в течение тысячелетий и заново усваиваются и «возделываются» каждым индивидом. Нет, стало быть, и тени сомнения, что в корреляции *natura* || *cultura* язык относится всецело к сфере *cultura*, а не *natura*.

Наконец, возможен еще один подход к оценке того, является ли человеческий язык «естественным»: с точки зрения характера связи между звучанием и значением в языке. Платон в диалоге «Кратил» излагает два взгляда на этот предмет. Согласно одному, эта связь существует от природы, φύσει: «... у всего существующего есть правильное имя, врожденное от природы». Согласно другому, такая связь существует только по обычаю или установлению, θέσει: «... никакое имя никому не врождено от природы, но принадлежит на основании закона и обычая...». Рассуждения участников диалога (Кратил, Гермоген, Сократ) оставляют двойственное впечатление. Кажется, что Платон не склоняется решительно ни на одну

¹ См.: «Латинско-русский словарь», сост. И. Х. Дворецкий и Д. Н. Корольков, М., 1949.

из двух точек зрения. Это нетрудно понять, если учесть, что спорящие не выходят за рамки греческого языка и аргументируют исключительно лексическими и наивно-этимологическими примерами, взятыми из этого языка. Спор между φύσει и θεσει принципиально неразрешим, если оставаться в н у т р и одного языка. Если бы на свете существовал только один язык, он казался бы говорящим индивидам единственно возможным и, стало быть, «естественным». Оспаривать такое убеждение было бы нечем. Только сопоставление данных нескольких языков дает бесповоротный ответ на спорный вопрос. Точка зрения φύσει полностью опровергается тем простым фактом, что один и тот же предмет в разных языках называется разными звуковыми символами. Это было бы невозможно, если бы природа вещи допускала для нее только одно, «правильное» наименование. Многообразие человеческих языков неопровержимо доказывает условный, символический характер языкового знака и тем самым сближает человеческий язык с любыми другими символическими знаковыми системами и отделяет пропастью от естественного языка животных. Между звучанием и значением в человеческом языке нет е с т е с т в е н н о-необходимой связи, есть только связь о б щ е с т в е н н о-необходимая, обусловленная традицией и потребностью взаимопонимания в пределах говорящего на данном языке коллектива. Эта общественно-необходимая связь и есть то, что Платон называет θεσει «по установлению», «по обычаю».

Название «естественный язык» в применении к человеческой речи представляется рецидивом теории φύσει, рецидивом в XX в., после полутора-векового существования сравнительно-исторического языкознания. Такой казус кажется трудно постижимым. Как его объяснить? «Роковую» роль сыграло здесь увлечение семиотикой как общим учением о знаковых системах. Есть такие придуманные человеком знаковые системы, как знаки семафора, флажковая сигнализация, азбука Морзе, математическая символика и пр. Это — искусственные «языки». В отличие от них традиционные знаковые системы, какими являются языки народов, казалось логичным назвать «естественными». Стало быть, понятие появление этого термина м о ж н о. Говорят, понятие — значит простить. Но на этот раз простить трудно. Термин явно непродуманный и грубо ошибочный. Мы рассмотрели язык с разных сторон: как одну из форм объективации общественного сознания и как коммуникативную технику. Мы приняли во внимание как онтогенетический, так и филогенетический план. Ни в одном мыслимом аспекте человеческий язык не может быть назван естественным феноменом. Напротив, он выступает как преодоление естественного, как его диалектическое отрицание. Мы ввели язык в ряд фундаментальных для нашей темы корреляций:

биологическое	//	социальное
natura	//	cultura
φύσει	//	θεσει

и убедились, что его место неизменно в правой части этих корреляций (социальное, cultura, θεσει), а не в левой, «естественной».

Говоря о месте человеческого языка в классификации семиотических систем, следует учитывать еще одно весьма важное обстоятельство: язык людей приходится соотносить не только с искусственными знаковыми системами, но и с языком животных. Существование у животных различных средств и приемов общения, экспрессии и сигнализации давно установлено и не вызывает сомнения. У некоторых высших обезьян находятся те или иные различные звуковых сигналов, которые не только выражают те или иные эмоции: удовольствие, боль, гнев, страх и пр., но и могут нести ин-

формацию об определенной ситуации, например, ситуации опасности. В последнее время много пишут и говорят о языке дельфинов ².

К языку животных безоговорочно применимо название естественного. В приведенных выше корреляциях его место в левом ряду (биологическое, natura, φύσις). Между языком животных и языком людей существует пропасть, колоссальный качественный скачок, в условия и механизм которого мы не можем до сих пор полностью проникнуть. Если язык животных и язык людей объединить как «естественные» под одной шапкой и вместе противопоставить их искусственным знаковым системам, получается довольно странная картина: на одной стороне кваканье лягушки и язык Пушкина, — это будут «естественные языки»; на другой стороне знаки семифора и математические символы, — это будут «искусственные языки». Более гротескную классификацию трудно себе представить.

Могут сказать, что всякий термин — вещь условная; называй, как хочешь, лишь бы было видно, о чем идет речь. С этим трудно согласиться. Если термин рождает ложные ассоциации, уведит мысль в ложном направлении, то такой термин нельзя считать нейтральным и безобидным. Точность терминов, их соответствие предмету — неперемнное качество подлинно научного познания.

Я предвижу вопрос: каким же термином следует называть человеческие языки, чтобы отмежевать их как от искусственных знаковых систем, так и от естественного языка животных? Можно предложить несколько таких терминов: социальные языки, этнические языки, национальные языки, исторически сложившиеся языки, традиционные языки. Разумеется, ни один из этих терминов не раскрывает полностью специфику языка (от термина этого и нельзя требовать). Но каждый из них с какой-то стороны подводит к этой специфике. А это лучше, чем термин, который представляет эту специфику в ложном свете.

С учетом сказанного классификация знаковых систем («языков») будет выглядеть примерно так:

Естественные языки	Символические языки	
Языки животных	Социальные (этнические, национальные, исторически сложившиеся, традиционные) языки	Конвенциональные (искусственные) языки

² Ср.: Th. S e b e o k, Perspectives in zoosemiotics, The Hague — Paris, 1972.

МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

М. В. СИМУЛИК

СЕМАНТИКО-СИНТАКСИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ ПРЕДИКАТИВНЫХ
ЕДИНИЦ И СТРУКТУРА СЛОЖНОГО ПОЛПРЕДИКАТИВНОГО
ПРЕДЛОЖЕНИЯ В СЛАВЯНСКИХ ЯЗЫКАХ

Проблема изучения структуры сложного предложения приобретает в настоящее время все большее значение, ибо с развитием языка как средства общения развиваются, совершенствуются и способы передачи мыслей, которые оформляются в самые различные виды предложений. В предложении же переплетаются все сферы, в которых существует язык, все функции, которые он выполняет. Отсюда чрезвычайно большое разнообразие тех форм, в которых существует предложение, т. е. его типов или моделей¹.

Сложное полипредикативное предложение (далее СПП) как одна из форм основной синтаксической единицы нуждается, на наш взгляд, в определенном осмыслении, объяснении и обобщении. В восточнославянской языковой традиции такие конструкции принято называть сложными предложениями усложненного типа, сложными предложениями с несколькими придаточными, многочленными сложноподчиненными, сложными синтаксическими конструкциями и т. п. Современные славянские языки чрезвычайно богаты различными конструкциями сложных предложений с различными отношениями подчинения и сочинения. Эти отношения нельзя ограничивать только теми, которые устанавливаются между частями обычного сложноподчиненного или сложносочиненного предложения, или, как отмечается в работах последнего времени, сложного предложения минимальной конструкции, и поэтому оказывается невозможным сводить роль сложного полипредикативного предложения только к «комбинациям минимальных конструкций» и вести их синтаксическое описание лишь со стороны характера присущих им комбинаций². Значение СПП, как и обычного сложного предложения, нельзя рассматривать как сумму значений предикативных единиц, из которых оно образовано по способу сочиненной или подчиненной связи.

Семантико-синтаксическая связь между частями СПП играет большую роль, ее в первую очередь и следует принимать во внимание. Проблема «самостоятельности» и «несамостоятельности» предикативных единиц (по традиционной грамматике, простых предложений в составе сложного), полностью относится не только к сложному предложению, но и к предложениям полипредикативным. В зависимости от подхода к пониманию

¹ См.: В. Г. Адмони, Типология предложения, «Исследования по общей теории грамматики», М., 1968.

² См.: «Грамматика современного русского литературного языка», М., 1970, стр. 654.

роли связи между частями СПП существуют два течения, каждое из которых обуславливается тем, какая величина имеется в виду при подходе к анализу структуры СПП: во-первых, целостность сложноподчиненная, к которой присоединяется по способу сочинения другая часть, или целостность сложносочиненная, к которой присоединяется другая часть по характеру построения сложноподчиненная; во-вторых, СПП строится по другому плану — по нарастающей прямой, т. е. когда последующая часть присоединяется к предыдущей не бинарно, а одинарно. Чешские и словацкие лингвисты исходят из бинарности частей в СПП; в восточнославянском языкознании наметилась тенденция к объяснению связи между одинарными частями СПП. Такой подход закрепился и в польском синтаксисе ³.

Дальнейшая детализация семантико-синтаксической связи идет в направлении соединения частей сложного предложения по способу подчинения и сочинения. Доминирующим здесь обнаруживается способ подчинения. Он становится главным и решающим при признании СПП. В зависимости от способа соединения частей сложного предложения наметились и здесь два течения: одни лингвисты признают СПП как сложносочиненные, так и сложноподчиненные ⁴, другие — только сложноподчиненные полипредикативные предложения ⁵. СПП только со связью сочинения последовательно не признаются ни в восточно-, ни в западнославянском языкознании. Последовательно выделяют сложносочиненные полипредикативные предложения в белорусском и польском языкознании ⁶. В последнее время словацкие синтаксисты тоже склонны к признанию сложных предложений только с сочинительной связью как одного из основных типов СПП ⁷.

Большую роль в связи с этим приобретает определение соотношения, с одной стороны, между двумя частями, семантико-синтаксически неподчиненными и семантико-синтаксически подчиненными как в сфере сложносочиненных, так и сложноподчиненных полипредикативных предложений, и, с другой стороны, между двумя и более неподчиненными и двумя и более подчиненными частями. Этого аспекта, хотя и не последовательно, придерживаются Я. Бауэр и М. Грепл и последовательно — Н. С. Валгина при классификации СПП ⁸.

Названный аспект отражает расхождения в восточнославянских, западнославянских и болгарских грамматиках.

В связи с этим целесообразно говорить о первостепенной, или конституирующей, и второстепенной, третьестепенной и т. д. связях между частями СПП, а отсюда — о первом, втором и т. д. центрах связи и

³ См.: Z. K l e m e n s i e w i c z, *Zarys składni polskiej*, wyd. IV, Warszawa, 1963.

⁴ См.: «Грамматика русского языка», II, ч. 2, М., 1954, раздел «Сложноподчиненные предложения» (авт. А. Б. Шапиро); Ф. К. Гужва, *Современный русский литературный язык*. Синтаксис, Киев, 1971; Н. С. Валгина, *Синтаксис современного русского языка*, М., 1973; J. Bauer, M. Grepl, *Skladba spisovné češtiny*, Praha, 1972; K. Svoboda, *Souvěti spisovné češtiny*, Praha, 1972.

⁵ С. И. Абакумов, *Современный русский литературный язык*, М., 1942; А. Н. Гвоздев, *Современный русский литературный язык*, ч. II — Синтаксис, М., 1958; «Современный русский язык», ч. II, М., 1964, раздел «Многочленные сложноподчиненные предложения» (авт. В. А. Белошапкина); Б. М. Кулик, *Курс сучасної української літературної мови*, II, Київ, 1965; Р. Попов, *Съвременен български език*. Синтаксис, София, 1962, и др.

⁶ «Курс сучаснай беларускай літаратурнай мовы», Мінск, 1959, раздел «Склада-назлучаныя сказы ўскладнага тыпу» (авт. Л. І. Бурак); Z. K l e m e n s i e w i c z, указ. соч., стр. 109.

⁷ E. Pauliny, J. Ružička, J. Štolc, *Slovenská gramatika*, vyd. V, Bratislava, 1968; F. Kočíš, *Zložené súvetie v slovenčine*, Bratislava, 1973.

⁸ См.: J. Bauer, M. Grepl, *Skladba spisovné češtiny*, Praha, 1972; Н. С. Валгина, указ. соч.

вытекающем из них первом, втором и т. д. уровне семантического членения.

Под первостепенным уровнем семантического членения и центром связи следует понимать связь между главным и придаточным предложением в сложноподчиненных предложениях с несколькими придаточными и в сложносочиненных предложениях с несколькими частями, т. е. основные положения паратаксиса и гипотаксиса в СПП определяются как раз этой связью.

Например: I. «Это был Свидригайлов, тот самый помещик, в доме которого была обижена сестра, когда служила у них гувернанткой» (Ф. Достоевский); укр. «Надвечір у степу почувся якийсь шум, ніби попереду переїшив дощ, хоч на небі не було жодної хмаринки» (П. Панч); белорусск. «Кірылу падабалася такая непасрэднасьць і тое, што яго ні лічаць яшчэ за старога, калі падбіваюць на жарты» (І. Шамякін); польск. *Wzięła to za potwarz wprost, o której natychmiast chciała napisać wojewodzie, że w nią nie wierzy*» (J. I. Kraszewski); чеш. «Nenamáhal se ani, aby se koutkem oka přesvědčil, kdo to vstoupil» (V. Řezáč); словацк. «A skutočne sa vysvetlilo, že bola prenáhlenosť, čo napísal predošle» (M. Kukučín); хорв. «Govorio sam mu da je Pajtin formirao jednu grupu od četiri omladinca, s kojima se uveliko radi» (Ž. Mihailović); болг. «Вложени са грамадни народни средства, които са видоизменили физиономията на града, които от бедна провинциална паланка е взел размерите на внушителен град» (Л. Стоянов).

II. «Мороз сжимает кулак, и тогда все живое спешит поскорее убраться, и чистый крепкий наст, чуть припорошенный, раскрывается, как белая книга с голубыми следами зверей» (М. Пришвин); укр. «Ліши небо гуде неокрає, та сім'я журавлина на крилах весну піднімає, та ясними ночами зорі світять мечами на Дону, на Дніпрі, на Дунаї» (А. Малишко); белорусск. «Нашто ўжо дзядок быў нястрыманы на язык і ўедлівы дужа, аднак і той адступіўся ад Чубара — вочы яго... схаваліся пад павекамі...» (І. Чыгрынаў); польск. «Był już wieczór i całe M. pogrążyło się w ciemności, z rzadka tylko tu i ówdzie paliła się jakaś latarnia...» (St. Kowalewski); чеш. «Herci a zpěváci se nemají rádi a stýkat se s členy sboru se pokládá za stavovsky nepřipustné, ale Jesenius toužil seznámit se s chóriskou a dívka se mu náhle stala sympatickou» (I. Olbracht); словацк. «(Jej muž. — M. C.) chodil po drotárke aj v prvých rokoch manželstva, avšak neprinášal domov zo sveta žiadnych peňazí a preto napokon zostal doma, na gazdovstve» (P. Jilemnický); серб. «У непрозирной ратной вијавици нагр-ћале су солдатеке небројене и разбојиште често правиле око Хана, а на онемоћалу старку нико ни главе није окретао, нико је више није ни додиривао» (М. Ражнатовић); болг. «Вашият вкус се съпротивява, но вие бързате, вие нямате време, времето е пари и вие му се налагате» (Т. Абазов).

В I примерах между первой и второй, между второй и третьей частями связь подчинения, во II — между всеми частями связь сочинения. И так, это первостепенная, главная связь, которая определяет природу взаимоотношений между частями СПП. В I случае исходным моментом или первым центром связи объединения частей полипредикативного предложения является способ подчинения, во II — способ сочинения. В зависимости от этого мы говорим о сложноподчиненном и сложносочиненном полипредикативном предложении.

Под второстепенной следует понимать связь между главными предложениями, с одной стороны, и между придаточными предложениями в сложном предложении с несколькими придаточными, с другой стороны.

Например: I. «Я часто по вечерам выходил играть с нею и очень полюбил девочку, а она быстро привыкла ко мне и засыпала на руках у меня, когда я рассказывал ей сказку» (М. Горький); укр. «За столом сиділи гості, втиснуті в жупани, а жінки були в кунтушах, хоч у хаті стояла задуха» (П. Панч); белорусск. «Але сорама і страх перемагаюць, і Кірыла прымушае сябе падняць вочы, паглядзець, што робіць хірург» (І. Шамякін); польск. «Była to wybitnie ładna dziewczyna i jeszcze kiedy chodziła do szkoły, kręciła się kolo niej czereda zalotników» (St. Kowalewski); чеш. «Velmi mne to pak trápilo a mrzí mne to ještě dnes, že jsem se tak ponížila... právě před vámi» (I. Olbracht); словацк. «To je pekná zásada nášho prastarého pohostinstva, ale pre gazdinú je predsa len oštara, keď jej vpadnú nezvaní hostia» (М. Кukučін); серб. «Отопи сњегове и посла кише, па посла и сунце да убије мразеве и студен» (М. Ражнатовић); болг. «Не оспорвам вашата сръчност, вашето умение и вашата подготвеност, по не на тях се дължи равништето, на което вие сега се радвате» (Т. Абазов).

II. «Буду работать, пока у меня пальцы смогут держать перо и пока не остановится сердце, переполненное свыше меры ощущением жизни» (К. Паустовский); укр. «Скінчивши жнива, люди наділи чистий одяг і рушили до байраку, де в холодочку варився уже борщ, стояло барильце горілки, а дудар вигравав на сопілці третяка» (П. Панч); белорусск. «Нарэшце настаў час, калі штаб дывізіі — уласна, палкавы камісар не паспеў стварыць яго нанова, і штабам называлася група камандзіраў...» (І. Чыгрынаў); польск. «Zaczął wypytywać, z kim tam zamiar się żenić, czy już wysłał swatów i kiedy dam na zapowiedzi» (T. Nowak); чеш. «Ztratila se v malé Praze, kde se lidé znají a kde je možno doptat se kde na koho, jako v labyrintu miliónového města» (I. Olbracht); словацк. «Vyprávал som mu, ako sa mi zle vodilo, a že ma aj policajti naháňal, ale gazda mi neveril a vzal čakana» (P. Jilemnický); хорв. «Naša zemaljska vlada donijela je ovih dana zakon da se što hitnije sprovede reforma na svim veleposjedima u našoj banovini i da se sav višak zemlje van ograničenog prava od 20 jutara na svakog dosadašnjeg vlasatelina, podjeli siromašnim seljacima na jednake dijelove» (S. Kovačić); болг. «Чудно ли е тогава, че то не носи белезите на емоционалното вълнение и човешкото преживяване и затова е чуждо на всякаква етика и естетика?» (Т. Абазов).

В I примерах главная, подчинительная связь между второй и третьей частями, во II — между первой и второй; второстепенная связь в I примерах — между первой и второй частями — это связь сочинения между двумя главными предложениями. Во II примерах между второй и третьей, éventuellement между третьей и четвертой частями связь второстепенная (сочинительная): здесь по способу сочинения объединены два или три придаточных предложения, которые все вместе объединены первостепенной связью подчинения с главным предложением. Классификацию СПП следует проводить, таким образом, в зависимости от определения связи между его частями, т. е. после того, как определена количественная сторона (три и более составных частей СПП), во внимание принимается и качественная сторона.

В вопросе о количественной стороне СПП нет расхождений. Все исследователи синтаксиса славянских языков признают при определении СПП как минимум три составные части, которые только по-разному называются (простые предложения, части, компоненты, предикативные единицы, предикативные части или элементарные предложения). Эти составные части становятся основными единицами измерения и расчленения СПП.

За основную единицу измерения и расчленения исследуемого объекта мы принимаем предикативную единицу. Под этим термином мы понимаем

синтаксико-структурное единство, образованное подлежащим и сказуемым, которые объединены предикативными отношениями. Роль такого синтаксико-структурного единства может выполнять в особых случаях и один из главных членов. Независимо от того содержания, которое лингвисты вкладывают в понятие «предикативности»⁹, каждый из них соглашается с тем, что сочетание сказуемого с подлежащим выражает грамматически оформленное отношение, которое образует структурное ядро предикативной единицы. Поэтому закономерно возникает вопрос: что общего и чем отличаются предикативные единицы в сложном предложении от самостоятельного простого предложения? В рамках статьи трудно дать полный ответ на поставленный вопрос. Попробуем ответить кратко.

Благодаря своей структуре, наличию подлежащего и сказуемого или одного только сказуемого, предикативные единицы обладают такими грамматическими особенностями, как предикативность и модальность, структурная целостность, смысловая оформленность, но они не всегда соотносительны с предложением как основной единицей общения, которой присуща самостоятельность коммуникативной функции. Отсутствие коммуникативной функции и самостоятельной интонационной оформленности отдаляет предикативную единицу в строении сложного предложения от предложения как самостоятельной синтаксической единицы. Несмотря на наличие общего для всех типов предикативных единиц структурного ядра — подлежащего и сказуемого или только одного из них как организующего центра и выявления смысла какого-либо высказывания — они различаются и по оформлению, по внешним признакам: наличием или отсутствием вводных служебных элементов, союзов сочинительных или подчинительных (или союзных слов). Подчинительные союзы и союзные слова, как известно, — самые яркие показатели смысловой и синтаксической несамостоятельности предикативных единиц, признаки включения их в состав другой лингвистической формы, сложного предложения.

Итак, предикативные единицы как составные элементы сложного предложения не являются предложениями, так как каждая из них отдельно не является выражением как в смысловом и в интонационном, так и в грамматическом отношении самостоятельного высказывания. Поэтому и терминологически, и по существу кажется более правомерным говорить о том, что строительным материалом сложного предложения являются предикативные единицы, а не простые предложения, хотя некоторые лингвисты пытаются сохранить традиционную терминологию и обосновать ее, исходя из теоретических позиций современного языкознания¹⁰. Традиционный термин «простое предложение» в составе сложного предложения пригоден для практической грамматики, где «такое терминологическое упрощение оказывается удобным для рассмотрения синтаксиса сложного предложения на базе синтаксиса простого предложения»¹¹. Если своеобразие СПП объяснять исходя только из сложного предложения, а сложного — путем установления степеней схожести между ними и простыми предложениями, то в таком случае невозможно говорить о специфических структурных чертах СПП. В. А. Белошапкина замечает, что «отношения частей внутри сложного предложения не тождественны

⁹ В. В. Виноградов, Основные принципы русского синтаксиса в «Грамматике русского языка» Академии наук СССР, ИАН ОЛЯ, 1954, 6, стр. 504; М. И. Стеблин-Каменский, О предикативности, «Вестник ЛГУ», Серия истории, языка и лит-ры, 1956, 20, 4; В. Г. Адмони, О предикативности, «Уч. зап. ЛГПИ им. А. И. Герцена», XXVIII, 2, 1957, стр. 26.

¹⁰ См., например: Т. П. Ломтев, Природа синтаксических явлений, ФН, 1961, 3, стр. 32.

¹¹ См.: А. Г. Руднев, Синтаксис современного русского языка, 2-е изд., М., 1968, стр. 222.

и не параллельны отношениям слов внутри простого предложения, и поэтому стараться раскрыть их нужно, изучая их сами по себе, а не проведением аналогий с отношениями между членами предложения. Часто используемый метод замены части сложного предложения членом предложения и установления на этом основании соответствий и даже тождества между ними не вскрывает специфики сложного предложения и отношений в нем. В языке существуют синонимические ряды конструкций, но значения и функции их не совпадают целиком»¹².

При типологии предложения исследователи подчеркивают две трактовки подхода к объекту его изучения — содержательно-функциональную и формальную сторону предложения¹³. В связи с этим возникает необходимость уточнить формальные признаки предикативных единиц, которые являются строительным материалом сложного предложения, а затем их содержательно-функциональную сторону. Если принять за основу положение, что предикативной единице свойственно определенное оформление, то возникает вопрос: можно ли считать форму предикативной единицы признаком, решающим критерием ее роли в образовании сложного предложения? В славянском предложении бессоюзное оформление не может служить абсолютным показателем синтаксической независимости и коммуникативного значения предикативной единицы или, наоборот, показателем отсутствия этих особенностей. Это подтверждается тем, что предикативные единицы используются в различных функциях синтаксиса языка и по-разному могут быть оформлены.

Функции предикативных единиц сводятся к следующему:

1. Предикативные единицы используются в качестве самостоятельных предложений. В таких случаях речь идет о каких-либо фактах, между ними не устанавливается тесная связь, которая была бы выражена синтаксически. Поэтому такие предикативные единицы оформляются в отдельные простые предложения, отделенные друг от друга на письме точкой или другим знаком, определяющим интонацию конца предложения.

Например: «Был вечер. Небо меркло. Воды струились тихо. Жук жужжал. Уж расходились хороводы. Уж за рекой, дымясь, пылал огонь рыбачий» (А. Пушкин); укр. «Дзвонив дзвінок. Скінчили уроки. Вертався я додому босоніж» (Д. Павличко); белорусск. «Сонца ўжо не праменілася. На ўсім ляжала надвячерняя вусцішнасьць. Сонечная прозалаць была разлита на ўсім наваколлі» (І. Чыгрынаў); польск. «Powóz odjechał ku miastu. Wokulski zmieszał się z przechodniami i poszedł w stronę Ujazdowskiego placu. Szedł z wolna i przypatrywał się jadącym. Wielu spomiedzy nich znał osobiście» (В. Prus); чеш. «Zástupy veliké městem se valí. Pišťaly všeskně se hodají v sluch. Hospody všechny se těsnými staly. Dusno je všude. Ztěžklí i vzduch» (J. Wolker); словацк. «Muž prišiel domov ticho. Nepovedal mi nič. Bol na otvorení večernej školy pre technický dorast. Od včerajška rána sa nerozpráva so mnou» (А. Bednár); серболуж. «Holanski bur běše na wikach nowu rožku za šwarny pjenjez předał. Tohodla chcyš sebi raz karaněk haworskeho piwa kupić. Zastupi do korčmi» («Serbski směch»); серб. «Богдан му није био отац. Отац му је био Комнен. А њега сви у селу зваху Младен Богданов. Богдан му је био стриц» (М. Рајнатовић); болг. «Мътните води на Поройница забучаха след полунощ. Нямаше нито месечина, нито звезди. В тъмнината се чуваше грозен грохот. Цялата долина бучеше» (А. Карайличев).

2. Бессоюзные предикативные единицы входят как части в сложно-

¹² В. А. Белашпкова, К изучению типов сложного предложения, «Докл. и сообщ. [Ин-та языкознания АН СССР]», М., 1952, 2, стр. 22.

¹³ См.: В. Г. Адмони, Типология предложения и логико-грамматические типы предложения, ВЯ, 1973, 2, стр. 46.

сочиненное предложение. Они входят в сложное предложение на основе простых предложений, объединенных сочинительными отношениями по смыслу и грамматически в одно целое. В этом случае предикативные единицы объединены между собой интонацией перечисления, интонация конца завершает все объединение предикативных единиц.

Например: «Мчатся тучи, вьются тучи, невидимкою луна освещает снег летучий, мутно небо, ночь мутна» (А. Пушкин); укр. «Хома стояв у хаті високий, аж під стелю, очі його дивились кудись поза стіни, безкусий, зморщений, як у баби, вид скривився» (М. Коцюбинський); белорусск. «Яська бег па вуліцы, яна была пустая, людзі пахаваліся па дамах, па падвалах» (М. Лынькоў); польск. «Wszelkie rozporządzenia zostały wydane, miejsca wyznaczone, armaty zatoczone na wały» (H. Sienkiewicz); чеш. «Bez konce širé moře je, jde vlna za vlnou, hrob jedné vlny druhé je zelenou kolébkou» (J. Wolker); серболуж. «Wona wobsedži rolu a skót, njebjesa su daloko, wone přídu za smjerću, nětkole je tole njebo: role a skót» (J. Brězan); серб. «Широм му се отворише кланци и богази, разви га сулуди вихор, навреше туђинске хорде, изда а помути брда» (М. Ражнатовић); болг. «Рекламата формира възприятита, ритъмът изглажда чертите, надпверата диктува движението» (Т. Абазов).

Предикативные единицы, входящие в сложное предложение, находятся между собой в более или менее тесной смысловой и грамматической связи и, объединяясь в одно целое, выполняют различные смысловые функции.

3. Предикативные единицы входят как части в сложноподчиненное предложение, вступая в различные смысловые и грамматические отношения.

Например: «Ему казалось, что он сразу взлетел на высокую гору, с которой видно удивительно много и далеко, но ступи чуточку не туда — и оборвется» (С. Сартаков); укр. «Це був перший день у його хліборобському житті, коли він не міг дивитися на сівбу, яку можна було назвати злочином» (М. Стельмах); белорусск. «З таго часу, калі загарэліся белыя свечкі квецені, ён з цікавасцю сачыў, як завязваліся, развіваліся і як цяпер растуць плады каштана, маленькія, яшчэ зялёныя, з ледзь прыкметнай насечкай» (І. Шамякін); польск. «/dawało jej się, że wspomnienie o nieobecny jest jak drzewo w jesieni, z którego opadają liście całymi tumanami i zostaje tylko czarny szkielec» (B. Prus); чеш. «Často za noci, když já slyším tajemné a kouzelné hlasy, když vidím, jak vše ožívá tmou, on sedí u stolu se skloněnou hlavou a stále drápe svým černým drápem do bílých listů» (K. Capek); словацк. «Všetci hl'adali akýsi kút, kde by bolo možné zverit' sa so svojimi t'ažkosťami, aby aspoň tak zhodili zo seba kus t'archy a utešili sa poznaním, že všetci hynú» (P. Jilemnický); серб. «Начавши се у невољи, каквој се никад нијесу могли надати, да изгину у сукабу са својима, Лисињци се ускомешаше међу собом, растрчаше по кићама, кроз мећарке, не знајући шта да раде» (М. Ражнатовић); словен. «Pri babici, kjer je bilo dovolj kruha in vsega drugega, so govorili samo o tem, kaj bodo delati ta, kaj naslednji dan, in seveda o vojni» (A. Ingolič); болг. «Хлисурското въстание най-напред било изпоплашило турското население от околните села, защото то помислило, че руска войска дошла в Клисур...» (И. Вазов).

В этом случае, как и в предыдущем, предикативные единицы не выступают как самостоятельные «предложения», они органически входят в состав СПП, образуя единое целое. Между собой эти части находятся в различной, но неэквивалентной связи, будучи объединены по способу подчинения.

4. Предикативные единицы могут входить в СПП и в функции вводных и вставных предложений, имея при этом различную модальную ок-

раску. В таких конструкциях предикативные единицы также не являются самостоятельными, хотя они уже менее связаны с другими частями сложного предложения. В целом они дополняют все предложение, показывая определенное субъективное отношение к высказываемой мысли. В этом случае вводные предикативные единицы отличаются от тех, которые рассмотрены как самостоятельные или в составе сложносочиненных или сложноподчиненных предложений. Подобные конструкции выполняют соотносительную функцию по отношению к целому сложному предложению или к его частям и употребляются как в сложносочиненных, так и в сложноподчиненных предложениях, будучи введены союзами сочинения и подчинения или без союзов. Они бывают различной структуры — и простой, и сложной.

Например: «Гриша, я вынужден написать тебе это письмо, потому что от личных встреч ты постоянно уклоняешься, а это мне горько — и по-человечески и по-дружески (прости меня, но я по-прежнему считаю тебя другом, а не случайным сожителем по комнате)» (Ю. Семенов); укр. «Гей, чуйте, правду ви мовите: таки собаке життя маємо» (М. Коцюбинский); белорусск. «Бо, сыны мае, — так кажа, — жывяце у краіне, чалавечая дзе праца намарна не гіне» (Я. Купала); чеш. «Kolský poloostrov, kde se narodili a kde i zemrou — nepohlí li je moře — je zapadlý kraj, kam nedocházejí noviny a kam čas od času přijíždí motorový člun a přiváží trochu potravin a málo zpráv o tom, co se děje ve světě» (H. Malířová); словацк. «Uradoval tam už so dvanásť - pätnásť rokov, myslelo sa o ňom, že mnohých ľudí pozná (a on vlastne poznal len mnoho zmeniek, ktoré mu cez ruky šly)» (J. Gregor-Tajovský); серболуж. «Kaž bě prajil, tak sčiniš taj, a hlej, pri tym wukopaš taj wulki hornce pjenjez» («Serbski směch»); хорв. «Kako već godinu punu nije bio doma, a sad tu... leži već drugi mjesec, nadvladala go bol, i on se noćas prokrao preko zida / kud toliki pacijenti svaku noć putuju na svoje pustolovine» (M. Krleža); болг. «Той отвори очи и каточе се вцепени: един голям вълк с зинала червена уста (стори му се голям като магаре) гонеше овцете из ъгъла и която стигнеше, оставяше я мъртва на земята» (И. Йовков).

Выполняя определенные смысловые функции в сложном предложении и имея свое специфическое грамматическое оформление, вводные предикативные конструкции находятся в соотносительной связи с другими частями предложения¹⁴. Эту связь между вводными и невводными частями в предложении называют еще прерывисто-присоединительной¹⁵.

5. Однако не всегда отсутствие союзов или союзных слов является характерным формальным признаком предикативных единиц. Самостоятельно могут употребляться и бессоюзные предикативные единицы. В этой функции выступают самостоятельные вопросительные предложения, которые оформляются при помощи вопросительных местоимений, вопросительных наречий, вопросительных частиц. Вопросительные предикативные единицы как придаточные части не употребляются, за исключением так называемых риторических вопросов в некоторых сложноподчиненных предложениях.

Например: «Кто это у вас был?» (Л. Толстой); «Зачем ты отпустил его? Зачем?» (М. Горький); укр. «Хиба ти не чуєш? Невже тобі неволя не обридла?» (Л. Українка); белорусск. «Што вы тут робіце? (І. Чыгрынаў); польск. «A jakże sobie sam rady dać potrafisz?» (J. I. Kraszewski); чеш. «S kým ses stýkal?» (J. Fučík); словацк. «Či je nie so všetkými takýto? Prečo by mal byť s ním inakší?» (M. Kukučín); серболуж. «K čemu so drě-

¹⁴ См.: А. Г. Руднев, указ. соч., стр. 170.

¹⁵ Е. П. Седун, Сложные конструкции с пояснительно-вводными предложениями в современном русском языке, ФН, 1959, 1, стр. 114.

ješ?» (J. Brězan); серб. «Одакле сам му је могао донијети?» (М. Ражнатовић); словен. «Kje pa ste ga dobili, sestra Cecilija?» (I. Sankar); болг. «Дали не иде инспекторът?» (Ел. Пелин).

Все эти самостоятельно употребленные предикативные единицы в функции вопросительных предложений могут войти в сложное предложение и тогда они теряют свою независимость, становятся конструктивными частями сложного предложения. Местоимения, наречия и частицы теряют также функцию форманта простого вопросительного предложения и становятся средствами связи сложного предложения. Ср. «Кто этого на своей шкуре не испытал, тому не сразу в душу введешь, чтобы до него почеловечески дошло, что означает эта штука» (М. Шолохов); укр. «Наблизилось те, чого весь час боялись, що могло порвати їх з насиджених місць» (П. Панч). Но предикативные единицы — придаточные предложения могут выступать и как отдельные, «обособленные» предложения. На это указывал еще В. А. Богородицкий, отмечая, что условные и уступительные части сложного предложения могут выделяться в самостоятельные целые предложения, ср. «если бы у меня были крылья!», «ну, хотя бы и так?»¹⁶. На основе анализа литературных источников мы можем добавить, что не только придаточные условные и уступительные предложения могут выступать как самостоятельные, обособленные предложения. В такой функции могут выступать и другие придаточные предложения при различных ситуативных отношениях. Ср. «Да чтоб я треснул, ежели я вас преждевременно ущипнул» (К. Тренев); укр. «Щоб з вас п'явки кров випили, щоб вам очі повилазили, руки й ноги повисихали, коли я не бачила, як ти розливав чужу горілку» (П. Панч); словацк. «Že by sa nedal zasypat' — rochybuje Jaroš» (М. Kukučín); серб. «Мајка сино га звали. То је било његово право име. Оно крштено није било тачно. Зато га нећемо ни спомињати» (М. Ражнатовић).

6. Синтаксически независимыми могут выступать и предикативные единицы, которые вводятся сочинительными союзами в пределах одного пунктуационного единства.

Например: «И показался мне этот белый, весь в снежной тишине Братск каким-то особенным городом... Опять отроги гор — гордые, неприступные. И опять тайга» (В. Осипов); укр. «Та вже й убралась панночка хороше!» (М. Вовчок); белорусск. «Але самую вялікую штуку прарабіў Пшэкін яшчэ амаль падлеткам над родным дзядзькам» (I. Чыгрынаў); польск. «A generał znalazł nieżywego smoka, głowę mu ściał i na zamek wrócił...» (M. Rodziewiczówna); чеш. «Matičko, — dnes je všeho mi líto. I ty jsi se nesmála; srdce tvé ví to. A nejvíce líto mi rukou» (J. Wolker); словацк. «Však som sa, Vaša Milost', dobre učil v škole rátať? Ale teraz humillimus servus — I chytal kloбúk» (J. Kalinčiak); серболуж. «Ja tež přindu. Ale woni njechachu («Serbski směch»); серб. «И Горде је долазила. Муку смо имали с њом, не могасмо је надиграти. А с Дојчином опет другу, никако га увући у игру» (М. Ражнатовић); болг. «Но в началото беше страхът...» (Т. Абазов).

Как видно из рассмотренного материала, предикативные единицы могут оформляться при помощи как сочинительных, так и подчинительных союзов. Эти предикативные единицы со всем своим конституирующим реманентом могут употребляться как отдельно — в виде самостоятельных предложений, различных по характеру выражаемого отношения к действительности — так и в составе сложных предложений: сложносочиненных и сложноподчиненных, когда они теряют функцию самостоятельной

¹⁶ В. А. Богородицкий, Общий курс русской грамматики, 5-е изд., М.—Л., 1935, стр. 229.

коммуникативной единицы и являются составными частями СПП. Следовательно, основными видами связи предикативных единиц в СПП являются сочинительные и подчинительные. Только сочинительная связь имеет место в сложносочиненных полипредикативных предложениях, а подчинительная связь отдельно и вместе с сочинительной выступает в сложноподчиненных полипредикативных предложениях и в конструкциях смешанного типа.

Поэтому, изучая СПП с собственно грамматической точки зрения, необходимо различать: 1) строительный материал, используемый для образования данной конструкции; 2) способ построения данной сложной конструкции; 3) грамматические средства выражения этого способа; 4) структуру частей данной сложной конструкции. Например, возьмем предложение: «Мне хочется размышлять над большим и над малым, далеким и близким, над тем, что можно поддержать на ладони, и над тем, что доступно лишь воображению» (С. Сартаков). Строительным материалом для построения данной синтаксической конструкции послужили три предикативные единицы, из которых две оформлены как придаточные предложения: *что можно поддержать на ладони* и *что доступно лишь воображению*, одна — как главное предложение: *Мне хочется размышлять над большим и над малым, далеким и близким, над тем и над тем*. Здесь способ построения — подчинение. Сложноподчиненное предложение с разночленным соподчинением. Грамматическими средствами выражения подчинительной связи являются подчинительный союз *что*, положение придаточных предложений, интонация. Структура составных частей сложноподчиненного полипредикативного предложения: все три предикативные единицы являются односоставными безличными предложениями. В главном предложении соотносительные указательные слова — местоимения *тем* соединены союзом *и* и объясняются придаточными предложениями.

Под смысловым планом СПП мы понимаем то общее значение, которое вытекает из связи составных частей. Таким общим значением может быть, например, в сложносочиненном полипредикативном предложении сообщение об одновременности или последовательности нескольких действий, состояний, процессов между всеми частями, или причинно-следственная, сопоставительно-противительная или сочинительно-относительная связь между отдельными частями и т. д. В сложноподчиненном полипредикативном предложении общим значением может быть сообщение о смысловой зависимости придаточных предложений по отношению к главному или подчиняющему предложению, их различная степень зависимости от всего главного или подчиняющего предложения или от его отдельных членов. Кроме общего смыслового плана, СПП, как и другие синтаксические образования, имеет конкретное содержание, которое вытекает из конкретного лексического наполнения составных частей, а также обуславливается контекстом или ситуацией. Общий смысловой план СПП вытекает из грамматического плана, конкретное же содержание любого предложения не вытекает из грамматического плана¹⁷.

Анализируя структуру СПП в любом современном славянском языке, мы, как правило, абстрагируемся от конкретного содержания каждого предложения, т. е. от конкретной в каждом случае связи предложения с реальной действительностью, и рассматриваем его прежде всего как предложение-пример, которому свойственны те или другие закономерности грамматического построения.

¹⁷ См.: А. П. Г р и щ е н к о, Складносурядне речення в сучасній українській літературній мові, Київ, 1969, стр. 23; Д. Н. Ш м е л е в, О значении синтаксических единиц, в кн.: «Инвариантные синтаксические значения и структура предложения», М., 1969, стр. 156.

А. А. ЮДАШЕВ

ОБ ОДНОМ СПЕЦИФИЧЕСКОМ ТИПЕ ЛЕКСИЧЕСКОГО ЗНАЧЕНИЯ

Наиболее уязвимым местом словарей независимо от их типа, назначения, объема и практической или научной ценности была и остается в целом беспорядочная лексикографическая разработка значений полисемантических и отчасти полифункциональных слов, которые занимают в исконной лексической системе многих языков очень большое место. Это касается как выявления и определения численного состава значений полисемантического слова, так и в особенности показа их соотношения и природы, а также лингвистической квалификации, вернее сказать — установления тождества слова, выступающего на равных началах одновременно в рядах двух или более частей речи или совмещающего служебную функцию с обычной, характерной для полнозначного слова.

Нет ни одного словаря, ни переводного, ни толкового, ни исторического, ни этимологического, в котором названные вопросы, встающие перед их составителями при разработке каждого многозначного или многофункционального слова, в частности тюркского, решались бы сколько-либо единообразно и последовательно на какой-либо убедительной и ясной лингвистической основе. Преобладающее большинство их решений, предложенных в словарях даже применительно к материалу современных тюркских языков, может быть легко оспорено, если исходить из здравого понимания сущности многозначности и многофункциональности слова и из безусловных достижений в их теоретическом осмыслении.

Особенно значительные погрешности наблюдаются в понимании и лексикографировании производного значения слов типа башк. (*кәләм*) *башы* «наконечник (для карандаша)», турецк. (*kurşunkalem*) *kaşağı* «наконечник (для карандаша)», (*ok*) *ucu* «наконечник (стрелы)», зарождающегося и с той или иной регулярностью проявляемого в рамках строго определенной синтаксической конструкции (в нашем случае — в изафете).

Хотя полная зависимость производного значения от соответствующей формы данного слова и конкретных условий ее употребления и очевидна, тем не менее по сложившейся традиции во всех словарях оно обычно ставится в один ряд с самостоятельными относительно свободными устойчивыми значениями данного многозначного слова, регулярно проявляемыми им во всех его словоформах независимо от них. Тем самым этому слову невольно приписывается лексическое значение, которого оно в своей исходной форме, демонстрируемой в словаре, как раз не имеет. Так, общетюрк. *ağыз/авыз* преподносится в словарях как регулярный носитель не только действительно закрепленного за ним значения «рот, уста; пасть», но и таких поставленных с ним в одном ряду лексических значений, как «отверстие» (аз., алт., гаг., ДТС, казах., караим., ккалп., ног., татар., тув., туркм., узб., уйг., хак., чув., ЭСТЯ¹), «дуло, жерло огнестрельного

¹ Здесь и ниже сокращения, данные в скобках, обозначают: аз. — «Азербайджанско-русский словарь», под ред. Г. Гусейнова, Баку, 1941; алт. — «Ойротско-русский словарь», под ред. Н. А. Баскакова, М., 1947; башк. — «Башкирско-русский словарь», М., 1958; гаг. — «Гагаузско-русско-молдавский словарь», под ред. Н. А. Баскакова,

оружия» (башк., гаг., кумык., татар.), «горло, горлышко сосуда» (башк., татар., кумык. и др.), которые на деле проявляются этим словом в форме *ағызы/аеызы/аазы* только в позиции ведущего компонента изафета исключительно при условии, если ведомым его компонентом являются строго определенные существительные в соответствующей форме (ср. гаг. *чуалын аазы* «горловина мешка», *соба аазы* «устье печи», *шишенин аазы* «горлышко бутылки», *тўфайн аазы* «дуло винтовки», караим. *авзунда кабынын* «в горловине мешка» и т. п.). Таким же неправомерным образом общетюрк. *тек* «подол, пола (одежды)» приписываются без всяких оговорок якобы самостоятельные лексические значения «подножие, подошва горы» (аз., алт., гаг., казах., караим., кумык., ног., тув., тур., узб., уйг. и др.), «устье, низовье реки» (кумык., узб. и др.); межтюрк. *айаҗ* «конец» — значение «устье, низовье реки» (аз., ккалп., тув., тур., туркм., узб., ЭСТЯ); общетюрк. *ич* «внутренность, внутренняя часть (сторона)» — значение «подкладка» (алт., башк., чув., ЭСТЯ) и т. д.; общетюрк. *ара/а* : *ра* «промежуток» — значение «между, среди» (аз., ног., хак., ЭСТЯ); общетюрк. *орта* «середина» — значение «среди» (ЭСТЯ) и т. д., которые (т. е. значения) вовсе немислимы в отрыве от строго обязательных условий их проявления (иная форма слова плюс жестко регламентированная его лексическая сочетаемость в рамках изафета).

Несмотря на то, что такой «способ» лексикографирования морфологически и лексико-синтаксически ясно обусловленного производного значения слова и может, мягко выражаясь, дезинформировать неискушенного читателя, а с точки зрения научной представляется по меньшей мере сомнительным, он по инерции получил в словарях тюркских языков, в том числе и в новейших, выполненных под руководством или при участии видных ученых, самое широкое распространение.

В практической лексикографии в связи с воплощением в ней идеи и теории неэтимологической лексической омонимии наметилась даже еще более далеко идущая тенденция в квалификации рассматриваемого структурного типа производного значения слова, тенденция, являющая собой как бы дальнейшее логическое развитие в интерпретации такого значения в словаре: если между ним и остальными значениями данного слова нет ощутимой смысловой связи, то отдельные лексикографы в соответствии с названной теорией возводят его не только в разряд свободных или относительно свободных самостоятельных лексических значений слова, но и в наивысший разряд полисемии — в ранг отдельной производной лексемы, выступающей по отношению к остальным значениям данного слова как омоним. Ср. казах. *көз I — 1* «глаз, око», 2) «глаз (надзор, присмотр)»: *сен осыған көз бол* «ты присмотри за этим»; *көз II — 1*) «ушко»: *иненің көзі* „ушко иголки“; 2) „отверстие, глазок“: *жүзіктің көзі* «глазок кольца»; М., 1973; ДТС — «Древнетюркский словарь», Л., 1969; казах. — Х. Махмудов, Г. Мусабаяев, Казахско-русский словарь, отв. ред. Г. Мусабаяев, Алма-Ата, 1954; караим. — «Караимско-русско-польский словарь», под ред. А. Зайончковского, С. М. Шапшала, М., 1974; кирг. — «Киргизско-русский словарь», сост. К. К. Юдахин, М., 1965; ккалп. — «Каракалпакско-русский словарь», под ред. Н. А. Баскакова, М., 1958; кумык. — «Кумыкско-русский словарь», под ред. З. З. Бамматова, М., 1969; ног. — «Ногайско-русский словарь», под ред. Н. А. Баскакова, М., 1963; татар. — «Татарско-русский словарь», М., 1966; тув. — «Тувинско-русский словарь», под ред. Э. Р. Тенишева, М., 1968; тур. — «Турецко-русский словарь», сост. Д. А. Магазиник при участии А. Б. Абдурахманова и И. В. Левина, под ред. В. А. Гордлевского, М., 1945; туркм. — «Туркменско-русский словарь», под общей ред. Н. А. Баскакова, Б. А. Каррыева, М. Я. Хамзаева, М., 1968; уйг. — «Уйгурско-русский словарь», под ред. Ш. Гибирова, Ю. Цуввазо, Алма-Ата, 1961; узб. — «Узбекско-русский словарь», гл. ред. А. К. Боровков, М., 1959; хак. — «Хакасско-русский словарь», под ред. Н. А. Баскакова, М., 1963; чув. — «Чувашско-русский словарь», под ред. М. Я. Сироткина, М., 1964; ЭСТЯ — Э. В. Сеортян, Этимологический словарь тюркских языков, М., 1975.

көз III — 1) «исток»: *булақтың көзі* «исток ручья»; 2) перен. «источник, начало»; татар. *ак I* — 1) «белый», 2) «седой», 3) перен. «чистый, незагрязненный», 4) перен. «счастливый, светлый»; *ак II* — 1) «белок (глаза, яйца)», 2) мед. «бельмо»: *күзгә ак төшү* «появление бельма на глазу».

Между тем при устранении данной производной формы слова (*көзі, ағы*), которая по отношению к его исходной форме (*көз, ак*) не является омонимом даже с точки зрения структурной, и ее конкретного лексического окружения (*иненің, жүзіктің, булақтин, күз* или *күзнең, йомырка* или *йомырканың*) оно, слово, лишается данного значения, квалифицируемого как омоним («ушко»; «отверстие», «глазок», «исток»; «источник, начало»; «белок»). Это несовместимо с элементарным пониманием не только лексемы, бытующей на правах производного омонима, но и сколько-либо самостоятельного производного значения слова — даже контекстно обусловленные частные производные значения слова, твердо вошедшие в обиход и на этом основании подлежащие лексикографированию, обязательно должны быть достоянием исходной формы данного слова, демонстрируемой в словаре и представляющей собой лексическую основу (ядро) остальных его словоформ, т. е. общими для них и независимыми от их природы, тем более от природы только одной из них, как это получается в нашем случае.

Видя явную и неоспоримую обусловленность рассматриваемого типа производного лексического значения строго определенной грамматической формой слова, на семантической основе которого оно возникает, его синтаксической позицией и конкретной лексической сочетаемостью в пределах соответствующего словосочетания, многие лексикографы ударились в другую крайность — стали рассматривать такое значение как неделимое достояние всего данного конкретного словосочетания в целом, подлежащего размещению и описанию в словаре на правах собственно сложных слов или фразеологических единиц. Они дают внутри словарной статьи либо на 1 или 2-й компонент, либо за знаком ромб (◊), где принято давать всякую фразеологию и устойчивые склованные словосочетания терминологического характера. Ср.: 1) татар. *йомырка* «яйцо; || яичный; яйцевой»; *йомырка ағы* «яичный белок»; *йомырка кабыгы* «яичная скорлупа»; *йомырка оны* «яичный порошок»; *йомырка сарысы* «яичный желток», туркм. *даг* [да : г] «гора; || горный»; *бейик* ~ «высокая гора»; ~ *этеги* «подножие горы»; ~ *якасы* «предгорье»; ~ *башы* «вершина горы»; 2) татар. *баш* «голова»... ◊ *ашлык башы* «колос хлебных злаков»; *итәк* «подол»... ◊ *тау итәге* «подшва горы, подножие горы, предгорье»; *урман итәге* «опушка леса», где словосочетания полностью сохраняют свою обычную синтаксическую, лексико-семантическую и морфологическую членимость, в том числе и морфемную делимость своего грамматически и лексически ведущего компонента, при котором на его собственной семасиологической основе возникает вновь создаваемое лексическое значение, даже в малой мере не затрагивая ни общего грамматического значения самого словосочетания, ни лексического значения его первого компонента, выделяемого и как его компонент и как лексическая единица на общих основаниях ².

² Другое дело, когда оба компонента словосочетания претерпевают переосмысление и в совокупности создают семантически действительно необратимую сложную лексическую единицу, бытующую на правах отдельного слова типа татар. *бер авыздан* «единогласно», не знающего лексического эквивалента, или его стилистически окрашенного синонима, например, *башка кит-(мен-)* «ударить в голову (о спиртном)» (ср. *исер* — «опьянеть»). В этом случае компоненты словосочетания, лишаясь раздельного осмысления на лексическом, морфологическом и синтаксическом уровнях, а тем самым и возможности вступать в какие бы то ни было самостоятельные синтаксические связи с членами словосочетания или предложения, фактически являют собой производящие основы вновь производимой монолитной лексической единицы.

Преимущество такого подхода к проблеме по сравнению с противоположным заключается разве только в том, что в данном случае учитываются условия возникновения производного значения — его закономерное проявление лишь при одной из словоформ слова именно в демонстрируемом словосочетании. Но не принимается во внимание главное — производимое значение при всей своей строгой обусловленности соотносится в конечном итоге только с одним членом словосочетания (*агы, кабыгы, оны, сарысы, якасы, башы, итэге*), и то лишь с его лексической основой непосредственно, т. е. соотносится на общих основаниях зарождения и бытования любого нового лексического значения без всякого ущерба для самого словосочетания и его смыслового членения как на собственно грамматическом, так и на лексическом уровнях.

О каком бы то ни было изменении первого компонента словосочетания (*йомырка, даг, ашык, тау, урман*) и как синтаксической, и как лексической единицы не может быть и речи. Столь же очевидна полная сохранность грамматической природы и синтаксической функции и второго компонента, позволяющая выделить его из состава словосочетания и морфологически анализировать на общих основаниях. Да и на собственно лексическом уровне выделяется он в полном соответствии с его структурой — путем элиминации из его состава грамматического аффикса принадлежности. Остаток (*ак, кабык, он, сары, яка, баш, итэк*) и есть лексическая основа (ядро), правда, не свободная, как это бывает обычно, а связанная, с которой непосредственно соотносится вновь созданное производное лексическое значение («белок, скорлупа, порошок, желток, предгорье, вершина, подножие») и за которой оно фактически закреплено как за регулярным его носителем, а не за самой грамматической формой принадлежности, тем более — не за самим словосочетанием, структурно организованным по общим правилам строения второго изафета. Специфика лексической основы заключается в том, что она при всей своей выделяемости по правилам морфологического членения производной словоформы обычно не может быть реализована в данном своем лексическом значении в отрыве от данного конкретного словоупотребления, от минимального контекста, которому она как лексема и обязана своим происхождением, хотя этот контекст и остается во всем самим собой.

Это вовсе не означает, что производимое значение находится за пределами самого слова, в контексте, порождающем и как бы формально выражающем его. Роль контекста здесь, конечно, велика и очевидна. Но не нужно ее преувеличивать, как это делают многие, предлагая «четко различать собственное значение слова и несобственное значение слова, или его осмысление в различных речевых контекстах»³, под которым имеется в виду не только окказиональное, но и всякое производное значение слова, кроме узуального или ведущего его значения, на их взгляд, не зависящего от условий контекста⁴. Контекст при осмыслении любого значения полисемантического слова играет в принципе одинаковую роль: в данном значении слово выступает практически только в контексте, где не может быть употреблено в другом, и наоборот. Каждое значение слова заранее ориентировано на строго определенные условия его употребления. Каждое имеет характерный только для него контекст, который предопределяется им, но не наоборот, как это принято считать. Само выделение значения, в том числе и производного, есть признание его закрепленности за данным словом как за регулярным его носителем на лексико-семантическом, а не на синтаксическом уровне. Производное значение в этом отношении исключения

³ Ю. С. С о р о к и н, [Выступление], «Лексикографический сборник», IV, М., 1960, разд. «Материалы дискуссии по вопросам омонимии», стр. 64.

⁴ Там же, стр. 62—63.

не составляет, поскольку оно с самого начала создается именно как достояние данного слова, опираясь на одно из общепризнанных его значений или видоизменяя его в рамках семантических потенций этого слова. Даже более того, вновь создаваемое значение в силу своей обязательной мотивированности прежним значением данного слова (иначе оно не может быть осмыслено) уже в период своего зарождения имеет с последним более тесную и действительно закономерную связь, чем его этимологическое значение, которое, связано с ним, в частности с корневой морфемой лишь условно. Правда, по мере своего вхождения в обиход вновь созданное значение лишается непосредственной связи с прежним значением слова, на основе которого оно возникает: производящее значение в составе производимого, сослужив свою конституирующую службу, отходит на задний план, присутствует, как говорится, лишь в снятом виде (иначе первое может быть принято за второе, которое и должно противостоять ему как относительно автономная далее не делимая элементарная смысловая единица, заслонив своей новизной эту связь). Но само его освоение и вхождение в обиход с последующей канонизацией нормами языка не только компенсирует эту утрату и прочно закрепляет его за данным словом на собственно лексическом уровне, но и выдвигает его в разряд узуальных значений слова, функционально отличающихся друг от друга лишь по своей коммуникативной значимости и обусловленной ею степенью употребительности⁵. В этом случае меняется и роль контекста, а также его характер.

При зарождении нового значения слова контекст играет определенную конституирующую роль: с одной стороны, способствует новому осмыслению слова, проявлению им потенциально возможного, но ранее не зафиксированного значения, обязательно мотивированного каким-либо прежним общепризнанным его значением и тем не менее противостоящего ему, как и остальным его значениям, по своей новизне (соответственно, по коммуникативной значимости), позволяющей ставить его в один ряд с ними, с другой — исключает возможность прежнего осмысления этого слова, жестко изолировав его от всех закрепленных за ним значений и условий их проявления. Естественную, такую службу может сослужить только уникальный контекст, в частности уникальная лексическая сочетаемость данного слова в рамках определенного словосочетания, в нашем случае — в пределах изафета. Во всяком случае, качественно новый минимальный контекст, противостоящий привычным условиям функционирования данного слова в прежних его значениях. Контекст, сознательно и творчески подбираемый с тем, чтобы данное слово проявило свое новое значение по отношению к данному конкретному слову: ср., с одной стороны, башк. (*tau*) *бите* «склон горы» (букв. «поверхность [горы], обращенная к говорящему»), (*tau*) *биле* геогр. «седловина (горы)», (*tau*) *итэге* «подножие (горы)», с другой — соответственно *битем* «мое лицо», *5 бит* «5 страниц», *һул бит* «левая щека»; *нескэ бил* «тонкая талия»; *күлдэк итэге* «подол платья», *пальто итэге* «пола пальто», *биш итэкле күлдэк* «платье с пятью оборками».

Если во всех случаях, когда нам необходимо обозначать данное понятие (скажем, «подножие»), мы прибегаем к новому словоупотреблению (*tau итэге* «подножие горы»), оно постепенно превращается в такое же типичное

⁵ В языковой практике немало случаев, когда производное и производящее значения слова в этом отношении меняются местами, в силу чего это слово, взятое вне контекста, в первую очередь воспринимается в своем производном значении, исходное же его значение, на базе которого образовано первое, всплывает в памяти лишь во вторую очередь. Примером тому может послужить сульба башкирского слова *әсар* (арх.) «след; отпечаток; отзвук», которое ныне преимущественно употребляется в своем вторичном значении (лит.) «произведение, сочинение».

условие проявления соответствующего значения слова, что и привычный контекст, где последнее бытует в иных своих значениях. Говоря иначе вновь созданное значение слова по мере его освоения, вхождения в обиход и принятия нормами языка фактически отрывается не только от генетически связанного с ним значения того же слова, но и от контекста, где оно формируется и приобретает устойчивый и регулярный характер. В этом случае оно уже воспринимается как достояние лишь данного слова, вернее — его лексической основы (ядра), если даже по-прежнему проявляется исключительно в породившем его минимальном контексте. Об этом косвенно, тем не менее убедительно свидетельствует потенциальная или реальная возможность изменения первоначально уникального минимального контекста в соответствии с синтаксическими нормами данного языка: ср. башк. *Каршыбызга бөйөк тау. Итәгендә үсә бөзрә тал* «Перед нами высокая гора. На ее склоне растет плакучая ива»; *Бына һезгә уң. Бына уның уткер башы* «Вот вам стрела. Вот ее острый наконечник»; *кәләмдәң тутыгып бөткән башы* «заржавленный наконечник карандаша»; *Тау битендә мал йөрөй, ә башында текә кая итәгендә көтөүселәр ял итә* «На горе пасется скот, а на вершине ее, у подножия отвесной скалы, отдыхают пастухи». Принятие вновь созданного контекстно обусловленного значения слова нормами языка, его постепенный отрыв от породивших его недр (прежнее значение слова, мотивирующее его, плюс уникальный контекст) и окончательное его закрепление за данным словом как регулярным носителем еще более наглядно прослеживаются, когда это значение начинает проявляться по отношению не только к единственному слову, благодаря сочетанию с которым оно возникает, но по аналогии и по отношению к другим словам сходного семантического профиля. Ср. башк. *(уң) башы* «наконечник (стрелы)» (отсюда: *кәләм башы* «наконечник для карандаша»); *(тау) бите* «склоп горы» (отсюда: *йылға, күл бите* «гладь реки, озера»); *(тау, үр, кәбән) һырты* «хребет (горы, возвышенности, стога)»; *(мылтык, пушка, янартау) ауызы* «жерло (ружья, пушки, вулкана)»; *(шешә, бутылка, кувшин) ауызы* «горлышко (бутылки, кувшина)» и т. п. Но расширение самой сферы применения производного, да и всякого лексического значения зависит от характера последнего. Сообразно со своим профилем значение имеет самую различную лексическую соотношенность — оно может проявляться по отношению к единственному слову (ср. башк. *энә күзә* «ушко иголки»), к крайне ограниченному [ср. башк. *(уң, кәләм) башы* «наконечник (стрелы, карандаша)», широкому [ср. башк. *(тау, кәбән, ағас) башы* «вершина (горы, стога, дерева)»] или многочисленному составу слов, не говоря уже о том, что оно может быть вообще абсолютно несовместимым с каким бы то ни было другим словом (ср., к примеру, междоимение). От этого оно не перестает быть значением именно данного слова, его неотъемлемым содержанием, подобно тому, как моносемантическое слово с нулевой или уникальной лексической соотношенностью из-за этого своего признака не перестает быть полнокровной лексической единицей.

Таким образом, увеличение лексической соотношенности вновь созданного значения вовсе не является обязательным показателем его закрепленности именно за данным словом. Если слово в принятом его производном значении неизменно появляется во всех коммуникативно необходимых случаях пусть даже в одном и том же лексическом окружении, то, очевидно, и этого достаточно, чтобы процесс данного его семантического развития считать завершенным, а его результат — объектом словаря.

Принцип лексикографирования рассмотренного структурного типа производного значения слова должен, на наш взгляд, четко отражать строго регламентированные условия проявления такого значения. Технически это может быть осуществлено по-разному, как это в порядке опыта уже де-

ляется. (Важно лишь, чтобы при этом соблюдались интересы и науки, и практики — массового читателя, которые в данном случае как раз совпадают.) Например:

I. В словарях, рассчитанных на массового читателя, целесообразно давать названную необходимую информацию полно и в доступной форме, как это мы в свое время предложили, редактируя «Башкирско-русский словарь» (М., 1958): «*баш* 1) „голова“; ...2) в составе определительных словосочетаний при наличии аффикса принадлежности 3-го л. ед. ч. -ы соотв.: а) „вершина“; *тау башы* „вершина горы“, *кэбэн башы* „вершина стога“; б) „начало“; *йыл башы* „начало года“, *йылға башы* „исток реки“; в) „глава, главарь, вожак“; *семья башы* „глава семьи“; *отряд башы* „вожак отряда“; ...г) „наконечник“; *кэлэм башы* „наконечник для карандаша“». При описании второго значения, состоящего фактически из четырех взаимосвязанных, но относительно автономных значений, подлежащих рубрикации на общих основаниях (а не под особыми рубриками — буквенными вместо обычных цифровых), упущена из виду его зависимость от предыдущего лексического окружения. Правда, иллюстрация в какой-то мере восполняют этот пробел. Поскольку, однако, они не исчерпывают численного состава слов, по отношению к которым проявляются описываемые значения, сюда следовало бы внести следующее уточнение, тем более, что приводимые грамматические сведения представляются избыточными, главное — доступными лишь искушенному читателю: *баш* 1) «голова», 2) *башы* (в сочетании с предыдущим *тау, ағас, кэбэн* и под.) «вершина (горы, дерева, стога и под.)», 3) *башы* (в сочетании с предыдущим *йыл, ай, йылға* и под.) «начало (года, месяца, реки и под.)», 4) *башы* (в сочетании с предыдущим *семья, отряд* и под.) «глава, вожак (семьи, отряда и под.)», 5) *башы* (в сочетании с предыдущим *кэлэм, уҗ*) «наконечник (карандаша, стрелы)».

Есть еще более упрощенный вариант такого решения, предложенный К. К. Юдахиным: ср. кирг. *кундак* 1) «временное ложе (из овечьей или верблюжьей шерсти или скрученное жгутом одеяло), на котором лежит новорожденный до того, как его кладут в колыбель»; 2) (точнее *мылтыктың кундагы*) «ружейный приклад, ложе ружья». Здесь неясным остается соотносительность значения лишь с одним компонентом приводимого словосочетания, которое в связи с этим может быть превратно воспринято как его носитель в целом. Это может быть уточнено следующим образом: *кундак* 1) ... 2) (*мылтыктың кундагы*) «ложе (ружья)». По такому принципу могут быть разработаны все производные значения рассмотренного выше рода, имеющие уникальную лексическую соотносительность: ср. башк. *итэк* 1) «подол», 2) (*тау*) *итэге* «подошва, подножие (горы)»; *күз* 1) «глаз», 2) (*энэ*) *күзе* «ушко (иголки)»; 3) (*кэррәз*) *күзе* «ячей (сотовая)»; *бит* 1) «лицо; щека», 2) «страница; лист», 3) (*тау, кул*) *бите* «склон (горы)», «гладь (озера)».

II. В словарях, предназначенных главным образом для лингвистов, во избежание избыточности приводимой лексикографической информации, равно как и ее недостаточности и неточности, вызванной стремлением к лаконичности, разработка сходных производных значений слова может быть произведена еще более экономно — с помощью условных знаков, уже применяемых в словарях и в связи с этим получивших единое осмысление. Примерная разработка рассмотренного структурного типа производного значения:

а) с уникальной лексической соотносительностью: башк. *һары* 1) «желтый»; 2): (*йомортка*) ~ *һы* «желток (яйца)»⁶;

⁶ Двосточие в словарях ставится после заглавного слова, когда оно выступает только в составе словосочетания и самостоятельного употребления не имеет. Знаком ~ (тильда) обозначается заглавное слово внутри словарной статьи.

б) со считанной закрытой лексической соотнесенностью, подлежащей исчерпывающему описанию: башк. *һырт* 1) «спина», 2): (*тау, ур, кабән*) ~ ~ ы «хребет (горы, возвышенности, стога)», 3): (*кул*) ~ ы «тыльная сторона (руки)»; *кыскыр*-1) «кричать»; 2): ~ ын (*уҡы-әйт-, һөйлә-, йырла-, ыңғыраш-*) «громко (читать, сказать, говорить, петь, стонать)»;

в) с закрытой, но широкой лексической соотнесенностью (приводится лишь типичное лексическое окружение): башк. *буй* 1) «длина»; 2) «рост»... 6): (*юл, йылға, тау* и под.) ~ ы «пространство, прилегающее к тому, что обозначено предыдущим существительным (дорога, река, гора и под., т. е. придорожная полоса, долина реки, подножие горы и под.)»; 7): (*йыл, азна* и под.) ~ ы «на протяжении времени, обозначенном предыдущим существительным — названием времени (года, недели и под.)»; например, *ай* ~ ~ ы «на протяжении целого месяца», *көнө* ~ ы «весь день, в течение всего дня»;

г) со свободной и синтаксически незакрепленной лексической сочетаемостью: башк. *ал* 1) «перед, передняя сторона, часть»; 2): ~ *ға* «вперед»; 3): ~ *да* «впереди; перед кем-чем»; 4) ~ *дан* «заранее, предварительно»⁷; *озаҡ* 1) «долго, длительно»; 2) ~ *ка* «надолго».

Описанным далеко не исчерпываются типы морфологически и лексико-синтаксически строго обусловленных производных лексических значений слова. Помимо рассмотренных их структурных разновидностей, представленных во всех тюркских языках многочисленным составом слов⁸, имеется еще более распространенный их структурный тип, характеризующийся своей закрепленностью на тех же началах только за исходной (нулевой), или, как еще ее называют, словарной формой слова (а не за единственной его производной грамматической формой, как это имеет место в описанных выше случаях). Например, общетюрк. *баш* «голова» в сочетании с количественным числительным выполняет функцию нумератива при счете голов скота, пчелосемей и под., например: башк. *биш баш ат* «пять голов лошадей», *алты баш умарта* «шесть ульев пчел», *ун баш кәбестә* «десять кочапов капусты» и т. п. Другим примером могут послужить неисчисляемые случаи частичной (т. е. регулярно проявляемой лишь в одной из возможных синтаксических позиций слова) (1) или полной (2) конверсии, нередко сопровождаемой резким изменением исходного лексического значения слова (2а): ср. башк. 1) *ағас өй* «деревянный дом», *цемент изән* «цементный пол»; 2) *башҡорт* «башкир» > «башкирский»; *күк* «небо» > «голубой, синий, сизый, сивый»; *ҡарт* «старый» > «старик, старец», разг. «муженек», ирон. «молодой человек»; 2а) *төп* «пень, корень дерева, дно, основа, база» > «основной, главный»; *кыйыҡ* «косой (наклонный)» > «крыша»; *кара* «черный» > «чернила»⁹.

⁷ В этом значении, лишенном ныне всякой смысловой связи со словом *ал*, форма *алдан* с полным основанием может быть рассмотрена как самостоятельная лексическая единица типа *арҡаһында* «из-за, в силу, вследствие, благодаря» (ср. *арка* «спина»), *бергә* «вместе» (ср. *бер* «один»), представляющих собой одну из разновидностей рассмотренного выше способа создания, освоения и развития производного значения слова на базе определенной его грамматической формы.

⁸ В том числе многими так называемыми служебными именами типа башк. *каршыбызға* «перед нами», (*өй*) *каршыһында* «напротив (дома)», (*өй*) *тирәһендә* «вокруг, возле (дома)», (*ағас*) *төбөнә* «под (дерево)», (ишек) *төбөндә* «около (двери)», (*күк*) *йәзөндә* «на (небе)», (*зал*) *уртаһында* «в середине (зала)», *уртабызға* «среди нас», (*ағастар*) *араһында* «между (деревьями)», *арабызға* «между нами, среди нас», (*мактәп*) *ергәһендә* «около (школы)», (*урман*) *яғына* «в сторону (леса)», (*йыл*) *азағында* «в конце (года)», (*өй*) *артында* «за (домом)», (*машина*) *артынан* «вслед за (машиной)» и т. п.

⁹ При полном переходе исходной формы слова в другую часть речи, в частности в ряды существительного и глагола, происходит его освоение во всех словоформах и синтаксических позициях, характерных для данной части речи: ср. башк. *йылы* «теплый; тепло»; *һуыҡ* «холодный; холод»; *шеш* «нарыв; нарывать», *тутыҡ* «ржавчи-

Хотя перечисленные явления по своей природе очень разнородны¹⁰, все они объединяются тем, что производное значение слова возникает и развивается лишь при одной из возможных словоформ данного слова. Это радикально отличает их от обычного так называемого семантического способа словообразования, предполагающего освоение слова в новом его значении во всех словоформах и синтаксических позициях, характерных для данной части речи, и создает достаточные основания для их углубленного раздельного изучения под единым углом зрения.

Должная разработка затронутой проблемы, помимо теоретического осмысления данной весьма своеобразной семасиологической инновации слова, имеет большое значение для определения границ собственно фразеологии, зарождение и развитие которой идет по очень близкому к нашему случаю и тем не менее принципиально другому пути, предполагающему семантическое слияние двух или более слов в целях создания сложной лексической единицы, выступающей на синтаксическом уровне на правах отдельного слова, а не новое осмысление слова (или его какой-либо единственной формы) без всякого ущерба для сочетающегося с ним слова¹¹.

ка; ржаветь», *керэш* «бороться; борьба»; *һөйләш* «разговаривать; говор», *әсе* «кислый; фиснуть», *кызык* «интересный; интересоваться» и т. п. При конверсии производных сорм слова это наблюдается лишь в исключительных случаях: ср. башк. *кайнар* причастие от *кайна* «кипеть» > «горячий» — *кайнарырак* «погорячее»; *акыллы* «умный» > *акыллы(м)* ласк. «умница (ты мой)».

¹⁰ Достаточно сказать, что как при производной, так и при исходной словоформах производное значение создается не только в пределах одной и той же части речи: ср. башк. (*йомортка*) *ағы*, *һарыһы* «белок, желток (яйца, яичный)», *өй* (*адресы*) «домашний (адрес)»; *көмөш* (*балдак*) «серебряное (кольцо)».

¹¹ Причем это наблюдается не только в нашем случае, но и при всяком семантическом развитии слова, нередко ошибочно относимом к фразеологии: ср. башк. *кара* (*икмәк*) «черный (хлеб)».

И. Х. ТОТ

О СОЧЕТАНИЯХ РЕДУЦИРОВАННЫХ ПЕРЕД ПЛАВНЫМИ
МЕЖДУ СОГЛАСНЫМИ В ДРЕВНЕРУССКИХ РУКОПИСЯХ XI в.

Посвящается Владимиру Николаевичу Сидорову

В настоящей статье представлена попытка рассмотрения некоторых памятников XI в. в соответствии с принципами исследования В. Н. Сидорова¹. В качестве объекта исследования нами были избраны пять небольших по объему древнерусских рукописей XI в. из рукописного отдела Государственной Публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина в Ленинграде: отрывок Жития Кондрата (ЖК)², отрывок Жития Феклы (ЖФ)³, Евгениевская псалтырь (Епс)⁴, Бычковская псалтырь (Бпс)⁵, Минея из собрания Дубровского (МД)⁶.

Известно, что написания, соответствующие живому языку, в памятниках древнерусской письменности отражаются неравномерно. Специфически восточнославянские окончания *-ъмь*, *-ьмь* в твор. падеже ед. числа существительных и окончание *-тъ* в 3-м лице ед. и мн. числа глаголов, довольно многочисленны в древнейших памятниках XI в., становятся «нормой», между тем написания корней с сочетаниями типа **tbrt*, содержащие восточнославянскую последовательность редуцированного и плавного, в памятниках XI в. встречаются значительно реже⁷. Можно думать, что это обстоятельство объясняется для одних случаев наличием определенной «зрительной модели» (например, *тъмьныи*, *кость*) в рукописях южнославянского происхождения и отсутствием таковой для корней с названными сочетаниями. Для передачи древнерусских сочетаний типа **tbrt* писцы были вынуждены искать особый способ их письменного изображения. Думается, что именно этим обстоятельством следует объяснить наличие разнообразных вариантов в написании интересующих нас сочетаний в рукописях XI в. История изображения сочетаний типа **tbrt* является примером «обрусения» старославянского письма, становления древнерусского извода. В этом отношении, как нам кажется, представляют определенный интерес данные письма избранных источников.

Житие Кондрата. Письмо рукописи довольно хорошо отражает деназализацию носовых гласных: буквы *ou*, *ю* — *Ж*, *ж*; *a*, *я* — *А*, *я* употребляются этимологически неоправданно и могут взаимно заменять друг друга. Корни с этимологическим сочетанием **tbrt* встретились в следующих случаях: а) в середине строки — *дръзновеника* 1а, *стръгати* 2а, 2б, *задлъжиш* А 2а, *тръпъние* 2б — всего 5 случаев; б) в конце строки — *дръ/зновение* 1а⁸ (буквы *ь* исправлены из *ъ* более поздним писцом).

Все отмеченные примеры соответствуют старославянским написаниям. Можно предполагать, что письмо отрывка Жития Кондрата представляет как бы начальную ступень «обрусения» старославянской орфографии, от-

¹ См.: В. Н. Сидоров, Редуцированные гласные *ъ* и *ь* в древнерусском языке XI в., «Труды Ин-та языкознания АН СССР», II, М., 1953; е г о ж е, Из истории звуков русского языка, М., 1966; е г о ж е, Из русской исторической фонетики, М., 1969.

² ГПБ, Погодное собрание (далее — Погод.), 64 (2 листа пергамена).

³ ГПБ, Погод., 63 (2 листа пергамена).

⁴ ГПБ, Погод., 9 (20 листов пергамена), а также Библиотека АН СССР, в Ленинграде, 4.5.7 (2 листа пергамена).

⁵ ГПБ, Q, п. 1, 73 (8 листов пергамена).

⁶ ГПБ, F, п. 1, 36 (15 листов пергамена).

⁷ См.: В. Н. Сидоров, Из истории звуков русского языка, стр. 30

ражающую утрату носовых гласных, но еще не освоившую восточнославянскую передачу сочетаний типа **tyrt*.

Житие Феклы. Корни с этимологическим сочетанием **tyrt* встретились в следующих случаях: а) в середине строки — *свьѣрже* 1а, *свьѣрженъ* 1а, *свьѣржена* 1б, *дѣвозѣрныи* 1а, *оутвѣрдиш* А 2а, *първомъ/чениц* А 2б — всего 6 написаний; б) в конце строки — *свьѣржена* 1б, *отъ пѣрвыхъ* 1б, *дѣржава* 2б, *потъ/лжи* Жвѣ 2б — всего 4 написания.

Этимологически правильное употребление букв ѣ, ѥ в рукописи ЖФ свидетельствует о наличии редуцированного гласного перед плавными и в живом языке писца. Последовательность, написаний убеждает нас в том, что у писца ЖФ имеется выдержанная, консеквентная передача древнерусских звукосочетаний с редуцированными перед плавными. В девяти примерах из десяти над буквой *p* в рассматриваемых сочетаниях поставлен особый диакритический знак. О его значении будет сказано ниже с учетом данных других рукописей.

Евгениевская псалтырь. Корни с этимологическим сочетанием **tyrt* встретились в следующих случаях: а) в середине строки — *врѣхъ* 18а, *разврѣз* Ать 17а, *дрѣжимы* А 3а, *дрѣзжигите* 12б, *жрѣтѣы* 13а, *позрѣца-ктѣ* 5а, *мрѣтвы* А 19а, *мрѣтви* 20б, *оумрѣцвени* 20б, *сѣмрѣть* 17а, *сѣмрѣтънѣи* 3а, *прѣтѣ* 7б, *милосрѣдиѣ* 1а, *милосрѣдѣ* 1а, *тѣрѣды* 7а, *грѣдыихъ* 18б (2 раза), *сѣ грѣдыни* 18б; *слѣнѣи* 11а (2 раза), 11б, *слѣн* А с А 7б, *млѣв* Ать 7б, *млѣниѣ* 4а, 14а, *облѣченъ* 10а, *облѣченоу* 5б, *исплѣнѣнѣкъмъ* 3а (2 раза), 7а, *исплѣнъ* 8б, 15б, 18б, *исплѣни* 15б, *слѣнѣце* 16б, *хлѣми* 16а — всего 36 случаев.

Были отмечены также следующие написания — *из мѣрѣтвыихъ* 6а, *оскѣрѣнѣваша* 1а, *оутвѣрди* 10б, *оутвѣрди* 10б, 18а, *оутвѣрди* с А 10б, *тѣрѣдо* 19б, *тѣрѣдоу* 15б — всего 8 случаев; б) в конце строки — *свьѣрь/ша* А 10б, *свьѣрь/шень* 18а, *дрѣ/жимы* А 3а, *мрѣтѣитѣ* 19а, *сѣмрѣ/тиѣ* 13б, 19а, *црѣ/кѣви* 5а; *грѣ/ди* 4б; *млѣ/ниѣ* 14а, *млѣ.ни* А 16б, *исплѣ/н* Ааше с А 17б — всего 11 случаев. Кроме того, встретилось написание *оутвѣр/жде-на* 10б.

Из приведенных примеров следует, что писец отдавал предпочтение старославянским написаниям, в особенности в положении конца строки, где отмечен только один пример с древнерусским порядком букв.

Бычковская псалтырь. Корни с этимологическим сочетанием **tyrt* встретились в следующих случаях: а) в середине строки — *отѣрѣзоше* (так) 5а, *чрѣвь* 4б; *грѣтани* 5б; *исплѣни* 3а (2 раза), *исплѣнениѣ* 7а — всего 6 случаев. Кроме того, были отмечены написания: *бѣрник* 1б, *привѣрженъ* 5а, *дѣрж* Ава 8б, *жѣртѣоу* 3а, *сѣмѣртны* А 6б, *пѣрстѣ* 5б, *тѣрѣдѣ* 2а, *от чѣртога* 2а; *истѣрѣнетѣ* 8б, *скѣрѣбѣ* 5а; *пѣрпѣхъ* (описка, вм. *тѣрпѣхъ*) 8а; *истѣрѣгы* 5а; *дѣлѣго/тоу* 4а, 7а; в поновленном тексте — *одѣржаша* 5а, *тѣрпѣци* 7б — всего 15 случаев; б) в конце строки — *сѣрѣдѣца* А 2б. Кроме того, дважды встретилось двуеровое написание — *дѣржѣ* А/вѣна 7а, *сѣ* дѣлѣго/тоу 7а.

Из перечисленных примеров следует, что у писца Бпс преобладают собственно древнерусские написания, свидетельствующие о значительном влиянии живого языка на графику. Отметим, что в двух примерах (*скѣрѣбѣ*, *истѣрѣнетѣ*) буква ѣ написана этимологически не оправданно на месте ѣ.

Минея Дубровского. Корни с этимологическими сочетаниями **tyrt* встретились в следующих случаях: а) в середине строки — *милосрѣдиѣ* 8б, но также — *свьѣршаше* 15а, *одѣржшмъ* 8б, *жѣртѣа* 4а,

сѣмьрти 9б, сѣмьртное 12б, бесѣмьртие 9б, бесѣмьртые 12б, пьрвок 9б, пьрвыа 10б, пьрвою 12б, пьрваго 14а, въ пьрвѣмъ 8а, пьрвѣнць 7а, твьрда 3а, твьрдоу 2б, твьрдоу 11б, твьрды 3б, оутвьрженік 2б, оутвьрженік 9б, оутвьрди сА 7а, оутвьрди 14а, оутвьржи 14а, тьрзание 4б, въ тьрнии 11а, тьрпѣвъ 3а, претьрпѣ 2б, претьрпѣлъ, 4б, страстотьрпѣць 3б, страстотьрпѣче 3а, 3б, чьрмное 13б, чьрмноую 2а; скьрбии 6б; мьлнии 13а, обьлкъша 14а, пьлкъы 4а, опьлчи сА 3а, испьлнение 8а, испьлнь 10б, испьлненъ 14б, стьлпъ 4б, тьлпы 2б, 3а — всего 44 случая. Наряду с перечисленными написаниями, в которых подавляющее большинство (43 из 44) соответствовало живой древнерусской речи, в МД были обнаружены двуеровые написания — дьръзновеник 6б, дьръзновеникъ 15а, жьрътвоу 5а (2р), жьрътвѣ 5б, оумьрътвиѣ 14а; обьлкъль 3б — всего 7 случаев; б) в конце строки — одьръ/жимоую 14а; сѣмь/ртъ 3а, 5б, бесѣмь/ртие 6а; сть/лпъ 13а, сь/лнцью 12б.

Из приведенных примеров следует, что в МД преобладают собственно древнерусские написания преимущественно с этимологически правильным употреблением редуцированных (единственное исключение — написание *скьрбии*), граница строки проходит только после букв ъ, ѣ.

Данные привлекаемых источников представлены в табл. 1, 2.

Данные исследуемых рукописей позволяют сделать заключение о том, что в древнерусских памятниках XI в. для передачи корней с этимологическими сочетаниями **tyrt* возможны четыре варианта написаний: *рь* (ст.-слав.), *ьр*, *ьр*, *ьръ*. Однако в одной рукописи в се варианты, как пра-

Таблица 1

Написания типа **tyrt* в середине строки

Памятник	рь	ьр	ьръ	ьръ	Кол-во написаний
ЖК	5	—	—	—	5
ЖФ	—	—	6	—	6
Епс	36	—	8	—	44
Бпс	6	15	—	2	23
МД	1	43	—	7	51
Всего	48	58	14	9	129

Таблица 2

Написания типа **tyrt* в конце строки

Памятник	рь/	ь р	ьръ/	ьръ/	Кол-во написаний
ЖК	1	—	—	—	1
ЖФ	—	3	1	—	4
Епс	11	—	1	—	13
Бпс	—	1	—	—	1
МД	—	5	—	1	6
Всего	12	9	2	1	25

вило, не употребляются. Отметим, что среди изученных источников как бы противоположные позиции, с точки зрения передачи корней с сочетаниями типа **tyrt* занимают ЖК и ЖФ. В первом — употребляются написания *рь*, а во втором — *ьр*. Что касается Епс, Бпс и МД, то в них представлено большее разнообразие. К ЖФ примыкает Епс, писец которой так-

же передает интересующие нас сочетания не только через *р̄ь*, но и через *ьр̄*. В Бпс и в МД написания с *ьр̄* не употребительны. Интересно, что написания *ьр̄* и *ьрь* взаимно исключают друг друга: если в памятнике имеются написания с *ьр̄*, то в нем отсутствуют двуеровые написания и наоборот, если имеются написания *ьрь*, то отсутствуют *ьр̄*. Весьма показателен в этом отношении материал рукописи МД, в которой, как известно, диакритические знаки широко употребительны, но нет ни одного употребления надстрочного знака над *р* или *л* в исследуемых сочетаниях. Можно думать, что у писца МД не было необходимости в употреблении надстрочных знаков над плавными, так как для выражения звукового значения соответствующих сочетаний были достаточными написания *ьр̄* или *ьрь*. С другой стороны, в графике ЖФ и Епс написания с *ьр̄* также были достаточными для передачи древнерусского звучания корней с сочетанием типа **tbr̄t*. Возможно, что различные способы передачи сочетаний типа **tbr̄t* объясняются не столько влиянием живой речи писцов, сколько разными писцовыми школами, существовавшими на Руси уже в XI в.

Следует заметить, что звуковые значения написаний с надстрочным знаком над плавным интерпретируются специалистами по-разному. И. В. Ягич, впервые опубликовавший и описавший рукописи ЖК и ЖФ, видел в этих написаниях лишь определенный графический прием, не имевший звукового значения⁹, В. Н. Сидоров считал, что в написаниях *ьл̄*, *ьр̄*, *ьр̄* передавались слоговые плавные¹⁰, которые, по его мнению, существовали в древнерусском языке. С большой степенью уверенности можно предполагать, что написания типа *ьр̄* в ЖВ и Епс по своему значению соответствовали написаниям типа *ьрь* в Бпс и МД. Основанием для такого предположения, на наш взгляд, является взаимоисключаемость названных написаний. Таким образом, следует предполагать, что звуковое значение корня в написании *държава* 26 ЖФ тождественно по своему значению с написанием *дъръжА/ььна* 7а Бпс. Конечно, нельзя не заметить, что навыки писцов со временем могли меняться, поэтому несовместимость написаний *ьр̄* и *ьрь* в одной рукописи могла утратиться.

Обращает на себя внимание близость между собой рукописей Бпс и МД, в которых строго соблюдается этимологическая последовательность при написании соответствующих корней. Интересно отметить, что в Епс в корнях с этимологическим **tbr̄t* отмечены написания *ь* перед *р* (*твр̄рди*), а в корнях с **tbl̄t* редуцированный пишется после плавного (*мл̄въАть*, *вл̄ьны*)¹¹. Данное обстоятельство позволяет высказать некоторые предположения о последовательности появления собственно восточнославянских написаний. Очевидно, написания с *ьр̄*, употреблявшиеся в древнерусской письменности наряду со старославянскими, появились несколько ранее, чем написания с *ьл̄*. Возможно, более раннее появление написаний *ьр̄* объясняется мягкостью древнерусского *р*, возникшей под влиянием предшествующего редуцированного гласного переднего ряда¹². Заметим, что из девяти двуеровых написаний в Бпс и МД семь примеров представляют корни с сочетаниями типа **tbr̄t*, причем написания *ьрь* встретились в положении перед группой согласных *зн*, *тв*, *кл*. Перед одним согласным двуеровые написания отмечены только в двух случаях: *дъръжА/ььна* (Бпс) и *одър̄/жимоую* (МД).

⁹ V. Jagić, Zur Berichtigung der altrussischen Texte, AfslPh, VI, Hf. 2, 1882, стр. 234.

¹⁰ В. Н. Сидоров, Из истории звуков русского языка, стр. 33.

¹¹ См.: Н. П. Гринкова, Евгенневская псалтырь как памятник русской письменности XI века, ИОРЯС, XXIX, 1924, Л., 1925, стр. 304.

¹² А. А. Шахматов, Очерк древнейшего периода истории русского языка, Пг., 1915, стр. 47.

В подавляющем большинстве случаев в рассмотренных рукописях буквы ъ, ь перед плавными пишутся в соответствии с этимологией. К немногочисленным отклонениям относятся три примера — это *истьргнетъ* (Бпс), *скърбь* (Бпс) и *скърбиш* (МД). Написание *истьргнетъ* (корень *-търг-*) дан в виде *-търг-*, возможно, появилось под влиянием аналогии с такими глаголами, как *търгати*¹³. Что же касается написания *скърб-*, то, как известно, примеры подобных написаний встречаются довольно часто и в других древнерусских рукописях древнейшей поры, преимущественно южно-русского происхождения¹⁴ (Путятин Миней¹⁵, Архангельское евангелие¹⁶, Синайский патерик¹⁷, Успенский сборник XII—XIII вв.¹⁸). По всей вероятности, написание *скърб-* соответствовало живому южнорусскому произношению, и, следовательно, писцы Бпс и МД при списывании руководствовались не только нормами книжного произношения, но и передавали особенности своей живой речи.

Что касается реального звукового значения написаний *ьр*, *ьр̑* и *ьръ*, то их можно считать равнозначными. Очевидно, они указывали на открытый слог. Это предположение подтверждается сравнением интересующих нас написаний в конце и в середине строки.

Известно, что в древнеславянской письменности при слитном письме строка обычно заканчивалась буквой ь или ъ. В исследуемых текстах при написании корней с сочетанием типа **tʏrt* граница строки проходит в 25 примерах только после буквы ь или ъ, причем в одном примере после плавного с диакритическим знаком (см. табл. 2). Структурное сходство написаний в середине и в конце строки позволяет сделать заключение об идентичности их звукового значения. Следовательно написания с *ьр*, *ьр̑* и с *ьръ* обозначали одно и то же и указывали на наличие открытого слога. Можно думать, что вариантность передачи открытого слога в этих сочетаниях в известной мере зависела от уровня образованности писца и от его орфографической школы, а также от темпов «обрусения» старославянской орфографии.

О реальном произношении древнерусского открытого слога в данной позиции, нам кажется, судить трудно. В. Н. Сидоров, как известно, предполагал в этих условиях развитие слоговости у плавных согласных¹⁹, а В. М. Марков считает, что в подобных случаях «не только развивался слогообразующий плавный, но и происходило его сокращение, в результате которого имело место появление слабого гласного вставочного звука»²⁰. Существенно, что обе точки зрения совпадают в своих суждениях о наличии реального открытого слога в указанных условиях.

¹³ См.: М. А. Соколова, К истории русского языка в XI веке, «Известия по русскому языку и словесности АН СССР», 1930, III, кн. 1, стр. 111.

¹⁴ См.: И. В. Ягич, Критические заметки по истории русского языка, СПб., 1889, стр. 15, 17, 26.

¹⁵ См.: В. М. Марков, К истории редуцированных гласных в русском языке, Казань, 1964, стр. 200, 204.

¹⁶ См.: М. А. Соколова, К истории русского языка в XI веке, стр. 111.

¹⁷ «Синайский патерик», М., 1967, стр. 64, 67, 125.

¹⁸ «Успенский сборник XII—XIII вв.», М., 1971, стр. 691.

¹⁹ См.: В. Н. Сидоров, Из истории звуков русского языка, стр. 33.

²⁰ В. М. Марков, К истории редуцированных гласных в русском языке, стр. 225.

В. З. ЗЛАТКИН

**ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЛЕКСИЧЕСКИХ ЗНАЧЕНИЙ В СОЧЕТАНИИ
«ГЛАГОЛ — ПРЕДЛОГ — ИМЯ»**

Падежная форма в конкретном предложно-падежном сочетании, являющемся структурно-семантическим целым, есть форма слова с определенным лексическим значением. С другой стороны, слово, представленное в сочетании данной падежной формой, находится в сложных лексико-семантических и грамматических отношениях с предлогом.

Структура этого объединения выражена формулой модели (например, «*в* + вин. падеж» или «*на* + предл. падеж»). Как известно, в речи моделей в чистом виде нет — они представлены конкретными сочетаниями, имеющими значения, «производные» от значений компонентов. В речевом потоке воспринимается только функциональное (синтаксическое) значение, в то время как лексическое «производное» существует имплицитно, хотя и предопределяет функцию.

Что же понимать под лексическим «производным», и какова роль зависимой падежной словоформы в формировании этого значения?

У ряда слов (типа *яма*, *ров*, *канава*) обобщающее значение — «углубление в земле». Таким образом, и *яма*, и *ров*, и *канава* — углубления в земле, хотя и разной формы. Вероятно, сочетания *в яму*, *в ров*, *в канаву* тоже имеют общее значение (синтаксическую функцию). Итак, функция у всех трех форм одна. Каковы их лексические «производные»?

Слова *яма*, *ров* и *канава* по своему лексическому значению различаются гораздо больше, чем лексические «производные» форм, состоящих из этих слов и предлога. Это объясняется, по-видимому, тем, что с названными словами сочетается один и тот же предлог *в* с единственно возможным для данного ряда слов лексическим значением¹. Взаимодействуя с зависимыми словоформами, предлог как бы «высветлил» ту сторону их лексики, которую можно выразить как «углубление, кем-то или чем-то заполняемое».

Выше было сказано о том, что сочетание предлога и зависимой словоформы есть структурно-семантическое целое, в котором оба компонента активно участвуют в выражении как лексической семантики (лексического «производного»), так и синтаксических отношений (функций), а также определенным образом взаимодействуют со стержневым словом и другими контекстуальными средствами. Аналитизм в области лексической семантики заключается в том, что предлог, выражая свое значение в составе предложно-падежной формы, как бы предопределяет признак того предмета или явления, которое обозначено зависимым словом (например, нельзя сказать *под воздухом*, но можно *под столом*, *под стулом* и т. д.). Этот признак не акцентируется при употреблении слова без предлога. Таким образом, отдельно лексическое значение зависимой словоформы без учета значения предлога вывести невозможно, а с учетом предлога это значе-

¹ Автор признает лексическое значение предлога, считая, к примеру, что *в* в сочетании *в пятом часу* и *в* в сочетании *в доме* — омонимы, а *в* в сочетаниях *в яме* и *в лесу* различаются в пределах многозначности.

ние может быть только описано (например, «стол с пространством под ним, которое может быть чем-то заполнено»). Акцентированный признак в составе значения зависимого слова, предопределенный, с одной стороны, значением предлога, а с другой, как компонент лексического «производного» сам предопределяет функцию, т. е. синтаксическое значение предложно-падежной формы. Таковой представляется двуединая роль зависимого слова в формировании лексической и синтаксической семантики «внутри» предложно-падежного сочетания.

Нельзя не отметить роли стержневого слова, которое, в плане своего распространения, предопределяет значение формы как целого. Например, в словосочетании *сидел под дубом* слово *дуб* в сочетании с предлогом *под* воспринимается и как дерево, и как место для сидения, и такое восприятие обусловлено семантикой глагола *сидеть*.

Как же определяются семантические разряды форм одной и той же модели? Как определить разряд, группу, состоящую из предложно-падежных форм типа *в яму, в ров* и т. п.? Определений подобных групп пока нет. Возможны такие варианты. Первый — описательные определения; например: «формы, обозначающие место приложения действия» (*к телу, к подножию, к стене*). Эти определения исходят из функциональной природы явления. Вариант второй — определения семантических групп, основанные на лексической общности зависимых слов, которые выступают как типизированные средства, например: «формы с предлогом *в* и зависимым словом, называющим часть квартиры» (*в прихожую, в кухню, в кладовую, в коридор, в гостиную, в кабинет*). В отличие от описательных, или функциональных, определений первого варианта, определения второго варианта можно охарактеризовать как структурно-лексические. Функциональные определения групп предложно-падежных форм могут иметь место при описании моделей с достаточно большим количеством функций и сравнительно небольшим количеством зависимых слов, относящихся к одному ряду.

Структурно-лексические определения могут быть даны соответствующим разрядам форм в тех случаях, когда модель имеет немного функций, зато зависимые слова каждого типа форм данной функции, относящиеся к одному и тому же лексическому ряду, представлены в большом количестве (например, формы с предлогом *в*).

Оба определения для предложно-падежных форм — функциональное и структурно-лексическое — относятся к разным ярусам языка, что само по себе не порождает сомнений в правомерности подобной классификации. Таким образом, классифицируя предложно-падежные формы по их функциональной семантике, структуре или лексической общности зависимых слов, можно придерживаться одного основополагающего категориального признака, приведенного в соответствие с надлежащим уровнем структуры. Однако не исключаются и другие признаки, т. е. критерии разных уровней вполне допустимы. Классификация по синтаксическим функциям не составляет предмета данного исследования. Объект рассмотрения и анализа прежде всего со стороны так называемого лексического «производного» — это группы форм, определения которых исходят из лексической общности зависимых слов.

Лексические взаимодействия словоформы и предлога в рамках одной какой-либо пространственной функции — это контаминации двух компонентов, приводящие к образованию третьего. Каков же этот «третий» в ряду себе подобных, и каким образом происходит передвижка акцента в лексическом значении зависимых слов одного ряда, приводящая к образованию единой синтаксической функции?

Ответом на вопрос послужит анализ форм с предлогом *в* и зависимыми

словами, называющими вид строения. Это слова: *дом, здание, дворец, барак, изба, сарай, амбар, колодец*. Формы: *в дом, в здание, во дворец, в барак, в избу, в сарай, в амбар, в колодец*. Самоочевидно, что зависимые слова существенно, даже резко различаются лексически. Так, *дом* — любое жилое строение, *здание* — архитектурное сооружение, постройка, *дворец* — большое здание общественного назначения, *барак* — легкая деревянная постройка для временного жилья, *изба* — крестьянский деревянный дом, *сарай* — крытое строение для различного имущества, *амбар* — строение для хранения зерна, муки, разных припасов, *колодец* — подсобное сооружение для добывания воды.

Приведенные здесь предложно-падежные формы, в состав которых вошли разные в лексическом отношении слова, служат для выражения единственной функции — функции обозначения места, в которое направлено движение, действие. Какие же сдвиги в лексике зависимых слов привели в конечном итоге к формированию названной функции?

Зависимые слова в составе предложно-падежных форм *в дом, в колодец*, а также лексические «производные» этих форм как будто не имеют ничего общего. Лексическое «производное» формы *в дом*, с учетом значения предлога, можно сформулировать как «строение, в которое можно войти», а лексическое «производное» формы *в колодец*, вне контекста, — это «сооружение, в которое можно что-то спустить». «Высветленными» оказались два естественно разных признака у двух разных предметов. Признаки эти суть обратная проекция на лексику предполагаемых стержневых глаголов, не качественные и не количественные, а потенциально-действенные, исходящие из самого предназначения объектов, из их натуральной формы. Предлог *в* исключает в обоих случаях из лексической семантики зависимых слов одни и те же потенциально входящие в нее компоненты — признаки формы, материала, целевого назначения, размера, цвета и т. п. Остается то, что все же ассоциируется между собой, несмотря на лексическую разницу по существу природы самих объектов обозначения. Остаются признаки, стимулируемые значением предлога, единственно возможные для данных сочетаний, т. е. такие признаки, выражение которых обусловлено ожидаемой реализацией значений соответственных стержневых глаголов в акте образования словосочетания. Так, по-видимому, «складывается» лексико-семантическая ситуация в рамках сочетания «стержневое слово + предложно-падежная форма».

Может возникнуть сомнение относительно условий порождения потенциально-действенных признаков у зависимых слов сочетаний, в составе которых нет глагола. По-видимому, семантика почти всякого существительного имплицитно имеет в своем составе подобные признаки. Так, слово *дом* означает не простое строение, а здание для жилья. Именно это значение «для жилья» и есть тот потенциально-действенный признак, о котором идет речь. В составе формы с предлогом под влиянием значения предлога он акцентируется, как бы выводится на линию «стыковки» с семантикой стержневого глагола (*жить в доме*).

Итак, определенные выше лексические «производные» неодинаковы. Но они ассоциируются между собой, ибо восходят к общему, родовому, значению. Назовем его значением вхождения. По всей вероятности, это обобщающее значение и будет тем рубежом, на котором заканчивается лексика и начинается синтаксис. До контаминации с предлогом слова *дом* и *колодец* весьма имплицитно и отдаленно хранили в своей семантике элементы, способные к описанной выше ассоциации. Лишь на основе лексической контаминации в составе сочетания и образования лексического «производного» формируется единая синтаксическая функция формы, состоящей из предлога и зависимого слова. Анализ лексических взаимо-

действий частей форм *в здание, во дворец, в барак, в избу, в сарай, в амбар* вряд ли будет отличаться от приведенного выше.

Какова же контаминирующая роль предлога? Является ли он всего лишь семантическим стимулятором тех структурных смещений, которые происходят в лексике зависимого слова, или самостоятельной лексемой, меняющей свое значение в зависимости от условий контаминации?

Обратимся к природе предлога. Прежде всего вряд ли можно утверждать одинаковую ценность знаменательных слов и предлогов, так как сами понятия о предметах (действиях) и об отношениях между ними, выраженных, к примеру, в пространстве и во времени, неравноценны. Функция обозначения понятия о предмете, действии или состоянии называется лексическим значением слова. Лексическим значением предлога будет функция обозначения понятия об отношении между предметами или действиями, которые находятся в одной плоскости с предметами. Лексическая и грамматическая функции предлога дифференцируются и их необходимо разграничивать. Грамматическая функция предлога есть функция управления зависимой падежной словоформой. Это — основная грамматическая функция. Есть и другие (например, быть проводником синтаксической роли стержневого слова или являться «второй» флексией). Возможно, на этом перечень грамматических функций предлога не заканчивается. Однако речь идет не о грамматике предлога, а о его жизни в лексической среде, о его самостоятельных лексических функциях, если можно их так назвать.

Нельзя не обратить внимания на абстрактный характер лексических значений предлога (пространственное, временное, причинное, целевое и пр.). Не в нем ли заключена предпосылка к формированию значения иной, более высокой ступени абстракции — синтаксической функции? Разумеется, опосредованно — через акцентированный признак зависимого слова и лексическое «производное» предложно-падежной формы.

В зависимости от требования контекста, один и тот же предлог может выражать пространственное, или временное, или еще какое-либо значение (ср.: *в лесу — в пятом часу — в победу (верить)* и т. д.). Таким образом, критерий разграничения омонимии и полисемии предлога представляется более четким и определенным, чем критерий разграничения омонимии и полисемии знаменательных слов.

В силу особой абстракции и обобщенности своих лексических значений, которые не контаминируются с сугубо индивидуальными признаками предмета или действия, обозначенного полнознаменательным словом, предлог формирует синтаксическую функцию, становясь как бы связующим звеном между абстракциями одного и того же рода, заложенными в семантику стержневого и зависимого слов — компонентов словосочетания. При этом полисемия предлога будет выражаться в рамках и на фоне синтаксической многофункциональности предложно-падежных форм одной и той же модели одного и того же обобщающего значения, например, пространственного [ср.: *приехали к друзьям — стояла к морю (лицом) — идти к войне — к подножию припали — повернулся к дверям*].

Грамматическая автономия предлога, как известно, выражается в том, что он управляет падежной формой, являясь промежуточной, посреднической ступенью иерархии со стержневым словом во главе нее. В чем же заключается его лексическая автономия? В закрепленности за определенным набором значений, а также в той особой позиции, которую занимает специфичная семантика предлога по отношению к семантике знаменательных слов. Своеобразием предложной семантики можно объяснить широкие сочетательные возможности предлога. Вообще, чем конкретнее значение слова, тем уже его сочетательные возможности. Значение предлога не

может быть конкретным, даже в каждом, отдельно взятом, случае употребления. В одном отношении, однако, предлог схож с так называемыми знаменательными словами: их и его значения диктуются контекстом, дистрибуцией (полнозначное слово, как и предлог, выступает в речи в том единственно возможном значении, которое необходимо в данном окружении слов, но которое появляется у слова как бы «по требованию» слов-соседей). Выражение множественных, разнохарактерных отношений между предметом и действием (состоянием) предопределило в свое время многофункциональный характер предлога, универсальность его лексической семантики.

Образно говоря, предлоги — своеобразные лексико-грамматические «сочленения» словосочетаний, в силу которых можно различать два вида сочетаемости слов: беспредложную и предложную. Но предлоги и сами сочетаются, являясь частью формы, семантика которой развивает и расширяет семантику стержневого слова. Они сочетаются и со стержневым словом, и с зависимым — и не так, как сочетаются между собой полнозначные слова, создавая иерархии «главный член — второстепенный член».

Таким образом, предлог — самостоятельная лексема и полноправный участник актов лексических взаимодействий, осуществляемых совместно с полнозначными словами. Синтезирующиеся в результате лексической контаминации лексические значения, теряя конкретность, восходят к синтаксической функции, как бы преобразуются в нее, и в этом процессе формирования синтаксической семантики, «очищенной» от конкретных лексических компонентов, активную роль играет предлог. Его лексика абстрактнее лексики остальных членов словосочетания. Она характерна той заданностью, которая предопределяет значение синтаксической функции. Важно подчеркнуть, что лексика предлога абстрактнее лексики главного слова словосочетания, в которое он входит как второстепенный компонент. Но это только на первый взгляд. Ибо лексика предлога, в конечном счете, предопределяет характер обобщающего синтаксического значения словосочетания (пространственного, временного, причинного и т. д.).

Стержневой глагол, как известно, управляет зависимым словом. Надо полагать, что управляет он и предлогом, и в целом предложно-падежной формой. Это его грамматические функции. Лексически же глагол представляется несравненно богаче других компонентов словосочетания. Глагольная лексика исследовалась и исследуется весьма активно, однако нет еще стабильной лексико-семантической классификации, нет оптимальных критериев разграничения, что существенно затрудняет исследования в области глагола и его дистрибуции. Лексические контаминации стержневых глагольных словоформ с единственно возможными для данного контаминирующего состава лексическими значениями, состав этих значений, их роль в образовании новой внутренней лексической формы — лексических «производных», межкомпонентные зависимости с учетом момента первичности — вторичности по отношению к акту контаминации, а также предположительные модели контаминации (контаминационные типы) «стержневой глагол — предлог», «стержневой глагол — зависимое слово», «стержневой глагол — предложно-падежная форма» — вот вопросы, требующие своего разрешения.

В порядке лингвистического эксперимента рассмотрим следующие произвольно взятые словосочетания (попарно): *залезть в дом — залезть на дом и залезть в душу — залезть в квартиру*. В этих словосочетаниях один и тот же глагол *залезть* с его чуть ли не омонимичными значениями, разные предлоги при одних и тех же стержневых и зависимых словах в первой

паре и разные зависимые слова при одних и тех же стержневых словах и предлогах — во второй паре. Наиболее характерна первая пара словосочетания *залезть в дом* — *залезть на дом*, так как в ней четко противопоставлены значения конструкций, обусловленные контаминационной активностью различающихся предлогов. Обратимся к первой паре словосочетаний. Они взяты вне контекста, но это не статические модели типа «стержневой глагол + предложно-падежное сочетание», где зависимая словоформа в вин. падеже, а их реализации, так как на месте модельных компонентов — словоформы, контаминирующие между собой даже в отвлечении от конкретного текста. С другой стороны, их нельзя принять за отрезки речевого потока, хотя бы потому, что они не выделены из последнего, а взяты из арсенала словосочетаний как речевых средств. Иначе говоря, это не вполне статика языка, но еще и не динамика. Тем не менее, словоформы «живут», участвуют в лексических процессах, различаются своими значениями, входя в состав разных словосочетаний, точно так же, как и в случаях выделения таковых из отрезков речевого потока (предложений) или наблюдения за ними в контексте.

Исходные контаминирующие значения словоформ первой пары: стержневое слово *залезть* из словосочетания *залезть в дом* означает действие с целью воровства, ограбления; предлог *в* — со значением указания направления в пространстве; зависимая форма *дом* называет не постройку (здание), а помещение с имуществом, которым можно пожить (ср. со вторым словосочетанием *залезть на дом*, где *дом* именно постройка).

Во втором словосочетании стержневое слово *залезть* означает только физическое действие. В его лексическом наполнении нет и намек на иную цель этого действия. Предлог *на* употребляется со свойственным ему пространственным значением (предложно-падежные формы модели «на + вин. падеж» обозначают предмет, на поверхность которого направлено действие), а зависимая словоформа *дом* означает постройку для жилья, имеющую высоту (названный признак выделен в составе лексического «производного» формы *на дом*).

Компоненты первого словосочетания контаминируют активнее, выражая синтезированное понятие об ограблении. Во втором словосочетании, формально отличающемся от первого лишь предлогом, контаминация слабее, и общее значение воспринимается не как синтез, а, скорее, как последовательность частных лексических значений. При сопоставлении словосочетаний напрашивается вывод об особой роли предлога, как бы стимулирующего начало контаминации, но это, по-видимому, не так: значение предлога слишком абстрактно, универсально, а, главное, предлог, один, без глагола, не в состоянии вызвать даже мену значений зависимой словоформы.

Однако и стержневой глагол выступает то в одном, то в другом своем значении при данном составе предложно-падежной формы. Следовательно, предложно-падежная форма, этот микроконтекст при стержневом глаголе, в котором определяющую семантическую роль играет лексическое значение предлога, как-то влияет на мену значений глагола. Окончательное формирование значения падежной словоформы уже зависит от лексического значения глагола.

Такова природа лексической контаминации: в ней нет прямых зависимостей, скрещений, не всегда совпадает «командная» роль лексемы с моментом первичности, начала контаминации, зависимости носят встречный, перекрестный характер. Важно отметить, что мы вообще не имеем дела с прямыми, изначальными лексическими значениями компонентов словосочетания, а получаем, так сказать, конечный лексический продукт, представленный как обобщающим значением словосочетания, так и един-

ственно возможными при данных взаимодействиях значениями мотивирующих ее словоформ (за исключением тех случаев, когда прямое значение совпадает с контаминирующим: *залезть на дом*). Таким образом, глагольное слово, получая свое распространение в виде предложно-падежной формы, которой оно управляет, в свою очередь оказывается ограниченным одним из своих значений, незаменимым в данной контаминирующей группе, и, что самое важное, определяющим не только окончательное лексическое значение падежной словоформы, но и сам характер контаминации всех трех компонентов словосочетания. Так, «активность» контаминации между компонентами словосочетания *залезть в дом* и «пассивность», «вялость» контаминации между компонентами словосочетания *залезть на дом* соответственно обусловлены характером лексических значений глагола *залезть*.

Возможно ли вообще установить какую-то первичность — вторичность контаминирующих компонентов? Вне контекста некую первично-опорную роль мы усматриваем лишь у предлога. И то при условии тождества остальных компонентов словосочетаний. Картина резко меняется при вводе словосочетания в контекст, при перемене контекстов. Ср.: 1) *Залезть в дом рискованно: хозяева вот вот должны вернуться*; 2) *Залезть в дом, на третий этаж, можно только по водосточной трубе*; 3) *Залезть в дом не составляло особого труда*; 4) *Залезть в дом и выбраться из него с краденым не составило труда*. Стержневой глагол «переключается» на новый контекст. Только стержневое слово «играет», остальные компоненты словосочетания «остаются в тени».

Итак, вне контекста, глагол *залезть*, ограниченный своим словосочетанием, выступает не в прямом своем значении, а в одном из переносных, ставшем потенциально основным (*залезть* — в смысле «забраться с целью грабежа»). Глагол *залезть* в третьем, первом и четвертом контекстах различается еле заметными лексическими оттенками. Третий контекст: *залезть* значит «проникнуть через окно, трубу, крышу»; первый контекст: *залезть* — «проникнуть с какой-то особой целью»; четвертый контекст: *залезть* — «забраться с целью грабежа» (цель, как видим, контекстуально регламентирована). Во втором контексте глагол *залезть* обозначает определенный образ действия (физического), и только. Любопытно, что и зависимая словоформа *дом* варьирует в разных контекстах. В первом *дом* — «квартира» (запертая), во втором — «многоэтажное здание», в третьем — «абстрактное жилище», в четвертом — «жилье» (чужое). Один только предлог как бы не «варьирует».

В паре словосочетаний *залезть в душу* — *залезть в квартиру* самыми активными контаминирующими компонентами-различителями являются, на первый взгляд, зависимые слова. Они — разные, различают словосочетания, отсюда представление, что именно зависимые слова определяют их значение и, стало быть, первые контаминируют со стержневыми глаголами, а не наоборот. Такое впечатление складывается лишь при сопоставлении обоих словосочетаний. Если рассматривать каждое из них в отдельности, представление будет иное, даже на уровне словосочетания вне контекста.

По-видимому, нет оснований считать зависимое слово стимулятором контаминации, особенно в первом словосочетании, которое является законченным фразеологизмом.

Представляется неправомерным вообще искать среди компонентов словосочетания «стимулятор» всей контаминации. Этим последним будет сама ситуация, сам акт сочетания слов, их объединения в одну форму выражения, порождающий контаминационные действия, которые в свою очередь приводят к единственно возможным значениям компонентов, лек-

сическим «производным» от них и в целом к определенным общим значениям словосочетаний. Что же касается активных компонентов-различителей, выступающих при сопоставлении двух словосочетаний на первом плане контаминации, то их активность объяснима двумя факторами: самой ситуацией сопоставления и однородностью всего остального состава словосочетаний, на фоне которых компонент воспринимается как стимулятор (ср.: *залезть в дом* и *залезть в душу*, где «стимуляторы» — зависимые слова).

В свете изложенного возможно рассмотрение проблемы контаминационных типов. Говоря о ситуации как о «первичном» факторе, вызывающем контаминацию и появление, в конечном счете, значения всего словосочетания, нужно сказать, что в отдельных контаминационных актах, составляющих контаминационное действие, есть компоненты-стимуляторы. Однако их выделение, а также выявление модели самого контаминационного акта, представляет значительные трудности. Выше было сказано о первичности предлога, контаминирующего в обе стороны со стержневым и с зависимым словами. Но в форме *в дом* лексическое «производное» стимулирует именно предлог, а не зависимое слово.

В структурном отношении форма *в дом* есть реализация модели «*в* + вин. падеж». Какова же модель отдельного контаминационного акта (контаминационное действие есть совокупность всех контаминационных актов в рамках одного словосочетания)? Каким критерием руководствоваться при выделении таких моделей?

Очевидно, таким критерием должна быть направленность отдельной контаминации (акта). Можно определить направления актов, их вероятные модели. Так, в словосочетании *залезть на дерево* (ср. *залезть на дерево*, *залезть на гору*, *залезть на голову*, *залезть на диван*) представляется возможным выделить контаминацию зависимого слова с глагольно-предложной частью. Соответственно модель: «стержневой глагол — предлог ← зависимое слово». Контаминация между стержневым глаголом, предлогом, зависимым словом — модель: «стержневой глагол ⇔ предлог ⇔ зависимое слово»; контаминация между предлогом и зависимым словом — модель: «предлог → зависимое слово»; контаминация между предложно-падежной формой и стержневым глаголом — модель: «глагол ← предложно-падежная форма». Модель всего контаминационного действия: [(структурный глагол ← предлог) ← (предлог → зависимое слово)]. Разумеется, это первый вариант, имеющий к тому же предварительный характер как не исчерпывающий контаминационные акты во всей их последовательности, полноте и направленности.

Е. И. ЦАРЕНКО

НЕКОТОРЫЕ ФОНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЯЗЫКА КЕЧУА

В предлагаемой статье содержится дополнительный материал, касающийся функциональных особенностей ларингалов в языке кечуа.

Напомним еще раз правила дистрибуции ларингальных фонологических единиц (фонем и дифференциальных признаков): 1) ларингальные фонемы /h/ и /ʔ/ возможны только в начале слова; 2) ларингализованные фонемы допустимы только в начально-слоговой (сильной) позиции, но могут употребляться как в начале, так и в середине слова; 3) в пределах слова допускается наличие только одной из ларингальных фонем — /h/ или /ʔ/ (что является следствием из первого правила); 4) в пределах слова допускается наличие только одной придыхательной или одной смычно-гортанной фонемы; 5) в пределах слова невозможно одновременное наличие придыхательной и смычно-гортанной фонемы; 6) в пределах слова не допускается сочетание однородных, но допускается сочетание разпородных ларингальных и ларингализованных фонем¹.

Проследим, как эти правила проявляются на различных уровнях языковой системы кечуа.

1. Реальность законов употребления ларингальных элементов становится очевидной при сравнении языков кечуа и аймара. Фонологические системы, характер распределения звуков в речевой цепи и структура слова в обоих языках очень близки. В то же время в языке аймара не всегда соблюдаются свойственные языку кечуа закономерности употребления ларингалов. Например: *phuqhi* «полный», *k'ist'u* «палка», *phallch'a* «светиться», *ch'ankha* «нить», *hatha-* «рождаться», *ʔist'a-* «слушать» и т. п.²

В этой связи весьма показательны соответствия в сфере общей для обоих языков лексики, отмеченной ларингальностью³:

А й м а р а	К е ч у а	
<i>t'ant'a</i>	<i>t'anta</i>	«хлеб»
<i>p'anp'a-</i>	<i>p'anpa-</i>	«хоронить»
<i>khithu-</i>	<i>khitu-</i>	«выравнивать»
<i>k'utha-</i>	<i>kuta-</i>	«молот, размалывать»
<i>qhasqa</i>	<i>qhasqa</i>	«жесткий, грубый, шершавый»
<i>chhuxchhu</i>	<i>ch'ukchu</i>	«лихорадка»
<i>khuchhu-</i>	<i>khuchu-</i>	«обрубить, отрезать»
<i>k'ullk'u</i>	<i>k'ullku</i>	«толпа, давка»
<i>k'isk'i</i>	<i>k'iski</i>	«тесный, узкий»
<i>ch'unch'u</i>	<i>ch'unchu</i>	«дикарь».

¹ См.: Е. И. Ц а р е н к о, К функциональной характеристике ларингальности в языке кечуа, ВЯ, 1973, 3.

² В основу принятой здесь фонологической транскрипции положен слегка измененный практический алфавит для языков кечуа и аймара. Фонетические значения некоторых символов: *ch, il, ñ, y* — как в испанском; *w* — как в английском; *q* — увулярный смычный типа арабского «қāф»; *h, '* после согласных — различительные признаки аспирации и глоттализации.

³ Мы не касаемся здесь вопроса об источнике заимствования или о возможной генетической связи между двумя языками. Об этом см.: С. О г г, R. E. L o n g a s e, Proto-Quechumaran, «Language», XLIV, 3, 1968.

Таким образом, из двух признаков ларингализации, содержащихся в аймаранских словах, в кечуанском варианте сохраняется только один, причем он закрепляется за первым по порядку смычным в данном слове ⁴.

Рассмотрим слова, в которых одновременно имеются как ларингальные, так и ларингализованные фонемы:

А й м а р а	К е ч у а	
ʔamawt'a	ʔamawta/hamawt'a	«мудрец, учитель»
ʔamanq'aya	ʔamanqay/hamanq'ay	«растение типа лилии»
ʔirq'i	ʔirqi/hirq'i	«ребенок»
hichhu	ʔichhu/hichu	«трава, растущая в высокогорной степи».

Из примеров видно, что в языке кечуа нарушения законов сочетаемости ларингальных и ларингализованных фонем в слове устраняются двумя путями: либо исчезает признак ларингализации смычной внутри слова, либо одна ларингальная фонема в начале слова заменяется другой.

2. Аналогичные соответствия обнаруживаются и при сравнении «ларингализованных» диалектов Куско в Боливии; примеры на употребление ларингальных признаков:

К у с к о	Б о л и в и я	
<i>qucha</i>	<i>qhucha</i>	«озеро»
<i>qapari-</i>	<i>qhapari-</i>	«кричать»
<i>qati-</i>	<i>qhati-</i>	«следовать»
<i>kunan/khunan</i>	<i>kunan</i>	«сейчас»
<i>karu/kharu</i>	<i>karu</i>	«далекий»
<i>yarqha</i>	<i>larq'a</i>	«оросительный канал»
<i>maska-/maskha-</i>	<i>mask'a-</i>	«искать»
<i>q'uchu-</i>	<i>qhuchu-</i>	«веселиться»
<i>ch'illu</i>	<i>chhillu</i>	«очень черный»
<i>chikchi</i>	<i>ch'ikchi</i>	«град»
<i>kuru</i>	<i>khuru</i>	«червь»
<i>llughamichka</i>	<i>llug'a-michkha</i>	«взбираться»
		«кукуруза молочно-восковой спелости»
<i>paska-</i>	<i>phaska-</i>	«развязывать, выпускать»
<i>qasa</i>	<i>ghasa</i>	«заморозки»
<i>qata-</i>	<i>qhata-</i>	«покрывать»
<i>qilla</i>	<i>ghilla</i>	«ленивый, инертный»
<i>qispi-</i>	<i>ghispi-</i>	«спасаться, избавляться, освобождаться»
<i>tikra-</i>	<i>t'ikra-</i>	«переворачивать»
<i>yanqa</i>	<i>llanqha</i>	«напрасный».

Примеры на одновременное употребление ларингальных и ларингализованных фонем:

⁴ Ср. в осетинском языке диссимилятивное озвончение в заимствованных словах, содержащих две глухие (особенно абруптивные) согласные фонемы в разных слогах; русск. *полковник* > *bulk'on*; русск. *капуста* > *k'abuska*; груз. *p'it'na* «мята» *bil'yna/be-i'ina*; груз. *p'ark'i* «кулек» > *barch'i*; груз. *krtami* «взятка» > *gærtam*, и т. п. Регрессивная диссимиляция действует и в исконно осетинских словах. См.: «Грамматика осетинского языка», под ред. Г. С. Ахвледиани, 1, Орджоникидзе, 1963, стр. 59; М. И. Исачев, Дигорский диалект осетинского языка, М., 1966, стр. 15, 29—30.

К у с к о	Б о л и в и я	
<i>?isqun</i>	<i>hisq'un</i>	«девять»
<i>?illapa/hillap'a</i>	<i>?illapa</i>	«молния»
<i>hank'u</i>	<i>?anku</i>	«нерв, сухожилье»
<i>?usuta/husut'a</i>	<i>huh'uta</i>	«индейская сандалия»
<i>?ullpu-</i>	<i>hullpu-</i>	«сгибаться, наклоняться»
<i>?achhi-</i>	<i>?achi-</i>	«чихать»
<i>?itha/hita</i>	<i>?itha</i>	«вид вши»
<i>hiti-</i>	<i>?ithi-</i>	«отступить»
<i>hupa-/?upha-</i>	<i>?upha-</i>	«умываться»
<i>huqari-</i>	<i>?uqhari-</i>	«подниматься»
<i>hurqu-</i>	<i>?urqhu-</i>	«вынимать».

3. Иногда законы несовместимости ларингальных артикуляций проявляются и при усвоении заимствований из испанского языка. Так, испанский фрикативный *f* в кечуа передается посредством придыхательного смычного *ph*: *fiero* «гордый» > *phiru*; *fiesta* «праздник» > *phista*. Следовательно, слово *fósforo* «спичка» должно выступать в форме **phusphuru*. Но «нетерпимость» к одновременному наличию нескольких придыхательных в слове приводит к *fósforo* > *phuspuru*. А в следующих примерах законы несовместимости проявляются в связи с субституцией испанских простых смычных ларингализованными: *alto* «высокий» > *?althu*; *azote* «бичевание, бич» > *hasut'i*; *Arenal* «песчаная местность» (геогр. название) > *harinal*.

4. На основании правил дистрибуции ларингалов в слове можно а priori сделать некоторые выводы относительно фонологической структуры морфем разных типов. Прежде всего очевидно, что ларингальность не может быть присущей сразу и корневой, и аффиксальной частям слова, иначе при определенном сочетании корней и аффиксов обязательно появлялись бы словоформы с несколькими ларингалами. Далее, поскольку сегментные ларингалы /h/ и /ʔ/ могут находиться только в начале слова, ясно, что эти фонемы не могут входить в состав аффиксов. Что же касается ларингализованных смычных, которые по отношению к пеларингализованным являются маркированными членами корреляций, то очевидно, что они могут содержаться в корнях, но не могут находиться в аффиксах. В противном случае возникало бы противоречие с известным законом о соотношении маркированности (т. е. относительной сложности) и сферы употребления фонем и других лингвистических единиц⁵. Таким образом, как ларингальные, так и ларингализованные фонемы должны входить только в состав корней и не могут находиться внутри аффиксов.

Действительно, ларингальные и ларингализованные фонемы можно обнаружить в весьма большом числе корневых морфем, охватывающем более половины словарного состава языка кечуа. Однако ни в одном из аффиксов — а их более сотни — ларингалы не содержатся. Это напоминает известный закон Грассмана о распределении придыхательных в корне в древнегреческом и санскрите. Как и в кечуа, в древнегреческом языке употребление придыхания (*spiritus asper*) также ограничивалось позицией начала слова, а в состав корня мог входить только один придыхательный смычный⁶. Но, в отличие от кечуа, придыхательные встречались и в аффиксах, так что иногда в слове могло появляться несколько придыха-

⁵ См.: Е. Курлович, О понятии передвижения согласных, в кн.: «Очерки по лингвистике», М., 1962; J. G r e e n b e r g, Universals of language, The Hague — Paris, 1966.

⁶ См.: W. S. A l l e n, Vox graeca. The pronunciation of classical Greek, London, 1968, стр. 50—53.

тельных: *títhē-mi* «я ставлю» — *títhē-sthai* «ставить». Любопытные параллели в структуре корня (в частности, в отношении ларингалов) обнаруживаются также между индоевропейскими и сэлишскими языками (северо-западное побережье Северной Америки)⁷. Отметим, что в языке аймара есть несколько аффиксов с ларингализованными согласными.

5. Теперь проследим, как проявляются законы употребления ларингалов при некоторых грамматических процессах. В языке кечуа имеются своеобразные по семантике и структуре эмоционально-изобразительные глаголы. Особенность этих глаголов — выражение специфической категории интенсивности путем двойной редупликации второго слога корня (корни в языке кечуа, как правило, двусложны:) *kuni-* «греть (о громае)» — *kuninuni-* «громко греть». Обычно эмоционально-изобразительные глаголы употребляются в редулицированной форме: *k'achachacha-* «трещать, хрустеть», *khatatata-* «дрожать», *chililili-* «звенеть (о колокольчике, звонке)»; *ritititi-* «плавиться, растапливаться с характерным шумом (о жире)»; *qhallallalla-* «буйно произрастать, расцветать».

В данной группе встречаются и основы, содержащие во втором слоге ларингализованный согласный: *lliphi-* «блестеть, сиять, сверкать»; *rapha-* «трепетать, полоскаться на ветру (о флаге, крыльях)»; *ruqhu-* «завывать (о ветре)»; *sut'u-* «проникать, просачиваться». Согласно приведенной схеме, интенсив для этих глаголов должен выглядеть следующим образом: **lliphiphiphi-*, **raphaphapha-*, **ruqhuqhuqhu-*, *sut'ut'ut'u-* и т. п. Но закон несовместимости ларингалов оказывается сильнее грамматической модели, и в действительности мы имеем такие формы: *lliphipipi-*, *rapharara-*, *ruqhuququ-*, *sut'ututu-* и т. д. (Ср. аналогичные явления в древнегреческом и санскрите при образовании редулицированного перфекта: *lúō—léluka* «я развязал», но *phúō—réphuka* «я создал». Ср. также редулицированные глаголы на *-mi*: *dídōmi* «я даю», но *títhēmi* «я ставлю».)

6. Мы уже установили, что аффиксы в языке кечуа не могут содержать ларингалов и ларингализованных фонем. Но иногда те или иные фонетические процессы могут вызвать нарушения этого правила. Эти нарушения устраняются различными путями. Так, простой смычный в глагольных аффиксах *-cha-* и *-yku-* в боливийском диалекте иногда приобретает признак глоттализиции. Это имеет место, например, в формах глаголов, образованных от корней *ʔalli* «хороший», *ʔama* «не» (запретительная частица), *ʔura* «низ, внизу»:

К у с к о	Б о л и в и я	
<i>ʔallicha-</i>	<i>hallich'a-</i>	«улучшать»
<i>ʔamacha-</i>	<i>hamach'a</i>	«защищать»
<i>ʔurayku-</i>	<i>hurayk'u-</i>	«опускаться».

Различие между формами двух диалектов заключается не только в автоматической замене начальной гортанной смычки придыханием (для ликвидации сочетания нескольких смычно-гортанных элементов в слове), но и в том, что в боливийских вариантах элементы *-ch'a-*, *-yk'u-* больше не воспринимаются как аффиксы и отходят к корню, а связь между исходными корнями *ʔalli*, *ʔama*, *ʔura* и основами *hallich'a-*, *hamach'a-*, *hurayk'u-* утрачивается.

7. Другой случай связан с переходом некоторых вспомогательных слов типа частиц или послелогов в разряд аффиксов. Так, послелог-наре-

⁷ См.: А. Н. Куйрекс, *The Shuswap language*, The Hague — Paris, 1974, стр. 23—24, 32—34.

чие *hina* «подобие, подобно, так» склонен сливаться с местоименными основами *tau* «какой, где, сколько», *ʔima* «что», *kau* «это», *chay* «то», *chhaqay* «вон то» в часто употребляемых словосочетаниях *tau hina* «как?», *ʔima hina* «каким образом?», *kau hina* «подобно этому, вот так», *chay hina* «подобно тому, так», *chhaqay hina* «подобно тому, вот так». Но при слиянии должны образовываться слова с ларингальным фрикативным внутри: **mayhina*, **ʔimahina*, **kayhina*, **chayhina*, **chhaqayhina*, т. е. снова налицо нарушение законов дистрибуции ларингалов. Чтобы избежать этого, придыхание в середине слова устраняется, причем оно может быть «притянато» начальными смычными звуками (для предотвращения стечения гласных внутри слова звук *i* в слове *hina* переходит в полугласный *y*). В результате получаются следующие наречия (с тем же значением, что и исходные словосочетания): *tauyna*, *ʔimayna*, *kayna*, *chhayna*, *chhaqayna*. Аналогичные процессы имеют место и при слиянии наречия *chhika* «много» с местоименными основами *tau* «где, сколько» и *kau* «это»: *tau chhika* > *tauychhika* «сколь много, сколько», но *kau chhika* > *kaychhika* «столь много, столько».

Таким образом, выведенные эмпирическим путем правила употребления ларингалов в слове соблюдаются и в тех случаях, когда по тем или иным причинам следовало бы ожидать исключений. Общий закон, согласно которому в пределах слова допускается наличие только одной однотипной ларингальной артикуляции, действительно носит абсолютный характер. Тем самым тезис о кульминативно-просодическом характере кечуанской ларингальности находит еще одно подтверждение.

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

ОБЗОРЫ

С. А. МИРОНОВ

НЕМЕЦКАЯ ДИАЛЕКТОГРАФИЯ ЗА СТО ЛЕТ

В 1976 г. исполняется 100 лет со времени основания Марбургской школы немецкой диалектографии, детищем которой стал «Немецкий лингвистический атлас». История его создания достаточно хорошо известна советским языковедам, так как она не раз довольно обстоятельно излагалась в работах В. М. Жирмунского по истории и диалектологии немецкого языка, а также в его статьях на эту тему, в том числе и на страницах журнала «Вопросы языкознания»¹. Поэтому, исходя из поставленной задачи — дать краткий обобщающий обзор деятельности немецких диалектографов за истекший период со времени зарождения немецкой лингвистической географии вплоть до современного ее состояния, в рамках данной статьи достаточно будет ограничиться лишь напоминанием основных вех истории возникновения этого атласа, чтобы затем более подробно остановиться на других, более поздних этапах и сферах деятельности Марбургской школы лингвогеографии.

Первая, хотя далеко не совершенная, но знаменательная попытка картографирования диалектных различий на материале немецкого языка была предпринята еще И. Шмеллером в его известной монографии о баварских диалектах². Однако основателем «Лингвистического атласа Германской империи» («Sprachatlas des Deutschen Reichs»), зарождение которого относится к 1876 г., был дюссельдорфский учитель, впоследствии библиотекарь в Марбурге Г. Венкер, который поставил перед собой первоначально весьма скромную цель: обследовать родной ему нижнефранкский диалект окрестностей Дюссельдорфа с тем, чтобы выяснить, действительно ли в нем отсутствуют следы второго передвижения согласных. Собранный им в 1877 г. (в результате рассылки анкеты, включав-

¹ См.: В. М. Ж и р м у н с к и й, О некоторых проблемах лингвистической географии, ВЯ, 1954, 4; е г о ж е, Предисловие к сб. «Немецкая диалектография», М., 1955; е г о ж е, Немецкая диалектология, М.—Л., 1956, стр. 75—100, 114—144; е г о ж е, История немецкого языка, М., 1965, стр. 101—104; ср. также: Ф. В р е д з, К истории развития немецкой диалектологии, сб. «Немецкая диалектография»; А. Б а х, Немецкая диалектология, там же; Т. Ф р и н г с, Основы истории немецкого языка, там же; W. M i t z k a, Handbuch zum deutschen Sprachatlas, Marburg, 1952; В. К р а т з, Die Marburger dialektologische Schule, «Zeitschrift für Dialektologie und Linguistik», 37, Wiesbaden, 1970; A. W. S t a n f o r t h, The German linguistic atlas, «Proceedings of the University of Newcastle-upon-Tyne», II, 1, 1971—1972.

² J. S c h m e l l e r, Die Mundarten Bayerns grammatisch dargestellt, München, 1821.

шей 42 предложения) материал не подкрепил тезиса о незыблемости звуковых законов и побудил его расширить область обследования до границ всего нижнефранкского ареала с привлечением и других нижненемецких диалектов Рейнской провинции, а затем и Вестфалии (1877—1878). Не ограничившись и этими рамками, Венкер включил в дальнейшем (1879—1880) в сферу своих изысканий весь нижненемецкий, а также средненемецкий ареалы (т. е. всю Северную и Центральную Германию), а позднее (с 1887) и южнонемецкую диалектную область, охватив, таким образом, всю языковую территорию тогдашней Германии. На основе составленной им анкеты (из 40 предложений), разосланной в более чем 40 000 населенных пунктов, был собран огромный диалектографический материал, который за 40 лет, начиная с 1886 г. (лично Венкером, его помощником Вредэ и двумя ассистентами), был разнесен на 1650 карт, составленных от руки в двух экземплярах. Это могло быть осуществлено лишь после того, как Берлинская Академия наук приняла решение оказать Венкеру, правда, весьма скромную материальную помощь и взяла составление атласа под свою опеку (1886), не разрешив, однако, его публиковать впредь до его завершения. После смерти Г. Венкера (1911) всю работу по сбору, картографированию и обобщению диалектного материала возглавил его преемник — видный теоретик немецкой лингвостратегии Ф. Вредэ³. Лишь в 1926 г. он добился разрешения печатать атлас при Диалектологическом Институте в Марбурге отдельными выпусками под измененным названием «Немецкий лингвистический атлас» («Deutscher Sprachatlas»). Первоначально планировалось издать его в 20 выпусках, публикуя по два выпуска в год, с включением в него дополнительного диалектного материала (около 10 000 анкет), собранного за пределами Германии того времени: в Люксембурге, Австрии, Швейцарии и в немецких поселениях Чехословакии и Венгрии. Однако предусмотренные сроки публикации отдельных выпусков не выдерживались и атлас издавался чрезвычайно медленными темпами. Так, если 1-й выпуск вышел в свет в 1926 г., то 2-й только в 1928 г., с 3 по 6-й — по одному выпуску в год (1929—1932), а 7-й — в 1934 г. С 1933 г., после смерти Ф. Вредэ, работу по составлению и редактированию атласа возглавил (в сотрудничестве с Б. Мартином) В. Мицка. До 1939 г. было опубликовано 11 выпусков атласа (68 карт), которые Мицка пополнил материалами немецких диалектов в Польше (из 396 опорных пунктов) и в Южном Тироле (из 485 опорных пунктов). Архив его в Марбурге насчитывал к тому времени уже 51 480 заполненных анкет, поступивших от информантов. В период второй мировой войны печатание атласа было прервано и возобновилось под руководством В. Мицки лишь с 1950 г., а было завершено в 1956 г. выборочной публикацией 128 карт (последние выпуски — № 20, 21, 22 и 23). Таким образом, на публикацию «Немецкого лингвистического атласа» ушло (с 1926 г. по 1956 г.) ровно 30 лет, а со времени его основания Г. Венкером и до выхода в свет его последних выпусков прошло 80 лет.

Л. Э. Шмитт, возглавляющий с 1956 г. дальнейшую работу над атласами, предполагает завершить ее изданием многомногого обобщающего труда по фонетике, фонологии и морфологии немецких диалектов, который должен быть создан на базе материала данного атласа и ряда региональных атласов. На его основе предполагается составить «Малый немец-

³ Как известно, Ф. Вредэ выдвинул весьма плодотворную в теоретическом плане (несмотря на все ее недостатки) социально-лингвистическую точку зрения на диалект и на формирование диалектных границ, которая впоследствии успешно развивалась и углублялась его преемниками и особенно крупнейшим из его последователей — главой немецкой школы лингвостратегии Т. Фрингсом и его учениками на материале восточносредненемецких диалектов в ГДР (Лейпциг).

кий лингвистический атлас» и опубликовать обширную библиографию по немецкой диалектологии⁴.

Как известно, Венкер, а первоначально и Вредэ, были сторонниками косвенного метода сбора диалектного материала, который они последовательно применяли в своей работе над атласом. Выбор этого метода был обусловлен их стремлением охватить обследованием как можно большее число опорных пунктов на немецкой языковой территории (об этом свидетельствует значительная густота сетки атласа — 40 000 пунктов). Вытекающая из этого метода рекомендация Венкера информантам гласила: при переводе 40 предложений на местный диалект следует пользоваться средствами обычной немецкой орфографии (а не фонетической транскрипцией), что с самого начала таило в себе опасность неточной или искаженной передачи диалектного произношения и тонких фонетических оттенков тех или иных звуков речи (в частности, при фиксации качества того или иного гласного или согласного, т. е. преимущественно «вторичных» признаков диалекта). Это вызвало целый ряд справедливых, хотя подчас и слишком резких критических замечаний в адрес составителей атласа относительно правомерности применения ими косвенного метода, т. е. чисто анкетного обследования живых диалектов. Вредэ пришлось (в 1908 г.) признать справедливость многих из этих замечаний, свидетельством чего является его переход к комбинированному методу⁵, сочетающему косвенную методику сбора материала с последующей проверкой ее на местах. В целях реализации этого метода по его инициативе была создана серия монографий (из 70 томов) под общим заглавием «Немецкая диалектография» («Deutsche Dialektgeographie»), являющаяся бесспорно ценным вкладом в разработку новой методики лингвогеографии и обобщением конкретного диалектного материала, почерпнутого из данных атласа.

Упреки в адрес составителей атласа, применявших в ранний период работы над ним исключительно анкетный метод обследования диалектов, не были лишены основания еще и потому, что сама анкета Венкера (40 предложений) по своему содержанию была ориентирована главным образом на фонетику, т. е. регистрировала преимущественно явления фонетического уровня, в меньшей степени фиксировала внимание информатора на явлениях морфологии и лишь спорадически (и даже случайно) отражала лексическую дифференциацию⁶. В этом отношении особенно показателен пример с непредусмотренным анкетой Венкера разграничением диалектных синонимов: *Pferd/Gaul/Ross* «лошадь, конь» (вып. 1, карта № 8). Почти полное отсутствие в «Немецком лингвистическом атласе» лексического материала и вызвало к жизни необходимость создания специального словарного атласа (см. ниже).

Структура атласа при первой его публикации (с 1926 г.) характеризовалась следующими чертами: 1-му выпуску предпослано «Предварительное введение», раскрывающее его содержание, состав, метод картографирования, хронологические рамки (по данным 80-х годов XIX в.), его отличие от рукописного подлинника Венкера (меньший формат и масштаб карт, использование новых технических средств, упрощения в подаче материала и нанесения его на карту, выделение комментариев и легенд к картам в особое приложение и т. п.). Каждый выпуск включает 5—6 карт на разные картографируемые явления. В 1-м выпуске опубликованы, кроме того, текст анкеты Венкера, основная карта (масштаб 1 : 2 000 000) и обзорная карта второго передвижения согласных, а в 9-м выпуске — общая карта немецких диалектов (по Вредэ). В атлас включены также дополнительные

⁴ См.: В. К г а т z, указ. соч., стр. 20.

⁵ Ср.: В. М. Ж и р м у н с к и й, Немецкая диалектология, стр. 82—87, 97—98.

⁶ Синтаксические явления также нашли в ней очень слабое отражение.

карты и три ареальных (масштаба 1 : 1 000 000), представляющих три сектора, на которые разделена общая карта (северо-запад, северо-восток и юго-запад); к ним присоединяется впоследствии и юго-восточный сектор. В 1956 г. — в связи с завершением работы над атласом — было переиздано и приложение к нему, включающее все комментарии к картам, с новым введением и перечнем всех опубликованных 128 карт ⁷.

На каждую карту атласа нанесено одно слово из заполненной анкеты (всего в 40 предложений включено 325 лексем), которое иллюстрирует одно или же несколько фонетических или грамматических явлений (как, например, передвижение согласных, дифтонгизацию, наличие или отсутствие конечного *-n*, формы местоимений, падежную или глагольную флексию, окончания мн. числа, префиксы или суффиксы и т. д.). «Вторичные» диалектные признаки фонетического уровня не находят на картах должного отражения. При морфологическом членении слова на корень, префикс и окончание — для каждой морфемы составляется отдельная карта; ср. *-en* — 3-е лицо мн. числа изъяв. накл. наст. вр. (карта № 7), (*hat*)... *ge(brochen)* «слома́л» (карта № 28); (*ge*)*broch(en)* (карта № 29); (*geb*)*roch(en)* (карта № 30) и т. п.

Среди целого ряда отмеченных критиками недостатков, присущих атласу (в сфере методики сбора материала, по линии узости и ограниченности отбора картографируемых явлений, прежде всего в области лексики), наиболее существенный заключается все же, по-видимому, в том, что атлас не отражает в достаточной степени четко синхронного состояния немецких диалектов, поскольку в нем сочетаются материалы разных хронологических срезов (в силу разновременного сбора материала и большого разрыва между стадиями картографирования его и публикации). К этому следует добавить такой важный момент, как неучет существенного изменения границ распространения немецкого языка после второй мировой войны в связи с возвращением восточных областей (славянских и балтийских) их исконным жителям.

*

Подготовка и составление «Немецкого лингвистического атласа» послужили стимулом к развертыванию плодотворной работы и по изучению диалектов в региональном масштабе ⁸. В результате этой работы, развивающей и доводящей проблемы и методы, выдвинутые Венкером и Вредом, начали появляться региональные диалектологические атласы. Пионером в этой области был, собственно говоря, сам Венкер, опубликовавший в 1877 г. свой первый опыт сплошного картографирования небольшого диалектного ареала нижнего Рейна («Рейнский диалект»), а затем (1878) расширивший обследуемую область до рамок всей Рейнской провинции и Вестфалии. Вслед за ними (1895) появился региональный атлас швабских говоров Г. Фишера (состоящий из 28 карт, охватывающий 3000 опорных пунктов). Составитель сочетал в своей работе косвенный и прямой методы сбора материала. Углубленному изучению границ швабских говоров прямым методом чрезвычайно способствовала деятельность

⁷ Рукописные карты были первоначально многоцветные (до 22 оттенков), но при публикации их (из-за отсутствия материальных средств) пришлось печатать их в одном или двух цветах. Опыт с применением цветной фотографии оказался неудачным. Из картографических знаков применялись преимущественно линейные, редко — фигурные и буквенные. В качестве новых технических средств использовались штриховка и прерывистые линии. Применялись также изоглоссы и текстовые обозначения (для ведущих и вариантных форм).

⁸ См.: В. М. Жирмунский, *Немецкая диалектология*, стр. 89—100, 109—114; «Germanische Dialektologie, Festschrift für W. Mitzka zum 80. Geburtstag», hrsg. von L. E. Schmitt, I, Wiesbaden, 1968.

учеников Г. Фишера — К. Боненбергера и К. Хаага. Весь алеманнский ареал на основе материалов общенемецкого атласа обследовал позднее Ф. Маурер (1942). В течение более 30 лет (начиная с 1937 г.) составлялся фундаментальный «Лингвистический атлас немецкой Швейцарии» под руководством Р. Хотценкёхерле (I—II тома изданы в Берне в 1962—1965 гг., IV — в 1969 г.), примыкавшего по своей лингвогеографической методике к Жильерону и разрабатывавшего также лексический материал. К этому атласу близки региональные атласы Эльзаса (Э. Байера) и Форарльберга (Э. Габриэля). Диалектографическому изучению баварских диалектов — на основе собранного еще в 1913—1942 гг. и дополнительно в 1958 г. обширного материала — положил начало Э. Кранцмайер (результатом этой работы явился рукописный баварско-австрийский региональный атлас, опубликованный только частично), тогда как нижненемецкая область представлена диалектографическими изысканиями Тойхерта и Бишоффа. Особое место занимают работы Т. Фрингса, виднейшего представителя исторической диалектологии, обследовавшего ряд ареалов немецкой языковой территории (в частности, Рейнскую область, нижне-франкский и восточносредненемецкий ареалы), внесшего значительный вклад в развитие немецкой региональной диалектологии и ареальной лингвистики.

Новая серия региональных атласов появилась в Марбурге под редакцией Л. Э. Шмитта как продолжение издания «Немецкого лингвистического атласа». Это — «Трансильванско-немецкий лингвистический атлас» («Siebenbürgisch-Deutscher Sprachatlas», I — 1961, II — 1964), «Люксембургский лингвистический атлас» («Luxemburgischer Sprachatlas», 1963), «Тирольский лингвистический атлас» («Tirolischer Sprachatlas», I — 1965, II — 1969, III — 1970), «Силезский лингвистический атлас» («Schlesischer Sprachatlas», I — 1967, II — 1965) и «Лингвистический атлас немцев Техаса» («Linguistic atlas of Texas German», 1972). Ведется работа над атласами Гессена и северо-востока довоенной немецкой языковой территории.

«Трансильванско-немецкий лингвистический атлас» составлен на базе диалектного материала немецких поселений в районе Быстрицы (Румыния), собранного Р. Хусом еще в 1912—1941 гг. После смерти Р. Хуса (1941) материал его (500 заполненных по методу Венкера и проверенных им лично анкет) был передан в Марбургский Диалектологический Институт, где он — после необходимой обработки и интерпретации (редакторами К. К. Клайн и К. Райн) — был опубликован в двух частях (I часть включает 60 карт фонетико-морфологического профиля с комментариями; II часть — 90 дополнительных карт без комментариев, которые издаются отдельно; карты — масштаба 1 : 500 000, пронумерованы, снабжены описанием картографических знаков и комментариями; опорные пункты — 237 названий — обрамляют карты; знаки преимущественно линейные, используются и изоглоссы; текстовые надписи на картах даны в фонетической транскрипции).

«Люксембургский лингвистический атлас» подготовлен к печати Я. Госенсом. В основу его положен собранный комбинированным методом (по анкете Венкера с некоторыми добавлениями) материал покойного Р. Бруха. В центре внимания Бруха было картографирование фонетических явлений (из 175 карт — с 2 по 163 карты посвящены вокализму, 4 карты — консонантизму, 7 — морфологии; лексическая синонимика дана выборочно на разных картах). Брух пользовался в атласе транскрипцией МФА; подписи к картам, написанные им на французском языке, в издании переведены на немецкий язык (в приложении даны: список сокращений, пояснения, алфавитный список картографируемых слов и перечень опорных пунктов).

«Тирольский лингвистический атлас», подготовленный к печати К. К. Клайном и Л. Э. Шмиттом, также базируется на собранном ранее (с 1939 г.) материале Б. Швейцера (умер в 1958 г.), обработанного Э. Кюэбахером (I том — введение и вокализм — 71 карта с комментариями, список сокращений по использованной литературе, алфавитный список 473 опорных пунктов, перечень карт и нанесенных на них лексем; II том — консонантизм; III том — словарный атлас — 110 карт); имеется ряд комбинированных карт (несколько заглавных слов на карте); картографические знаки — линейные и изоглоссы; вместо текстовых надписей широко используется обозначение гласных буквами.

«Силезский лингвистический атлас» составлен Г. Беллманом и издан Л. Э. Шмиттом в географических границах довоенного распространения силезских немецких диалектов на территории исконных польских земель на основе старого материала из атласа Венкера — Вредэ, пополненного позднейшими данными (1962—1965) магнитофонной звукозаписи немецкого диалекта лиц, перемещенных из этих земель⁹ (I том — 98 карт, вышел в свет позже II тома, посвящен фонетике и морфологии; II том — 90 карт — словарный атлас); все карты снабжены комментариями; дан список информантов с указанием их места рождения и профессии; знаки линейные и изоглоссы; текстовых надписей нет; используются многоцветные знаки, штриховка и иллюстрации.

«Лингвистический атлас немцев Техаса», составленный Г. Джильбертом (с предисловием, введением и комментариями к картам на английском языке) в результате «полевого» обследования смешанного языка 70 000 немецких поселенцев (середина XIX в.) в Техасе, включает 148 карт (выполненных на базе трех развернутых вопросников), снабженных подписями, комментариями и сведениями об информантах. Картографированы фонетические, морфологические, синтаксические и лексические явления. Атлас выполнен на высоком техническом уровне.

*

Инициатором создания «Немецкого словарного атласа» («Deutscher Wortatlas», Giessen, 1951—1973) был также В. Мицка. Составление этого атласа было предпринято с целью восполнить вышеупомянутый существенный пробел, имеющийся в «Немецком лингвистическом атласе» Г. Венкера — Ф. Вредэ, ориентированном преимущественно на фиксацию фонетико-морфологических явлений и игнорировавшем подачу лексического материала, который отражался в нем лишь попутно, случайно и спорадически. Специальные карты по «словарной географии» («Wortgeographie»), в отличие от французского диалектологического атласа Жильерона, в нем, как известно, отсутствовали. В своем обзоре подготовительных работ по созданию «Словарного атласа» В. Мицка в 1938 г. писал: «Атлас Венкера можно считать атласом фонетических явлений, который только случайно затрагивает словарную географию. В самом деле, Венкер при рассылке своей анкеты имел в виду только звуки речи. Непредвиденные синонимы, появлявшиеся на карте, перечеркивали его фонетико-географический замысел»¹⁰. Весьма показательным примером такого непредвиденного «вторжения» лексики в область фонетики явились (как

⁹ Сами составители во «Введении» к атласу отмечают, что он, как атлас ныне не существующего немецкого «языкового ландшафта», не является «нормальным прецедентом» (II, стр. 15).

¹⁰ W. M i t z k a, Der deutsche Wortatlas, «Zeitschrift für Mundartforschung», Jg. XI, 1, 1938, стр. 40.

мы видели) ареально дифференцированные, синонимические обозначения «лошади».

Словарный атлас не мог быть составлен без разработки особой анкеты, учитывающей специфику собирания лексического материала и методику его картографирования. Такой атлас предусматривал также установление более густой сетки опорных пунктов, которая могла бы охватить все многообразие словарных синонимов, проецируемых на карту. Этим требованиям, конечно, не могли отвечать (и Мицка прекрасно понимал это) те небольшие анкеты, включавшие всего 56 стержневых слов, на основе которых Б. Мартин (1924—1934) попытался составить 10 первых, весьма несовершенных, словарных карт. Им не удовлетворял также далеко не полный материал разрабатываемых областных словарей, охватывавший только часть немецкой языковой территории. Назревала острая нужда в составлении специального «Словарного атласа», который был бы в состоянии основательно дополнить «Немецкий лингвистический атлас».

В 1939 г. В. Мицка (совместно с Б. Мартином) приступил к реализации этого замысла: выбрав на карте около 50 000 опорных пунктов, находящихся в границах тогдашней немецкой языковой территории, он разослал (преимущественно по школам) соответствующее число специальных анкет, содержащих 188 вопросов с использованием отобранных заглавных слов и 12 простых предложений (т. е. всего — 200 лексических единиц)¹¹. Отбор заглавных слов для анкеты-вопросника проводился Мицкой чрезвычайно экономно и жестко. Они здесь следовал одному из ведущих принципов немецкой диалектографической школы, сформулированному его учителями Венкером и Вредэ: исходить из ограниченного ряда слов при охвате возможно большего числа опорных пунктов. Мицка не включил в свой вопросник часть ранее опубликованного лексического материала (в частности, из областных словарей), а также слова, обозначающие редкие местные реалии, и малоизвестные названия растений и животных. С другой стороны, он охотно обращался в своей работе над «Атласом» к богатому материалу, представленному в фундаментальном «Атласе немецкой этнографии» (1937 г. и сл.) и в более раннем труде П. Кречмера «Словарная география немецкого обиходного языка» (1918).

Уже при составлении вопросника Мицка столкнулся с трудностями, типичными для интерпретации диалектного лексического материала, характеризующегося значительным синонимическим богатством и связанным с его дробной ареальной дифференциацией. Так, для понятия «грабли» существует два географических синонима: сев. *Harke*, южн. *Rechen*. Альтернативный выбор того или другого синонимического варианта для анкеты вызвал бы значительные затруднения при выявлении его эквивалента в том или ином диалектном ареале. Правильнее всего в таких случаях включать в анкету оба синонимичных варианта (как это сделано в «Атласе» в отношении синонимической пары *Schlächter* — *Fleischer* «мясник»).

В связи с этим Мицка считал необходимым уточнять и конкретизировать в вопроснике те или иные сложные или двусмысленные понятия, могущие вызвать у информантов недопонимание или стать источником недоразумения. В отношении названий растений или животных предлагалось систематически приводить в вопроснике их латинские обозначения (как, например, при названии *Holunder* «бузина») или давать соответствующие пояснения [как, например: *Ahorn* «клен» (общее название, не особый вид)].

¹¹ Ср.: В. М. Ж и р м у и с к и й, Немецкая диалектология, стр. 105. Проект анкеты Мицки с пояснениями автора дважды публиковался в целях его обсуждения на страницах журнала «Zeitschrift für Mundartforschung», Jg. 14, 1938, стр. 40—55; Jg. 15, 1939, стр. 105—111.

В инструкции к вопроснику Мицка рекомендует школьным учителям при заполнении анкеты пользоваться обычной немецкой орфографией: «следуя традиции местного написания на диалекте», а не фонетической транскрипцией. Таким образом, он продолжал и при сборе лексического материала придерживаться типичного для марбургской диалектографической школы косвенного метода с характерными для него приемами (а тем самым, со всеми его положительными и отрицательными чертами). В качестве дополнительного убедительного аргумента в пользу его применения и его преимуществ в сфере лексики Мицка приводил тот известный довод, что здесь несущественна фонетически точная передача диалектных вариантов. А отсюда следовал вывод, что возможность несовершенного графического изображения информантом той или иной лексемы не имеет здесь столь большого значения, как при составлении атласов с фонетико-морфологической целенаправленностью¹².

На базе поступившего в последующие годы в распоряжение Марбургского диалектологического института обширного материала (50 000 заполненных учителей анкеты) после его соответствующей обработки и интерпретации, начали составлять карты, легшие в основу «Немецкого словарного атласа». Последний был задуман как серия издаваемых в Гиссене (под редакцией В. Мицки) публикаций, состоящая — по первоначальному замыслу — из 21 тома. I том вышел в свет в 1951 г. Ему была предпослана обстоятельная вступительная статья редактора, в которой излагались цели и задачи «Атласа», а также его план и структура. Последующие тома его публиковались довольно регулярно с интервалами в 1—2 года в течение более 20 лет¹³. В 1973 г. был выпущен в свет XX том, оказавшийся последним. В 1957 г. (начиная с VI тома) В. Мицку сменил на посту редактора «Атласа» Л. Э. Шмитт, являвшийся уже его помощником и по редактированию V тома¹⁴.

В предисловиях к отдельным томам «Атласа» редакция систематически информировала читателей о всех изменениях, внесенных либо в план его издания, либо в его структуру, и сообщала также о всех публикациях (диссертациях, журнальных статьях и т. п.), подготовленных и изданных на основе обобщения его материала. Здесь же мы узнаем о технических, а также о немалых материальных трудностях, с которыми пришлось столкнуться составителям «Атласа», и об их затруднениях в отношении подбора квалифицированных кадров (см. предисловие к т. VI).

В целях экономии средств Мицка был вынужден с самого начала отказаться от многоцветного оформления карт и стал издавать их в одном цвете и меньшим форматом. Причем вся немецкая языковая территория (в границах довоенной Германии, включая Австрию, но исключая Швейцарию) при картографировании лексем с богатой диалектной синонимикой разбивалась на четыре ареала или сектора (представляющих северо-запад, северо-восток, юго-запад и юго-восток территории). Каждому ареалу соответствовала отдельная карта, так что весь нанесенный на карты материал по данной лексеме размещался на четырех листах (что весьма затрудняло его обозримость). Если картографируемая лексема обнаруживала бедную синонимичку, то для ее изображения использовалась общая

¹² Даже такие последовательные приверженцы прямого метода, как Л. Теньер, признавали, что лексический материал можно собирать и посредственным методом (см.: Л. Т е н ь е р, По вопросу о диалектологическом атласе русского языка, ВЯ, 1966, 5, стр. 119).

¹³ II — 1953; III — 1954; IV — 1955; V и VI — 1957; VII и VIII — 1958; IX — 1959; X — 1960; XI — 1961; XII — 1962; XIII — 1963; XIV — 1965; XV — 1966; XVI — 1968; XVII — 1969; XVIII — 1971; XIX — 1972.

¹⁴ При Л. Э. Шмитте Марбургский диалектологический институт был расширен и впоследствии переименован в Исследовательский институт немецкого языка.

карта всей языковой территории, напечатанная на одном листе, т. е. значительно уменьшенная. Такова была структура карт I—V томов. Кроме того, эти тома отличались от последующих и композиционно иным расположением своих частей, т. е. иной последовательностью в подаче материала. В них (за исключением I тома, начинающегося со вступительной статьи ко всему «Атласу») сразу же после краткого предисловия и оглавления с алфавитным списком картографируемых в данном томе лексем (с порядковыми номерами соответствующих карт и ссылкой на страницы) даются сами лексические карты с нанесенными на них словами, расположенные одна за другой в указанном в списке порядке: за картами следуют списки редко употребляемых слов (с индексами), после которых приводятся (без всяких индексов) алфавитные реестры скартографированных слов — эквивалентов заглавному слову. Все они даны в той же последовательности, что и карты без всяких комментариев¹⁵.

Л. Э. Шмитт внес, начиная с VI тома, ряд изменений как в структуру карт, так и в композицию «Атласа»¹⁶. Вместо четырех ареальных (с разбивкой на сектора) карт, напечатанных на четырех листах, он дал одну основную карту на одном листе, сохранив ее масштаб (1 : 2 000 000), но увеличив ее формат примерно в шесть раз, в то время как сам «Атлас» стал издаваться в несколько уменьшенном размере и приобрел более компактный вид. К основной карте, в тех случаях, когда этого требовало наличие богатой диалектной синонимии, он присоединял дополнительную, вспомогательную карту, составленную в ином (большем) масштабе (1 : 1 000 000), как правило, относящуюся к западному и центральному ареалам немецкой языковой территории (таким образом выделялся всего один сектор). Композиционная перестройка «Атласа», проведенная Шмиттом, заключалась в изменении порядка следования материала: приложение к картам (более тщательно и экономно разработанные списки слов последовательно снабженные индексами) теперь предшествовало самим картам, которые стали менее перегружены материалом и в большей степени обозримы. Кроме того, они были пронумерованы (нумерация карт в т. I—V отсутствовала). Однако подлинный комментарий к картам и здесь отсутствовал. Помимо этого, целый ряд карт из первых пяти томов был повторно включен в «Атлас» и переиздан в дополненном и исправленном виде (в т. VII—XX). С XVIII тома «Атлас» выходил под редакцией Р. Хильдебрандта¹⁷.

Исходная установка «Немецкого словарного атласа» заключалась в выявлении ареально дифференцированного синонимического богатства немецкой лексики, что диктовало абсолютное превалирование в его составе лексемных карт, а не семантических, поскольку его составители уже при выработке вопросника шли, как правило, от понятия к слову, а не от слова к понятию или значению. Об этом свидетельствует и большинство заголовков представленных в «Атласе» карт, т. е. заглавных слов, снабженных уточняющими характеристиками или контекстом, указывающим именно на данное значение или употребление того или иного слова. Ср.,

¹⁵ Число заглавных слов в этих томах колеблется от 22 (т. IV) до 14 (т. II, III, V). В последующих томах оно не превышало 13 лексических единиц.

¹⁶ Однако его попытка ускорить печатание «Атласа», выпуская в год по два тома, провалилась из-за новых финансовых затруднений, которые так и не удалось преодолеть (о чем свидетельствует также сокращение числа томов с 21 до 20). См.: «Предисловие» к «Deutscher Wortatlas», VI—VIII, Giessen, 1957—1958; ср. также: В. К р а т з, указ. соч., стр. 19—20; А. W. S t a n f o r t h, указ. соч., стр. 5.

¹⁷ В начале последнего, XX тома дана общая карта немецких диалектов, а в приложении к нему помещен алфавитный список 200 скартографированных слов (с указанием номера тома) и тот же список слов с распределением их по томам. 19 карт остались неизданными.

например: *sich beeilen (zum Bahnhof)* (II, карты 44—47) «спешить» (на вокзал), которому соответствует синонимическое разнообразие диалектных вариантов, например: н.-нем. *gau token, sik sputen*; гесс. *sich tummeln*; бав. *sich schicken*; шваб. *pressieren*; ср. также *sech ploge, sich eile(n)* и др.; *männliche Katze* (там же, стр. 52) — «кошка мужского пола» — для обозначения «кота» (дабы не подказать информантам литературного *Kater*); *Erdbeere (im Walde)* (т. X) «земляника» (лесная); *veredeln (Obstbäume)* (т. XIV) «окулировать» (плодовые деревья); *(Halt den) Mund!* (т. XX) «помалкивай!» (= «держи язык за зубами») и т. п. Лексический материал подобран по тематическому принципу и охватывает следующие значительные по объему семантические группы: 1) названия лиц (термины родства и представители определенных профессий — 16 заглавных слов); 2) названия ремесел и орудий труда (около 20 слов); 3) предметы домашнего и сельского обихода (около 30 слов); 4) названия растений (деревьев, овощей, ягод, птиц — около 40 слов); 5) названия животных (домашних животных, птиц, насекомых — более 40 слов); 6) названия частей человеческого тела (7 слов); 7) обозначения времени (12 слов); 8) обозначения действий (около 30 глаголов, причем в I—V томах их было крайне незначительное число; в последующих томах число их было значительно увеличено). Абсолютное большинство картографируемых слов падает на существительные (около 75%)¹⁸. Весьма незначительный процент составляют прилагательные и наречия (всего 13 заглавных слов). Во всем этом нельзя не усмотреть известную односторонность в отборе лексического материала. Очень слабо представлены в «Атласе» словообразовательные модели (всего два односторонних заглавных слова с уменьшительными суффиксами: *Mädchen* «девочка» — в IV томе и *Gänschen* «гусепок» — в XV томе), тем более, что словообразованию не уделено должного внимания и в «Немецком лингвистическом атласе».

Максимально густая сеть опорных пунктов способствовала выявлению чрезвычайно интенсивной дифференциации диалектной лексики (особенно в западном ареале немецкой языковой территории с ее большой дробностью и чересполосицей), установлению (на основе лексических изоглосс) границ между отдельными диалектными синонимами, переходных зон, раскрывающих динамику конкурентной борьбы между ними, и т. п.

Особенно четко выявляется на картах «Атласа» основное членение немецких диалектов, отражающееся в разграничении диалектных синонимов северного (нижнегерманского), центрального (среднегерманского) и южного (швабского и баварского) ареалов с более дробной дифференциацией внутри каждого из них [ср., например: н.-нем. *Mirekswottel* — шваб. (Штуттгарт) *Meerretlich* — как в литературном яз.; бав. *Kren* — из славянских языков, вост.- ср.-нем. (Дрезден) *Krenwurz* — контаминация — «хрен», а также целый ряд традиционно приводимых дублетов типа: сев. *Junge* — южн. *Bube* «мальчик», сев.-зап. *Saterdag* — сев.-вост. *Sonnabend* — южн. *Samstag* «суббота» и т. д.¹⁹ Дифференциация диалектных синонимов (с учетом более редких эквивалентов), обнаруживаемая по материалу «Атласа», достигает во многих случаях необычайно высокой степени (до нескольких сот синонимов на одно заглавное слово). Несмотря на четкую локализацию синонимов по опорным пунктам, по-видимому, все

¹⁸ Наибольшее число диалектных синонимов обнаруживается в наименованиях орудий труда, предметов сельского обихода, а также в названиях животных и растений (ср., например, перечень синонимов лексемы *Libelle* «стрекоза», занимающий — в два столбца — девять страниц, или огромное число обозначений для понятия «соска»).

¹⁹ В качестве дополнительного материала систематически привлекаются и находят отражение в картах швейцарские эквиваленты рассматриваемых лексем (из «Лингвистического атласа немецкой Швейцарии»).

же не во всех случаях можно с полной уверенностью утверждать (при косвенном методе сбора материала), что мы имеем дело с подлинными синонимами и с абсолютно правильными ответами информантов, на что справедливо указывали критики «Атласа»²⁰. Несмотря на все предосторожности составителей, все же могло возникнуть недоразумение или недопонимание со стороны информантов в оценке оттенков значения того или иного слова, особенно, если речь идет о деталях сельскохозяйственного инвентаря или о названии животного или растения (тем более, что нет рисунков).

Отсутствие комментариев к картам возмещается, правда, серией монографий, диссертаций и журнальных статей, разработанных на базе картографированного материала «Атласа». Исследования эти посвящены как истории отдельных слов, так и анализу целых групп слов, объединенных по семантическому признаку. Эти работы публиковались регулярно и систематически, начиная с 1950 г., а затем — параллельно с выходом в свет отдельных томов «Атласа». Впоследствии все они были объединены Л. Э. Шмиттом в специальную серию «Deutsche Wortforschung in europäischen Bezügen» (Untersuchungen zum Deutschen Wortatlas): ко времени завершения «Атласа» в 1973 г. было издано шесть томов.

В дополнение к некоторым вышеприведенным замечаниям о структуре карт «Атласа» следует кратко остановиться на технике их выполнения (которая в принципе совпадает с приемами их оформления в «Немецком лингвистическом атласе»). Они состояются и печатаются в одном цвете на базе «основной карты», или «карты-основы» («Grundkarte») с обозначенными на ее сетке точечным способом пронумерованными опорными пунктами и буквенно-цифровой трехзначной системой координат (типа *P* 20, 1; *n* 15, 1; *N* 31, 1). Основным графическим приемом нанесения на карту лексического материала являются картографические знаки, как линейные (типа |, □, ▽, \, /) и отчасти буквенные (a, b, B), так и фигурные (геометрические фигуры: квадраты, треугольники и т. д.). Редкие эквиваленты обозначаются арабскими цифрами. Картографические знаки применяются чрезвычайно широко и обнаруживают большое разнообразие. Так, например, в легенде к картам № 44—47 (т. II) под заглавным словом *sich beeilen* «спешить, торопиться» приведено более 300 знаков с пояснениями, обозначающими его синонимы, а в легенде к карте № 52 (т. II) понятие «кот» передается около 150 знаками. Перегруженность картографическими знаками, нанесенными на карту (особенно в западном ареале немецкой языковой территории), затрудняет ее чтение и интерпретацию (позднее — в последующих томах — этот недостаток, как было упомянуто выше, в некоторой степени устраняется). Знаки расположены, как правило, под заглавным словом (в несколько столбцов) в правом нижнем углу карты (если карта издана на четырех листах, как в I—V томах, то обычно — на четвертом листе, а частично и на остальных). На левой стороне карты приводятся швейцарские синонимы-эквиваленты. В качестве дополнительного приема для обозначения ареалов, зон и границ распространения господствующих синонимов-эквивалентов используются изоглоссы в сочетании с текстовым способом: написанием картографируемых лексем с применением средств обычной немецкой орфографии (в более поздних томах «Атласа» с явной тенденцией к возможно более точной передаче фонетического облика слова в его различных диалектных вариантах, однако, не прибегая к фонетической транскрипции). Таким образом, здесь можно говорить о комбинированном способе изображения картографируемых объектов.

²⁰ Ср. В. К r a t z, указ. соч., стр. 16—18.

Итак, «Немецкий словарный атлас», являющийся несомненно фундаментальным трудом в области изучения немецкой диалектной лексики, характеризуется бесспорно целым рядом положительных сторон и прежде всего широким диапазоном обследования языковой территории в сочетании с очень большой густотой принятой сетки опорных пунктов, что позволило его составителям собрать обширный фактический материал, ценный как для синхронного изучения чрезвычайной территориальной расщепленности немецкой диалектной лексики — выявления ее исключительно дробной и богатой географической синонимии, так и для установления ее исторически обусловленных напластований и географических границ распространения той или иной лексемы в плане диахронии. Вместе с тем, ему присущи недостатки, свойственные и «Немецкому лингвистическому атласу», связанные с применением его составителями исключительно косвенного метода при сборе лексического материала (отсутствие настоящей необходимости в предельно точной передаче фонетического облика слова уравнивалось здесь возможностью неправильной и искаженной трактовки информатором значения той или иной лексемы, включенной в анкету, что усугублялось неиспользованием в ней, а также на картах, иллюстраций — рисунков, изображающих реалии). Определенным недостатком «Словарного атласа» (в отличие от «Лингвистического атласа») явилось все же отсутствие в его структуре места для необходимых комментариев к картам, что затрудняет пользование им. Собранный в нем богатый лексический материал лишен непосредственно сопровождающей его интерпретации, обработки и обобщения и требует дополнительного привлечения для этой цели написанных на его основе (правда, во многих отношениях весьма ценных) научных статей и монографий. В своем предисловии к сводному перечню работ, написанных на базе «Атласа», П. фон Поленц пишет, что «специфика этого (т. е. косвенного.— С. М.) метода ... придает карте характер „исследовательского прибора“ („eines Forschungsinstruments“), материал которого только после основательной обработки в кругу специалистов может стать „исследовательским выводом“ (Forschungsergebnis)»²¹. Можно было бы отметить также известную узость и недостаточную полноту в отборе лексического материала для картографирования (всего 200 лексических единиц)²², хотя это было в известной мере вызвано необходимостью ограничить объем «Атласа» и завершить его в определенные сроки, находясь в чрезвычайно трудных материальных условиях и будучи твердо убежденными в нереальности и невозможности картографирования лексики немецких диалектов во всей ее полноте. Очень слабо представлены семантические карты и материалы словообразования. Нельзя не отметить также (вышеупомянутого в отношении других атласов) исторически обусловленного несоответствия данных этого «Атласа» географическим рамкам современного распространения немецких диалектов, поскольку в нем картографирован и материал, собранный до войны на землях, возвращенных после ее окончания их первоначальным населением — славянским и балтийским народам. Таким образом, этот лексический материал также не соответствует современным реальным границам распространения немецких диалектов.

В работе над «Словарным атласом» составители опирались также на материал больших областных словарей, как уже законченных, так и находящихся в процессе подготовки (в частности, швабского, рейнского, ба-

²¹ См.: «Die Wortforschung in europäischen Bezügen», 2, 1963, стр. 526.

²² На этот недостаток указывает также Б. Кратц (ср. В. К р а т ц, указ. соч., стр. 18).

варско-австрийского, мекленбургского и др.). С другой стороны, при разработке последних широко использовались диалектографические данные.

В последнее время среди немецких диалектографов наметилось течение, призывающее к «социологической», отчасти в духе позитивистской концепции Дюркгейма, интерпретации вопросов изучения диалектов вообще и диалектной лексики в частности. Значительный интерес представляет статья Р. Хильдебрандта²³.

В настоящее время подготавливается также «Словарный атлас разговорного немецкого языка», I том которого в ближайшее время выйдет в свет.

²³ R. H i l d e b r a n d t, Der Deutsche Wortatlas als Forschungsmittel der Sprachsoziologie, «Wortgeographie und Gesellschaft», hrsg. von W. Mitzka, Berlin, 1968.

РЕЦЕНЗИИ

«Социализм и нации». — М., «Мысль», 1975. 494 стр.

Рецензируемая книга подготовлена к печати Сектором теории нации и национальных отношений Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. Она представляет собой сборник статей, в который включены материалы международной конференции «Развитие и интернациональное сотрудничество социалистических наций», проведенной 23—24 октября 1973 г. в Москве Академией наук СССР, Институтом марксизма-ленинизма при ЦК КПСС, Академией общественных наук при ЦК КПСС и Высшей партийной школой при ЦК КПСС совместно с научными и учебными заведениями стран социалистического содружества. На конференции работали три секции: «Социализм и нации» (руководитель — М. И. Куличенко), «Единство и сотрудничество социалистических наций» (руководитель — чл.-корр. АН СССР О. Т. Богомолов) и «Интернациональное воспитание трудящихся, развитие и сближение культур социалистических наций» (руководитель — чл.-корр. АН СССР М. Т. Иовчук). Конференция привлекла большое внимание научной общественности многих стран, было прослушано более 70 докладов представителей 11 стран. Рецензируемый труд, уже высоко оцененный центральной партийной печатью, представляет большой интерес и для языковедов, особенно занимающихся изучением языков народов СССР и других социалистических стран, общих процессов языкового развития в нашей стране в условиях дальнейшего сближения социалистических наций, народностей и их культур. В начале сборника помещены краткий текст «От редакции» и «Предисловие» (Вступительное слово вице-президента АН СССР академика П. Н. Федосеева).

Пленарное заседание конференции открыл председатель оргкомитета акад. П. Н. Федосеев. В своем выступлении он отметил, что «интернационализм призывает сейчас все сферы материальной, политической и духовной жизни народов социалистических стран, их взаимоотношения. С каждым годом углубляются процессы социалистической экономи-

ческой интеграции, взаимовлияния и взаимообогащения национальных культур» (стр. 8). Далее П. Н. Федосеев указал на то, что «против прогресса социалистических наций, укрепления единства стран мирового социалистического содружества вместе с международным империализмом, современным антикоммунизмом выступают правые и „левые“ оппортунисты, а также ревизионисты всех мастей. Одна из наших задач — разоблачать предательскую сущность оппортунизма и ревизионизма, подрывную деятельность маоизма, активизировать нашу борьбу против враждебной социализму идеологии и политики» (там же). В заключение П. Н. Федосеев подчеркнул, что «неуклонное углубление процессов интернационального единения народов стран мирового социалистического содружества происходит в неразрывной связи с процессами их свободного национального развития. Марксисты-ленинцы всячески поощряют и поддерживают всесторонний расцвет больших и малых народов, каждый из которых вносит свой вклад в общую сокровищницу мировой цивилизации» (там же).

Рецензируемый сборник состоит из пяти разделов: 1. Роль марксистско-ленинского учения о нациях и национальных отношениях в укреплении и развитии мирового социализма; 2. Формирование и развитие социалистических наций; 3. Национальные отношения при социализме; 4. Проблемы сотрудничества и сближения народов социалистических стран; 5. Проблемы интернационалистского воспитания.

Первый раздел открывается докладом Секретаря ЦК КПСС К. Ф. Катушева «Укрепление единства социалистических стран — закономерность развития мирового социализма» (стр. 10—28). «Вся современная политическая практика, — пишет автор, — подтверждает вывод марксистско-ленинской теории о том, что мировая социалистическая система становится решающей силой общественного прогресса. От того, как реализуются цели строительства нового общества, насколько успешно развиваются социали-

стические нации и разворачивается сотрудничество стран социализма, в огромной мере зависит не только сегодняшней и завтрашний день народов социалистического содружества, но и весь ход событий на международной арене, судьбы мира, перспективы революционного движения» (стр. 10). К. Ф. Катусhev дает разностороннюю характеристику социальных процессов строительства развитого социалистического общества в братских странах. Эти процессы дают «богатейший материал для научных обобщений, для выявления перспектив развития социалистического мира, для разработки обоснованных рекомендаций» (стр. 11). Характеризуя интернационализацию общественной жизни как объективную основу сближения стран и народов, К. Ф. Катусhev указывает на то, что «одним из ключевых теоретических вопросов, встающих при анализе взаимоотношении социалистических стран, является вопрос об объективных основах их единства, о закономерностях, определяющих перспективы развития международных отношений нового типа» (стр. 11).

Подводя итоги анализа современного состояния рассматриваемой проблемы, К. Ф. Катусhev подчеркивает, что «мы со всей определенностью можем констатировать: все больше подтверждается предвидение В. И. Ленина, писавшего еще в 1914 г., что в противоположность капитализму, отчуждающему нации друг от друга, социализм „творит новые, высшие формы человеческого общежития, когда законные потребности и прогрессивные стремления трудящихся масс всякой национальности будут впервые удовлетворены в интернациональном единстве“...»¹ (стр. 14). Кратко охарактеризовав процессы социалистической экономической интеграции, К. Ф. Катусhev более подробно остановился на вопросах всестороннего сближения социалистических наций. Анализируя особенности современного этапа развития зрелого социализма, он указывает на то, что «на ранних этапах развития социализма с гораздо большей силой давали о себе знать национально-специфические моменты, связанные с конкретными условиями победы социалистической революции, историческими особенностями той или иной страны, количественным и качественным составом рабочего класса, мерой политического опыта и закалки его коммунистического авангарда.

С переходом социалистического общества к более высоким этапам происходит дальнейшее сближение социально-политических структур... Мы видим, как возросло сходство в организации государственной власти, определении ее функций, форм и методов участия трудя-

щихся в управлении, в объеме их социальных и гражданских прав и т. д. Это — свидетельство общности задач, решаемых после полной победы социализма, на стадии построения развитого социализма, и в то же время прямой результат взаимного обогащения опытом социалистического строительства» (стр. 19—20). «Примечательно, — продолжает К. Ф. Катусhev, — что культуры братских народов, не утрачивая свой национальный колорит, свои национальные краски, по своим целям, гуманистической сущности, методу, по тематике все больше сближаются друг с другом. По сути дела идет постепенный процесс формирования единой социалистической культуры, вбирающей в себя богатство национальных культур стран социализма, лучшие достижения всей мировой цивилизации» (стр. 22).

Критикуя тех буржуазных идеологов, которые стремятся использовать обмен идеями и людьми как средство подрывной деятельности, ведущей к отчуждению между народами, К. Ф. Катусhev указывает на то, что «мы за обмен такими ценностями культуры, которые возвышают человека, помогают ему понять свое место в жизни, раскрывают во всей ее сложности картину противоречий действительности. Но мы были и будем против того, чтобы под видом культурного обмена нам предлагали пропаганду расизма, человеконенавистничества, аморализма» (стр. 23).

Подводя итог изложенному, К. Ф. Катусhev заключает: «Мы переживаем в целом такой этап, когда сотрудничество братских стран — политическое, партийное, экономическое, научно-техническое, идеологическое, культурное — приобретает качественно новый характер, становится могучим ускорителем общественного прогресса. Несомненно, что последующее развитие выявит новые формы сотрудничества социалистических государств, значительно раздвинет его рамки. Но главная, магистральная тенденция уже заявила о себе в полный голос — это тенденция ко всемерному сближению братских народов и стран. Вот почему уже сейчас есть основания сказать словами Маркса, что сегодняшний день убедительно демонстрирует всепобеждающую силу нового общества, международным принципом которого стал мир, ибо у каждого социалистического народа один и тот же властелин — труд» (стр. 28).

Академик Н. Н. Иноземцев в докладе «Социалистический интернационализм и мировое развитие» рассматривает широкий круг вопросов, связанных с влиянием социалистического интернационализма на процессы мирового развития. Н. Н. Иноземцев подробно остановился на таких вопросах, как социализм и интернационализация мировой экономики

¹ В. И. Ленин, Полн. собр. соч., 26, стр. 40.

и политики, социалистический интернационализм и проблемы национально-освободительного движения, общественно-развития стран «третьего мира», национальный вопрос в развитых социалистических странах.

Э. А. Баграмов в докладе «Марксистско-ленинская теория национальных отношений и современная идеологическая борьба» дает анализ буржуазной идеологии по национальному вопросу. В своем выступлении Э. А. Баграмов отметил, что «образование мировой системы социализма, создание содружества социалистических стран явилось новой яркой демонстрацией жизнеспособности принципов пролетарского интернационализма, торжеством идеологии и дружбы народов» (стр. 58).

Для лингвистов в рецензируемом труде существенный интерес представляют также статьи М. И. Куличенко «Актуальные проблемы марксистско-ленинского учения о нациях и национальных отношениях в условиях социализма», С. Т. Калтахяна «Единство, расцвет и сближение наций — закономерность социализма», М. Т. Новчука и Ю. А. Луккина «Интернационалистская духовная общность и дальнейшее сближение культур народов социалистического содружества», Г. Е. Глелермана «Классы и нация», П. М. Рогачева и М. А. Свердлина «Патриотизм и нация», И. Ф. Авошкина «Возрастание роли интернационального в развитии наций при социализме», М. С. Джунусова «Совершенствование национальной политики марксистско-ленинских партий в условиях развитого социализма (на опыте КПСС)», А. И. Холмогорова «Интернациональные черты социалистических наций», В. А. Куманева, Г. Е. Трапезникова «Взаимовлияние и взаимообогащение социалистических национальных культур в СССР», К. Х. Ханазарова «Роль русского языка в развитии культур народов СССР» и др.

В книге опубликованы доклады ученых Германской Демократической Республики, Венгерской Народной Республики, Народной Республики Болгарии, Польской Народной Республики, Монгольской Народной Республики, Демократической Республики Вьетнам, Социалистической Республики Румынии, Чехословацкой Социалистической Республики. Эти статьи также представляют большой теоретический и практический интерес для марксистско-ленинского понимания сущности процессов развития национальных отношений в отдельных социалистических странах и в социалистическом лагере в целом.

В рассматриваемом труде уделено существенное внимание проблемам функционирования языков в развитом социалистическом обществе. Специально этим проблемам посвящена статья Ю. Д. Дешериева «Национальные языки в усло-

виях развитого социалистического общества».

Ю. Д. Дешериев на конкретных фактах показывает выдающиеся достижения СССР в развитии национальных языков, подвергая заслуженной критике научно несостоятельные утверждения буржуазных фальсификаторов об ассимиляции всех нерусских языков и культур народов нашей страны. Автор обоснованно заявляет, что «литературные языки народов СССР никогда не находились на таком высоком уровне развития, как в настоящее время» (стр. 185). Вместе с тем автор отмечает, что идеологи антикоммунизма распространяют и диаметрально противоположные измышления, пытаются обвинить нас в пропаганде филантропических идей развития всех отраслей науки и культуры на всех языках мира (их более 3 тыс.). Между тем хорошо известно, что марксистско-ленинская наука объективно, теоретически и практически обоснованно оценивает реальные потребности советского общества в функционировании и развитии различных языков» (стр. 185).

В связи с необходимостью научной критики ошибочных суждений и путаницы, которые внесли отдельные языковеды и педагоги в теорию и практику языкового строительства в районах, где проживают малочисленные народности, а также в связи с попытками этих языковедов и педагогов добиться практической реализации своих несостоятельных положений, заслуживают внимания представленные в статье Ю. Д. Дешериева следующие положения: «Сложные этнолингвистические процессы, происходящие в СССР, имеют свои специфические особенности, обусловленные советской действительностью. Одна из них заключается в том, что наша страна не допускает насильственной ассимиляции какого бы то ни было языка или его носителей. Это, конечно, не означает, что мы искусственно задерживаем естественно происходящие процессы добровольного перехода малочисленных носителей бесписьменных языков на языки крупных социалистических наций и народностей. Дальнейшее развитие научно-технической революции, социальных процессов во всем мире в настоящее время ведет не к увеличению количества языков, а к их сокращению путем постепенного выхода из употребления бесписьменных языков малочисленных народностей и этнографических групп. Так, носители будущего (около 2—3 тыс. человек), кризского (4—5 тыс. человек), хиналугского (выше 1 тыс. человек) языков, живущие в Азербайджанской ССР, постепенно переходят на азербайджанский и другие языки крупных наций; бабийцы — носители „одноаульного“ языка в Грузинской ССР — добровольно признали своим родным, функционально первым яз-

ком грузинский; ваханцы, шугнанорущанцы, язгулемцы, проживающие в Таджикской ССР, в основных сферах общественной жизни пользуются более развитым литературным таджикским языком и т. д.» (стр. 186). Об аналогичных тенденциях постепенного выхода из употребления бесписьменных языков малочисленных народностей Крайнего Севера, исходя из своих исследований и наблюдений, а также из трудов других авторов, справедливо писал и О. П. Суник².

Далее Ю. Д. Дешериев отмечает, что «тенденция к постепенному выходу из употребления бесписьменного языка или сокращению его общественных функций могут развертываться только в том случае, если сами малочисленные их носители стремятся к этому, практически, добровольно переходя на развитые, широко распространенные национальные языки. В условиях социализма никакой язык не может быть запрещен или отменен. Язык может отмереть, если общество в нем перестало нуждаться. Было бы грубой ошибкой пытаться механически переносить указанные процессы, в известной мере характерные для бесписьменных языков очень малочисленных их носителей, на литературные языки союзных, автономных республик, автономных областей и национальных округов» (стр. 186).

Говоря о бесписьменных и младописьменных языках, Ю. Д. Дешериев исходит из собственного многолетнего опыта исследования на местах указанных языков, из своих исследований, посвященных, например, младописьменным чеченскому, ингушскому, бесписьменным бацбийскому, хиналугскому, будухскому языкам, а также из фронтального исследования социально обусловленных закономерностей языкового развития в СССР.

Ю. Д. Дешериев учитывает всю сложность современной языковой жизни, весьма значительные расхождения между общественными функциями языков, потенциальные возможности и перспективы их развития. «Еще в начале 60-х годов в Государственной библиотеке СССР имени В. И. Ленина хранились книги на 160 языках; в мире издавалось от 50 до 100 тыс. научных и технических периодических изданий на сотнях языков. Для перевода с десяти языков нужно иметь 90 разных словарей, а с пятидесяти — 2450 и т. д. Лишь немногие государства мира могут перевести и сделать достоянием широких слоев обществности эту огромную научно-техническую информацию. По словам болгарского профессора Атанаса Стойкова, „фронт нау-

ки сегодня, например, настолько увеличился, что такая страна, как наша (т. е. Болгария. — Ю. Д.), со своими ограниченными средствами и возможностями, не может, несмотря на все усилия, равномерно развивать все отрасли научного знания“» (стр. 188).

Автор ссылается на аналогичные высказывания представителей наших союзных республик: «Представители советских республик также учитывают невозможность по тем же причинам равномерно развивать все отрасли науки, используя лишь местные языки. Поэтому в национальных республиках придают столь большое значение овладению русским языком, являющимся единственным в СССР языком межнационального и международного общения, основным языком, с помощью которого можно максимально полно овладеть общесоветской культурой. Это также главный язык культурного обмена между советскими народами и народами социалистических стран» (стр. 188).

Как подчеркивает Ю. Д. Дешериев, велика роль русского языка и в культурном обмене между народами: «Народы СССР знакомятся с достижениями других социалистических стран не путем овладения всеми языками, функционирующими в них (это практически невозможно), а главным образом через посредство русского языка, на который переводится наиболее важная общественно-экономическая, политическая, научно-техническая и художественная литература, издаваемая на языках других стран. В свою очередь представители социалистических стран изучают достижения всех народов СССР в области культуры, науки, техники, литературы и искусства не посредством овладения всеми более чем 70 письменными языками советских народов (практически это также невозможно), а через посредство русского языка, на который переведены и переводятся все лучшие произведения деятелей культуры, ученых, писателей, творящих на всех письменных языках народов СССР» (стр. 188, 189).

В заключение автор пишет: «Марксизм-ленинизм не считает вечным многоязычие современного мира. Тем не менее коммунисты не ведут борьбы против многоязычия. Напротив, они выступают за развитие национальных языков, за создание письменности для многих таких народов Азии и Африки, которые нуждаются в расширении общественных функций их языков в соответствии с их жизненными потребностями, нуждами. При этом марксизм-ленинизм не забывают, что человечество идет к коммунизму, на высшей ступени развития которого произойдет слияние наций в единую семью. В этом проявляется диалектическая постановка вопроса, при которой учитывается эпоха, конкретные социаль-

² О. П. Суник, О языковом развитии некоторых малочисленных народов Сибири, в кн.: «Развитие литературных языков народов Сибири в советскую эпоху», Улан-Удэ, 1965.

но-экономические условия решения национально-языковых проблем» (стр. 189). Опираясь на конкретные исследования советских ученых, Ф. П. Филин также писал о тенденциях постепенного отмирания бесписьменных языков малочисленных народностей³.

Правильно освещенные в трудах Ф. П. Филина, Ю. Д. Дешериева и О. П. Суника вопросы функционирования бесписьменных языков, а также некоторых письменных языков очень малочисленных народностей более широко ставятся в статье А. Г. Агаева «Некоторые актуальные проблемы теории социалистической народности».

А. Г. Агаев отмечает, что «и сейчас сохраняет свое методологическое значение указание В. И. Ленина о том, что правительство, общественные организации, практические и теоретические работники, представляющие советские нации в отношениях с народностями, национальными и этническими группами, призваны делать упор на их свободное развитие, на использование ими всех потенциальных возможностей этнической консолидации, на умножение духовной культуры, обогащение традиций, удовлетворение постоянно растущих запросов» (стр. 243).

Вместе с тем автор обоснованно утверждает: «Что же касается общественных организаций, практических работников, деятелей науки, культуры и просвещения самих народностей, то они в современных условиях должны делать упор на соединение, сближение, слияние этих народностей с крупными социалистическими нациями, на усвоение языка и культуры этих наций и международного языка советского народа, на решительное преодоление традиций замкнутости, заскорузлости, отчужденности, тем более что и в самой реальной действительности социалистического общества историческая тенденция к национальной консолидации народностей все более уступает место тенденции к их ассимиляции среди окружающих наций. Народности, которые имели внутренние потенции развития в самостоятельные нации, уже оформились как нации в процессе экономического и культурного подъема и самоопределения в результате социалистических преобразований. Остается все меньше народностей, которые в перспективе будут обладать внутренними потенциальными возможностями для консолидации в нации. Перед большинством из сохранившихся сейчас народностей встают два пути дальнейшего социально-этнического движения: или объединение нескольких народностей в одну нацию

(в Дагестанской АССР), или постепенное этническое слияние с крупными нациями (в Таджикской, Азербайджанской, Грузинской ССР)» (стр. 244). Эти тенденции наблюдаются среди малочисленных носителей бесписьменных языков.

В связи с вопросами, поднятыми в статье А. Г. Агаева, перед исследователями языков малочисленных народностей встают новые задачи, требующие преодоления допущенных ошибок в теоретических работах и практической деятельности и решительного отказа от научно несостоятельных прогнозов и лишенных чувства реальности футурологических упражнений по вопросу о современном состоянии и перспективах языков малочисленных народностей, их школ с обучением на этих языках. Наши языковеды должны сочетать научные исследования указанных языков с созданием трудов, которые призваны помочь их носителям овладеть языком межнационального общения, а также одним из языков крупных наций, среди которых они живут и трудятся.

Некоторые ошибки, которые были допущены в период языкового строительства в организации школ с обучением на родных языках малочисленных народностей Крайнего Севера и Сибири, повторяются и в настоящее время отдельными языковедами и педагогами. Следствием этого является многократная перестройка преподавания русского и родных языков в школах указанных народностей, что дезориентирует родителей, учащихся и органы народного образования в выборе языка обучения, в определении перспектив развития языков и культур малочисленных народностей Севера. Ныне этими языковедами и педагогами настойчиво выдвигается требование возврата к 20-м годам в постановке школьного образования у этих народностей с переводом обучения в начальной школе на родные языки. Такая постановка вопроса по существу направлена против добровольного выбора языка обучения, она не обусловлена заботой о духовном развитии этих народностей, об их настоящим и будущем, она ведет их не вперед, а тянет назад, к отсталому прошлому. Для Советского Союза не проблема создание букварей, учебников первого и второго классов на языках девяти-десяти малочисленных народностей Севера (например, для 8 тыс. манси, 10 тыс. нанайцев, 14 тыс. чукчей). Как видно из изложенного выше, данная проблема не относится к числу важнейших социальных проблем языкового развития в нашей стране. Это довольно частная проблема, на которой и не следовало бы здесь останавливаться, если бы не далеко идущие негативные социальные последствия, вытекающие из такой постановки вопроса в условиях нашего многонационального государства, в условиях развития новой

³ Ф. П. Ф и л и н, Проблема социальной обусловленности языка, в кн.: «Язык и общество», М., 1968, стр. 11.

исторической общности людей — советского народа.

Нам представляется, что указанное требование не отвечает жизненным интересам малочисленных народностей Севера, уровню их духовного развития, запросам современного этапа развития советского общества, задачам повышения роли языка межнационального общения в общеобразовательном и культурном развитии особенно малочисленных народностей.

Правильное решение рассматриваемого вопроса было предложено в рекомендациях Всесоюзной конференции в Ташкенте в октябре 1975 г.: организовать обучение русскому языку детей еще в дошкольном возрасте, в детских

садах. Для этой цели подготовить и издать соответствующие пособия. Это предложение, позволяющее должным образом подготовить детей к школьному обучению, имеет особенно большое значение для дошкольного воспитания и обучения детей малочисленных народностей Крайнего Севера и Сибири.

Рецензируемый труд представляет большой методологический, теоретический и практический интерес. Он поможет и нашим языковедам правильно ориентироваться в сложных проблемах развития национальных отношений не только в СССР, но и в других социалистических странах.

Р. И. Ахриева, Б. Хасанов

Ф. М. Березин. История лингвистических учений. — М., «Высшая школа», 1975. 304 стр.

Среди сложных и многообразных задач, стоящих перед советскими языковедами, особенно выделяется теперь популяризация русского и советского языкознания: выдвинутый современностью в порядок дня международный обмен научной информацией, важность международного сотрудничества ученых представляют собой вопросы, ни у кого не вызывающие сомнений.

Однако о с у щ е с т в л е н и е этих задач и конкретное решение этих вопросов все еще далеко не соответствует их насущной важности. Если до сих пор очень многие работы наших языковедов полны ссылками на иностранную литературу (и иногда оказываются под совсем неоправданным влиянием чуждых нам концепций), то в соответствующих зарубежных публикациях не только не наблюдается влияния советской лингвистической науки о языке, но обычно вообще не содержится ссылок на наши работы (за редкими исключениями — и то в основном на работы, представляющие собой «кальки» наиболее разрекламированных произведений иностранных авторов). В области историографии перечисление ограничивается такими именами иностранных ученых, как Гумбольдт, Беккер, Шлейхер, Соссюр, а авторы соответствующих исследований обычно тоже иностранцы — Арнс, Террачини, Мунэн, Лемап, Робинс, Тальявини.

Из изложенного ясно, насколько важной и своевременной является публикация рецензируемой книги. Она заполняет существенный пробел в лингвистической литературе, давая в ясной и доступной форме полное представление о передовой роли русского и советского языкознания. То, к чему только теперь при-

ходит, например, современная американская лингвистика (язык и общество или «социолингвистика», внимание к значению, неразрывная связь фонетики и фонологии, единство синхронии и диахронии и т. п.), уже давно стало основой советского языкознания¹.

Переходя к рассмотрению основного содержания книги, следует еще задержаться на одном более общем вопросе. Дело в том, что в наших языковедческих работах сравнительно редко утверждаются с л о в е с н о основные положения марксистской науки в ее отношении к чуждым ей идейным течениям — по всей вероятности, потому, что эти положения принимаются как всем известные

¹ В этом отношении очень показателен доклад американского лингвиста А. С. Абрамсона «Recent developments in linguistics» (см. «Bulletin of the Linguistic Society of America», 65, Baltimore, 1975). Все перечисленные выше вопросы, которые для советского языкознания давно являются аксиомами, в этом докладе преподносятся как «последние достижения».

Можно также сослаться на предисловие к VII тому «Новое в лингвистике» (М., 1975), где Н. С. Чемоданов убедительно показывает, что вопросы неразрывной связи языка и общества привлекли внимание советских лингвистов уже во второй половине 20-х годов текущего столетия, а «социолингвистика» начала развиваться в США лишь в начале 60-х годов, причем без воздействия со стороны советского языкознания, т. е. не только без изучения соответствующих работ, но и, по-видимому, даже без представления об их существовании.

и потому не нуждающиеся в повторении. Но ошибочность этого мнения применительно к лингвистике вряд ли может вызвать у кого-либо сомнения, если вспомнить о том, как много времени понадобилось для того, чтобы разоблачить идеалистическую концепцию Н. Хомского и хоть немного уменьшить огромные затраты наших бумажных фондов на различные операции с его лингвофилологическими измышлениями². Поэтому в высшей степени своевременным является «Введение» к рецензируемой книге, ясно и недвусмысленно утверждающее марксистско-ленинские принципы историографического исследования (стр. 3—4).

В 14 главах книги охватывается огромный исторический период — все развитие языкознания от зарождения науки о языке в древней Индии до советского языкознания на современном этапе, причем огромным достоинством изложения является раскрытие роли и места русского и советского языкознания в мировом лингвистическом процессе. При этом Ф. М. Березин даяет от того, чтобы попытаться умалить роль западноевропейских ученых в развитии нашей науки. Он просто показывает читателю, как много оставлено нам предыдущими поколениями русских и советских ученых.

После краткого описания «зарождения науки о языке» (языкознание в древней Индии, греко-римское и арабское языкознание) Ф. М. Березин переходит к лингвистике XIV—XVIII вв., т. е. к тому периоду, когда языкознание как таковое еще только начиналось и главным достижением была разработка основных вопросов филологии и языка. Для советского читателя, который все время слышит только о Пор-Рояле и Декарте, исключительно интересным является вдумчивое освещение деятельности Ломоносова и Радищева — особенно раздел «Значение филологических трудов М. В. Ломоносова для развития русского языкознания». Ломоносов не только утверждал общественный характер языка и материалистически разъяснял основные проблемы современного ему философского языкознания, но и внес огромный вклад в развитие грамматического и стилистического исследования языка, в учение о его словарном составе и др. Широкому кругу языковедов мало известно об исследованиях Ломоносова в области исторического и сравнительно-исторического языкознания.

Начало XIX в. обычно выделяется как решающий этап в истории нашей науки, когда в центре внимания оказы-

вается расширение круга языков и разнообразия языковых фактов, разработка строгих методов исследования, определяемых неповторимой спецификой предмета. И здесь роль русских ученых обычно отодвигалась на задний план. Так, Г. С. Лебедев, И. С. Рижский, И. Орнатовский, И. О. Тимковский и Л. Якоб, не говоря уже о А. Х. Востокове, либо оказываются вовсе неизвестными, либо (А. Х. Востоков) выступают как эпигоны уже созданных учений. Теперь, когда и в США стало появляться все больше историографических работ, нельзя не испытывать большой неловкости, видя полное отсутствие в них даже упоминания о русских ученых³. Очень интересна краткая сводка критических оценок лингвофилософской системы В. фон Гумбольдта Н. Г. Чернышевским и А. А. Потебней.

В отдельную главу выделено языкознание в России в 30—60-е годы XIX века — И. И. Срезневский, Ф. И. Буславев, В. И. Даль — и удивительно современные по идейному содержанию суждения русских революционных демократов о языке и языкознании. Отдельные главы посвящены А. А. Потебне, Ф. Ф. Фортунатову, Казанской лингвистической школе (И. А. Бодуэн де Куртене, Н. В. Крушевский, В. А. Богородицкий). Показано значение для развития языкознания выдающейся научной деятельности А. А. Шахматова, Б. М. Ляпунова и М. М. Покровского. Большое внимание уделено Л. В. Щербе, В. В. Виноградову, современным нам советским языковедам. Но, конечно, все это только первый шаг в изучении и популяризации русского и советского языкознания. Необходимо скорейшее опубликование монографического исследования, специально посвященного развитию языкознания в нашей стране. Очень важно издать такую книгу одновременно также на английском языке как до сих пор наиболее распространенном в сфере международного научного общения.

Недостатком книги является некоторое невнимание к реальному положению дел в некоторых направлениях зарубежной лингвистики и некритическое использование некоторых наших публикаций по этим вопросам. Так, первый том сборника «Новое в лингвистике», напечатанный в 1960 г. (а следовательно, написанный еще раньше), был далеко не «нов» по содержанию уже тогда. А в течение пятнадцати лет идеи Ельмслева были де-

² Здесь целесообразно сослаться на выступления Дж. Лакофф и Ж. Бувереса в книге Г. Парэ «Discussing language» (The Hague, 1974).

³ См., например: «Studies in the history of language (traditions and paradigms)», ed. by D. Hymes, Indiana University Press, 1974, стр. 519; или журнал «Historiografia linguistica», где я пока не обнаружила ни одного исследования, посвященного русским ученым.

тальнейшим образом разработаны (включая подробнейшую репрезентацию по методу графов) в лингвистической системе Ч. Лэма, которого ни в какой мере нельзя упрекнуть в исключении языковой субстанции. Достаточно самого беглого взгляда на работы Греймаса, Гартмана и многих других, да и на семасиологические работы самого Ельмслева (например, на его большую статью в десятом номере журнала «Word»), чтобы убедиться в нецелесообразности простого повторения положений, которые уже и во время их первого написания не были достаточно серьезными. Вместе с тем, исходя из тех принципиальных установок, которые с такой ясностью сформулированы во «Введении», было бы чрезвычайно важно дать марксистскую оценку философским осно-

вам критикуемых лингвистических школ, в данном случае, например, показать роль гуссерлианства в формировании философских взглядов Ельмслева. Как известно, именно пренебрежением к философской основе того или другого «нового» лингвистического направления только и можно объяснить распространение у нас так называемой «генеративной грамматики».

Сделанное критическое замечание легко может быть учтено автором. Общій же вывод может быть только самым благоприятным: Ф. М. Березин создал очень нужное и ценное учебное пособие, которое, несомненно, будет совершенствоваться от издания к изданию.

О. С. Ахманова

«Новое в лингвистике». Вып. VII — Социолингвистика.
Общая редакция и вступительная статья Н. С. Чемоdanова. —
М., «Прогресс», 1975. 486 стр.

За последнее десятилетие значительно возрос интерес лингвистов во всем мире к проблемам социальной обусловленности языка, функционирования языка в социальной среде, влияния социальных факторов на языковое развитие. Как известно, весь этот комплекс проблем разрабатывается в рамках социолингвистики, развивающейся на стыке языкознания и социологии. Нынешний этап развития социолингвистики характеризуется активизацией усилий в области разработки теоретического аппарата этой дисциплины, совершенствования исследовательской техники, решения конкретных социолингвистических проблем.

В Соединенных Штатах социолингвистика сравнительно недавно оформилась в самостоятельное научно-исследовательское направление. Однако работы американских ученых, занимающихся разработкой социолингвистической проблематики, уже успели приобрести весьма широкую известность за пределами США и в первую очередь в Западной Европе, где они оказывают определенное влияние на теорию и исследовательскую практику ряда социолингвистических школ и направлений.

Поэтому выход очередного, VII выпуска сборника «Новое в лингвистике», посвященного социолингвистике и включающего ряд небольших монографий и статей американских социолингвистов, следует всячески приветствовать. Выход в свет этой книги даст возможность советским лингвистам, социологам, этнографам, всем, кого интересуют социолингвистическая теория и методы социолингвистического анализа, познакомиться с трудами ведущих американских соци-

лингвистов и критически использовать их в собственной исследовательской работе. Разумеется, для советских социолингвистов, опирающихся на марксистскую философию, на достижения марксистской социологии, многое в работах американских ученых является совершенно неприемлемым. Более того, многие истины, которые американские социолингвисты впервые открывают для себя, давно известны советским языковедам, для которых учет социальной сущности и социальной роли языка всегда был неотъемлемой частью их методологической платформы. И вместе с тем советский читатель, несомненно, найдет для себя немало полезного в трудах, включенных в рецензируемый сборник.

Сборнику предпослана интересная и содержательная статья Н. С. Чемоdanова, в которой весьма четко и убедительно выявляются исторические предпосылки современной социолингвистики. Автор статьи справедливо указывает на историческую преемственность между современными социолингвистическими исследованиями и работами французской социологической школы, Пражского лингвистического кружка, Т. Фрингса и его лейпцигской школы. Особый интерес представляет тот раздел статьи, в котором автор подробно останавливается на трудах советских языковедов, которые во второй половине двадцатых и в особенности в тридцатые годы внесли большой вклад в развитие социологического языкознания. Н. С. Чемоdanов правильно подчеркивает то решающее значение, которое общественно-историческое понимание языка всегда имело для советских языковедов, показывает ту огромную

роль, которую сыграли их труды в разработке проблем социальной дифференциации языка, языкового строительства, национального языка, литературного языка, литературной нормы и других актуальных вопросов социальной лингвистики. К сожалению, в статье Н. С. Чемоданова названы имена не всех советских языковедов, внесших весомый вклад в развитие социалингвистики. Так, в ней не упоминаются имена В. А. Аврорина, И. К. Белодеда и др. Во вступительной статье дается оценка работам американских социалингвистов. При этом автор четко различает действительно оригинальные положения этих работ и те, которые были предвосхищены учеными других стран и, в частности, советскими языковедами. Особое внимание уделяется трем наиболее видным американским социалингвистам — Дж. Гамперцу, У. Лавову и Д. Хаймсу. Подвергая работы этих ученых справедливой критике с позиций марксистской социалингвистики, автор в то же время выделяет в них то, что, по его мнению, заслуживает внимания и творческого использования. Так, оценивая работы Д. Хаймса, Н. С. Чемоданов вполне справедливо указывает на то, что понимание относительности языка у этого автора является идеалистическим. В то же время нельзя не согласиться с Хаймсом, когда он пишет о том, что при характеристике тех или иных форм речи нельзя ограничиваться описанием естественных коммуникативных возможностей и формальных языковых признаков. Необходимо учитывать также социокультурное намерение, которое определяет типы и модели употребления языка и характеризует с социальной точки зрения его познавательное и эмоциональное значение.

Что касается отбора работ, помещенных в сборник, то в основном его следует считать удачным. В целом, эти работы достаточно репрезентативны, конечно, с поправкой на тот (к сожалению, немалый) промежуток времени, который истек с момента комплектования сборника до его опубликования. Однако в некоторых случаях выбор представляется недостаточным мотивированным. Так, например, при наличии обстоятельной вводной статьи едва ли имело смысл помещать в сборник введение, написанное У. Брайтом, к опубликованному в 1966 г. сборнику, поскольку оно в значительной мере носит декларативный характер, а содержащиеся в нем общие положения достаточно полно раскрываются в ряде напечатанных в книге работ.

Среди работ, в меньшей степени характерных для современной американской социалингвистики, следует назвать статью известного американского диалектолога Р. И. Макдэвида «Диалектные и социальные различия в современном городском обществе». В ней есть немало

тонких и верных наблюдений относительно влияния социальных процессов на язык в современном американском обществе. Однако эти наблюдения носят несистематизированный характер и не опираются на данные объективного анализа.

В стороне от магистральных направлений социалингвистики находится и работа этнографа Дж. Л. Фишера «Синтаксис и социальная структура: Трук и Понапе». Эта работа, представляющая собой попытку возродить гипотезу Сенира — Уорфа, явно звучит анахронизмом и в большей мере созвучна работам периода «антропологической лингвистики». Попытки автора установить прямую связь между некоторыми структурами в двух микронезийских языках и двумя различными типами мышления — абстрактным и конкретным — малоубедительны и явно бьют мимо цели. Показательно, что автор оперирует разрозненными примерами отдельных форм, оставляя в стороне вопрос об использовании этих форм в контексте.

Не во всех случаях составителям удалось поместить в сборник работы, отражающие наиболее поздний вариант взглядов автора по тому или иному вопросу. Так, например, в книгу включена написанная в 1962 г. статья Хаймса «Этнография речи», а опубликованная двумя годами позднее работа этого же автора об этнографии коммуникации¹, в которой изложенная в первой работе концепция получает дальнейшее развитие, в сборник не вошла. Вызывает сожаление и то, что в сборник не успели попасть некоторые весьма важные для оценки нынешнего состояния социалингвистических исследований в США работы, опубликованные после 1970 г.

Однако несмотря на известные проблемы, часть которых обусловлена объективными причинами, не зависящими от составителей, сборник дает достаточно полное представление о круге вопросов, разрабатываемых американскими социалингвистами, об их методологических установках и об используемых в их трудах аналитических процедурах. Остановимся на наиболее важных работах, помещенных в рецензируемый сборник. Среди них следует назвать статью У. Лавова «Исследование языка в его социальном контексте», в которой ставится задача разработать лингвистическую теорию, пригодную для интерпретации данных, характеризующих использование языка в рамках речевого коллектива. При этом Лавов делает существенную оговорку о том, что он не включает в рассмотрение широкий круг вопросов, связанный с воздействием крупномасштабных социальных факторов на языки

¹ D. H y m e s, Introduction: toward ethnographies of communication, «American anthropologist», 66, 6, pt. 2, 1964.

и диалекты, с исчезновением и ассимиляцией языковых меньшинств и развитием устойчивого двуязычия, со стандартизацией языков и планированием языковых процессов во вновь образующихся нациях. Таким образом, провозглашается ориентация на микросоциологию языка, тогда как вопросы, связанные с крупномасштабными социальными факторами, фактически выводятся за рамки социолингвистики.

В этой теоретической установке отражается ориентация на позитивистскую социологию, сосредоточивающую все внимание на микроуровне социальной структуры и упускающую из вида широкий социальный контекст. Еще более определенно высказывается в этом направлении Дж. Гамперц, который, в частности, в опубликованной в рецензируемом сборнике статье «Об этнографическом аспекте языковых изменений» отрицательно оценивает возможности использования в социолингвистическом анализе иерархической модели общества, где население подразделяется на ряд дискретных групп, различаемых с помощью таких категорий, как класс, каста и т. п. Вместо этого автор предпочитает использовать модель малых групп, выделяемых на основе «реально наблюдаемых» неформальных связей.

Из сказанного никак не следует, что микросоциологическая тематика не является достойным объектом социолингвистического анализа. Нам уже приходилось высказываться по этому поводу². Думается, что микро- и макроуровни социолингвистического анализа взаимно дополняют друг друга. Значение микросоциологических исследований, позволяющих уточнить механизм воздействия социальных факторов на речевую деятельность, представляется неоспоримым. Нельзя не признать, что американские социолингвисты внесли заметный вклад в разработку этой тематики. Ее теоретическому обоснованию посвящена, в частности, и включенная в сборник работа Д. Хаймса «Этнография речи», где социолингвистические проблемы рассматриваются на микроуровне речевого акта.

Наиболее гипертрофированное воплощение микросоциологической ориентации получает в работах этнометодологов³, которые, опираясь на феноменологическую социологию, анализируют акты речевой коммуникации на основе тех интуитивных категорий, которыми, по их мнению, руководствуются коммуниканты, интерпретируя смысл высказывания. При этом ситуация речевого акта предстает лишь в том виде, какой ее видит

участвующий в коммуникативном акте индивид. Фактически в этнометодологических исследованиях исключается из рассмотрения не только широкий, но и узкий социальный контекст.

Возникновение и формирование социолингвистики в Соединенных Штатах было самым непосредственным образом связано с кризисом структурного языкознания и, в частности, дескриптивной лингвистики. В статьях, опубликованных в сборнике, можно отчетливо проследить эволюцию взглядов американских социолингвистов. Если, например, Ф. К. Бок в статье «Структура общества и структура языка» пытается вслед за К. Пайком исследовать социолингвистический материал на основе дескриптивной модели тагемного анализа «ситуационных матриц», то в более поздних работах (например, в цитированной выше работе Лабова) мы находим решительный пересмотр основных постулатов дескриптивизма (в частности, о гомогенности языковой системы, о «свободном варьировании», об автономии языкознания и др.). В статье Д. Хаймса «Два типа лингвистической относительности» провозглашается отход от дескриптивистской традиции, согласно которой в языкознании и антропологии акцентировалась инвариантность структуры языка.

Вместе с тем для социолингвистов оказались неприемлемыми и многие положения, выдвигаемые пришедшими на смену дескриптивистам генеративистами. Так, например, У. Лабов подвергает убедительной критике положения теории Н. Хомского, согласно которым собственным объектом лингвистики является абстрактный, однородный речевой коллектив, все члены которого говорят одинаково и обучаются языку мгновенно.

Еще более развернутую полемику с ориентированной на «идеального говорящего — слушающего» генеративистской теорией мы находим в не вошедшей в рецензируемую книгу работе Д. Хаймса «О коммуникативной компетенции»⁴, где содержится убедительная критика вырванной из социокультурного контекста генеративистской модели, построенной на противопоставлении competence (компетенции): performance (реализации).

Вместе с тем американские социолингвисты испытывают определенное влияние генеративистской теории, что проявляется, в частности, в заимствовании некоторых понятий у генеративистов. Так, У. Лабов вводит понятие переменного правила, представляющее собой компромисс между порождающей моделью Хомского и статистической моделью речевого поведения. Это понятие напоминает «факультативное правило» (optional rule) порождающей грамматики с той

² А. Д. Швейцер, О микросоциологии и макросоциологии языка, М., 1970.

³ Н. G a r f i n k e l, Studies in ethnomethodology, Englewood Cliffs, 1967.

⁴ D. H. H y m e s, On communicative competence, Philadelphia, 1971.

лишь, однако, разницей, что оно отражает некоторые переменные ограничения, в том числе и ограничения социального порядка, влияющие на реализацию.

Однако онтологическая природа «переменных правил» во многом неясна. Как утверждает последователь Лабова Р. Фасолд⁵, переменные ограничения этих правил отражают сознательную ориентацию говорящего на более частое их применение в одних контекстах, нежели в других. Думается, что здесь допускается смешение двух сторон речевой деятельности — субъективной и объективной. Ведь формула переменного правила устанавливает частотность его применения, т. е. один из объективных показателей речи, далеко не всегда отражающий в точности субъективные установки говорящих.

В противовес «переменным правилам» выдвигается исходящая из теории волн модель импликационного шкалирования⁶. Однако эта модель сводится лишь к сопоставлению отличающихся друг от друга наличием того или иного трансформационного правила идиолектов и обходится без весьма существенного для социолингвистического анализа понятия языкового коллектива.

Сделанные выше критические замечания ни в коей мере не следует понимать как полное отрицание того вклада, который внесли американские ученые в разработку методов социолингвистического анализа. Напротив, думается, что в этой области опыт американских социолингвистов заслуживает самого внимательного изучения. Особый интерес представляют включенные в сборник работы Гам-

перца, Лабова и Эрвин-Трипп, где читатель найдет изложение ряда интересных и оригинальных приемов сбора и обработки данных (опроса, эксперимента, включенного наблюдения, шкалирования, статистической обработки материала и т. п.).

В целом, перевод, выполненный советскими лингвистами на высоком профессиональном уровне, достаточно точно отражает содержание и терминологический аппарат включенных в книгу работ. Некоторые возражения вызывает перевод отдельных (в основном, социологических) терминов. Так, англ. *participant observation* переводится как «участие и наблюдение», тогда как в социологии в этом смысле обычно употребляется термин «включенное наблюдение». Едва ли можно признать удачным такое «терминотворчество», как «знакемы» (*signones*), «управлемы» (*regnonnes*), «структемы» (*strucionnes*), тем более если учесть, что эти термины в оригинале не используются в «эмическом» смысле. В ряде случаев отсутствует унификация терминов. Так, один и тот же английский термин переводится то как «языковой коллектив», то как «языковое общество», то как «языковое сообщество».

Однако необходимо отметить, что такого рода погрешности встречаются крайне редко и в целом книга весьма тщательно отредактирована.

Давая общую оценку рецензируемому сборнику, следует подчеркнуть, что издательство «Прогресс» выпустило нужную и полезную книгу, посвященную актуальным проблемам языкознания. Желательно, чтобы за этим первым сборником из серии «Новое в языкознании», посвященным социолингвистике, последовали другие, которые познакомили бы советского читателя с другими работами не только американских социолингвистов, но и представителей других социолингвистических направлений.

А. Д. Швейцер

⁵ R. H. Fasold, *Tense marking in Black English*, Arlington, 1972.

⁶ D. Bickerton, *The structure of polylectal grammars*, сб. *Monograph series on language and linguistics*, 23rd annual round table, Washington, 1973.

Е. Д. Дондуа. Статьи по общему и кавказскому языкознанию. — М., «Наука», 1975. 317 стр.

Недавно Научным советом по теории советского языкознания при Отделении литературы и языка издана книга известного ученого, видного исследователя каргвельских и горских кавказских языков, профессора Кариеза Дариспановича Дондуа «Статьи по общему и кавказскому языкознанию». Редакция [в составе чл.-корр. АН СССР А. В. Десницкой (отв. редактор), проф. В. И. Абаева, проф. В. Д. Дондуа], д-ра филол. наук

Г. Ф. Турчанинова, канд. филол. наук И. О. Гецадзе] провела огромную работу для того, чтобы творческое наследие замечательного советского лингвиста стало, наконец, по-настоящему доступным самой широкой языковедческой аудитории.

К. Д. Дондуа был филологом широкого диапазона. Он скончался в возрасте 60 лет, многого еще не успев сказать. Некоторые его труды в области каргвелологии, общего языкознания, в литературоведении

нии, а также по отдельным актуальным проблемам фольклористики остались неопубликованными. Части проблем впервые коснулась благодатная рука ученого.

Как известно, К. Д. Дондуа был исследователем большой продуктивности, он писал как на грузинском, так и на русском языках. Будучи выдающимся полиглотом нашего времени, он блестяще знал как картвельские (грузинский, мегрельский, сванский, чанский), так и европейские (русский, английский, французский, немецкий) языки. Талант, широкая эрудиция, глубокое знание предмета исследования, убедительная интерпретация языковых явлений, необыкновенная способность обобщения и систематизации — все это характеризовало каждую из работ ученого.

Рецензируемая книга открывается предисловием, а также написанной с большой теплотой статьей Г. Ф. Турчанинова «К. Д. Дондуа — ученый и человек», в которой коротко и ясно охарактеризованы жизненный путь и научная деятельность видного лингвиста. Нельзя лишь не отметить одной допущенной в ней неточности: имеем в виду дату рождения исследователя. Г. Ф. Турчанинов отмечает, что «Карлз Дариспанович Дондуа родился в западной Грузии в г. Кутаисе 28 октября 1891 г.» (стр. 11). Эта дата неправильна. В Кутаисском городском архиве хранятся материалы дворянской гимназии, где имеется так называемая «Мегрическая выписка», в которой отмечено, что К. Д. Дондуа родился 13 октября 1890 г. и крещен 28 ноября (см. Кут. гор. центр. архив, Дворянская гимназия, фонд № 9, дело № 2278).

В рецензируемой книге публикуются 22 работы К. Д. Дондуа. Из них 17 составители отобрали из редких изданий. Им существенно облегчила работу вышедшая в 1967 г. в Тбилиси (изд-во «Мецниереба») книга К. Д. Дондуа «Избранные работы. I» (составил, предисловием и примечанием снабдил А. А. Глонти). Но хотя в сносках статьи Г. Ф. Турчанинова, а также в библиографическом указателе трудов ученого эта книга и названа, ее соотношение с настоящим изданием осталось нераскрытым. В рецензируемой книге представлены и пять работ, публикуемых впервые.

Интересны соображения ученого в работе «К вопросу о родительном эмфатическом в древнелитературном грузинском языке», в которой устанавливалось, что в древнегрузинском собственные имена в генитиве эмфатической гласной не приобретают. Здесь же автор выясняет первичную функцию эмфатической гласной.

Особое внимание языковедов привлекают работы К. Д. Дондуа «Об агглютинативном характере грузинского склонения», «О двух суффиксах множествен-

ности в грузинском» и касающаяся вопроса о категории грамматического рода статья «Феминизирующий гласный в грузинском». Эта последняя заслуживает особого внимания тем, что частный вопрос (грамматическая категория рода в грузинском) поднят здесь на высоту проблемы общего языкознания. Исследователь устанавливает в грузинской грамматической традиции определенного времени тенденцию, которая заключалась в искусственном оформлении рода имен признаком грамматической категории рода и поддерживалась фактором воздействия русского языка (например, до революции в грузинском языке встречались такие формы, как *თერა* «царица», *უმერთა* «богиня», *კარტულთა* «грузинка» и др.). Ценно наблюдение К. Д. Дондуа, согласно которому с попытками точной передачи *femininum* мы встречаемся еще в XI—XII вв., в период расцвета грузинской оригинальной и переводной литературы.

Важный синтаксический вопрос был поставлен автором в труде «Из истории развития придаточного предложения в древнегрузинском». По справедливому мнению исследователя, паратаксическая конструкция в грузинском опережает гипотаксическую и на первых ступенях письменности была явно сильнее второй. Интересен и его ответ на вопрос, какой должна была быть первоначальная форма гипотаксического построения предложения в древнегрузинском. Содержащаяся в работе К. Д. Дондуа «Страницы из истории кавказского языкознания» трактовка истории категории инклюзива ~ эксклюзива в картвельских языках имеет принципиальное значение и с точки зрения общего языкознания. В статье «К лингвистическому анализу одной вступительной строфы „Витязя в тигровой шкуре“, где предметом рассуждения 19-я строфа поэмы, налицо образец тонкого филологического почерка исследователя.

В рецензируемой книге представлены также работы: «К генезису формы сравнительно-превосходной степени в картвельских языках», «Грамматическое отрицание как проблема общего языкознания», «Категория инклюзива ~ эксклюзива в сванском и ее следы в древнегрузинском» и др. В статье «Об отношении относительного местоимения к определяемому слову в древнегрузинском» исследователь касается важных проблем истории предложения. К. Д. Дондуа считал прогрессивную и регрессивную ассимиляцию историческим явлением. По его мнению, она характерна только для определенного исторического периода. Обращает на себя внимание тот факт, что именно здесь автор ввел в обиход грузинской грамматической литературы несколько лингвистических терминов.

Принципиальные соображения высказаны К. Д. Дондуа в работе «Адыгейского типа эргатив в сванском. К проблеме морфологического заимствования».

Привлекают внимание и другие работы автора, однако ниже коснемся лишь тех его трудов, которые публикуются впервые и до сегодняшнего дня, к сожалению, оставались вне поля зрения исследователей. Прежде чем перейти к их разбору, отметим, что в рецензируемую книгу не вошли две работы, которые несомненно украсили бы сборник. Это — «Об одной лингвистической кальке (турецкое выражение в армянском и грузинском)» и «Месхский говор грузинского языка».

В первой работе рассмотрен генезис идиоматического выражения *boltas scems* «ходит взад и вперед на коротком расстоянии», которое с фотографической точностью передает аналогичное армянское выражение. В ней, как известно, К. Д. Дондуа, демонстрируя в высшей степени тонкий филологический анализ, приходит к выводу, что по своему происхождению *bolta* — итальянское *volta*, употребляемое в турецком языке как морской термин и проникшее в армянский и чанский языки непосредственно из последнего.

Во втором труде, опубликованном впервые в 1967 г. проф. А. Глойти, исследователь суммирует результаты влияния турецкого на месхскую лексику, обусловленного двухсотлетним господством Османской династии над ахалцхским краем (здесь содержатся тексты и словарь объемом в 316 лексических единиц).

Остановимся коротко на впервые публикуемых в рецензируемой книге работах, из которых прежде всего наше внимание привлекает серия исследований «Из истории изучения кавказских языков» (Ф. Бопп, Г. Шухардт и Н. Я. Марр).

К. Д. Дондуа едва ли не впервые в науке характеризует кавказоведческие штудии одного из основоположников сравнительного языкознания Ф. Боппа: «О грузинском языке с точки зрения его родства с другими языками» (1843) и «Об иберийских глаголах» (1845), составивших впоследствии его известную книгу «Die kaukasischen Glieder des Indoeuropäischen Sprachstammes» (Berlin, 1847). Автор с основанием подчеркивает, что по своим методическим достоинствам и глубине наблюдений кавказоведческое наследие Ф. Боппа не идет в сравнение с работами как его предшественников (Ф. Маджо, М. Броссе, Д. Чубинашвили, Г. Розена), так и ближайших преемников. Вместе с тем, он показывает ограниченность метода, которым владел Ф. Бопп, до конца жизни остававшийся верным своей теории картвельско-индоевропейского родства.

С меньшим интересом читаем мы и

помещенные здесь строки об австрийском языковеде Г. Шухардте и о выдающемся советском лингвисте Н. Я. Марре. У своего учителя К. Д. Дондуа особо подчеркивает качество самокритичности, неоднократно позволявшее ему решительно порывать со своими прежними взглядами.

Нельзя оставить без внимания замечательный труд К. Д. Дондуа «Язык Руставели», который имеет большое значение в плане критики языка и текста. Это и не удивительно, если учесть, что «Вепхисткаосани» — величайший памятник грузинской литературы и что «грузинское поэтическое слово нигде и никогда не приобретало такой силы, с какой оно зазвучало в гениальной поэме Руставели»¹.

К. Д. Дондуа полемизирует с использованными ранее способами реконструкции первоначального текста поэмы, в связи с чем специально останавливается на характерных для «Вепхисткаосани» композитах, неологизмах (большей частью в морфологии), стилистических параллелизмах, префиксах, обозначающих направление, отрицательных частицах. Все эти вопросы К. Д. Дондуа рассматривает в совокупности исторической формы и содержания соответствующих явлений. Более двух с половиной веков в сфере актуальных проблем руствелологии находится вопрос изучения языка «Вепхисткаосани». За этот период опубликовано огромное количество монографий, объемистых книг, сборников статей. И, тем не менее, небольшой труд К. Д. Дондуа (стр. 254—293) бесспорно займет одно из видных мест среди трудов, посвященных изучению языка Руставели.

Наконец, отметим, что в помещенной в сборнике статье «Об узких лабиализованных гласных в картвельских и в абхазском языках» содержится интересный материал по исторической фонетике картвельских языков, в частности по диахронической трактовке древнегрузинского вокализма.

Трудное с полиграфической точки зрения издание выполнено в целом на высоком уровне.

Особо следует отметить адекватность переводов с грузинского на русский, исполненных в выдержанной современной терминологии. Самостоятельное значение имеет библиографический указатель научных работ К. Д. Дондуа.

К сделанным попутно замечаниям до-

¹ См.: И. Г и г и н е й ш в и л и, Основные вопросы языка и критики текста поэмы Шота Руставели «Вепхисткаосани». АДД, Тбилиси, 1975, стр. 3; ср.: с г о ж е. Исследования по вопросам языка и критики текста поэмы Шота Руставели «Вепхисткаосани», Тбилиси, 1975, стр. 387 (на груз. яз.).

полнительно необходимо заметить следующее: 1) рецензируемая книга нуждается в предметном указателе, а также в указателе имен; 2) не все сокращения развернуты. К тому же иногда в них допущены некоторые неточности. Так, например, на стр. 6 должно быть А. Цагарели, а напечатано И. Цагарели. На стр. 9 неточно дано название книги «Мученичества Шуланики», опубликованной И. В. Абуладзе; 3) несмотря на усилия редакционной коллегии, в грузинском тексте, к сожалению, налицо целый ряд ошибок корректурного характера, не учтенных в списке опечаток; 4) думаем, что было бы целесообразнее, чтобы приведенная К. Д. Дондуа литература и указания в сносках остались бы на языке цитации (мы имеем в виду труды грузинских ученых, которые переданы в рецензируемой книге на русском языке); 5) на стр. 195 (13 строка снизу) с ошибками воспроизведена цитата из «Мученичества Шуланики».

Наши замечания не могут принизить

большого научного значения рецензируемой книги. Как правило, это ляпсусы технического характера, вызванные полиграфическими трудностями.

Наследие К. Д. Дондуа настолько актуально, что еще долго будет стимулировать творческую мысль новых поколений лингвистов. Поэтому, по нашему мнению, необходимо продолжить работу по изданию других неопубликованных трудов К. Д. Дондуа, в частности опубликовать «Сванско-грузинско-русский словарь», над которым он работал добрых три десятка лет и подлинник которого хранится в Институте языкознания АН СССР. Словарь, как известно, отредактирован и подготовлен к печати.

В целом рецензируемая книга является большим вкладом в кавказоведение и вместе с тем блестящим выражением традиционной дружбы русских и грузинских ученых. Читатели будут глубоко благодарны всем принявшим участие в ее публикации.

Р. М. Шамелашвили

Л. Д. Шагдаров. Функционально-стилистическая дифференциация бурятского литературного языка. — Улан-Удэ, Бурятское книжное издательство, 1974. 348 стр.

Монография Л. Д. Шагдарова «Функционально-стилистическая дифференциация бурятского литературного языка» посвящена наименее разработанной области бурятского языкознания. Она состоит из введения, заключения и пяти глав.

Во введении книги изложены основные теоретические принципы и положения, лежащие в основу стилистического осмысления и описания бурятского литературного языка. В кратком обзоре развития стилистики в нашей стране отражены основные достижения этой отрасли филологии за последние годы и особенно достижения русской стилистики. Автор в целом придерживается той стилистической концепции, которая обрела за последние годы наибольшее число сторонников. Это, в частности, видно из самой трактовки понятия «стиль». Под стилем Л. Д. Шагдаров понимает целостную разновидность языка и речи, обязанную своим возникновением расширению, развертыванию общественных функций языка и индивидуально-творческой его реализации. Стиль характеризуется «определенным набором и комбинацией дифференцирующих языковых средств — слов, значений, форм, фонетико-интонационных явлений, словосочетаний, предложений и более сложных синтаксических единиц» (стр. 15). Стиль — это категория историческая, в нем отражается мировоззрение, нравы, характеры, идеи и фетиши разных обществ.

Как известно, определяя предмет исследования стилистики, акад. В. В. Виноградов выделил три ответвления этой науки: стилистика языка, или структурная стилистика, стилистика речи и стилистика художественной литературы. Л. Д. Шагдаров основным разделом лингвистической стилистики считает стилистику языка и в соответствии с этим главную задачу своей работы видит в стилистической характеристике лексических и грамматических средств бурятского литературного языка, выделение и описание его функциональных стилей.

Автор полагает, что функциональные стили — категории надиндивидуальные, поэтому они более относятся к языку, чем к речи. «Функциональные стили — явления более объективные, объемные и долговременные, чем постоянно возникающие, субъективно окрашенные речевые, особенно индивидуальные, стили» (стр. 21). Л. Д. Шагдаров прав, когда утверждает, что «в русском литературном языке функциональные стили сформировались и развиваются в течение нескольких столетий, тогда как индивидуальные стили, например, стили Пушкина и Лермонтова, возникли в течение двух-трех десятков лет и замкнулись на определенном уровне, хотя они будут существовать в веках, как явления русской литературы, как яркие целостные разновидности русского литературного языка» (стр. 21).

В главе I «Краткая история развития бурятского литературного языка и становления его стилистической системы» прослежен путь становления и развития бурятского литературного языка, выявлены основные предпосылки и источники стилистической дифференциации этого языка.

Обзор дореволюционных письменных памятников автор начинает с «Сокровенного сказания» (1240 г.), который, как известно, является выдающимся памятником общемонгольского литературного языка. Автор детально рассматривает некоторые стилистические особенности этого сочинения, «поскольку данный памятник наиболее полно сконцентрировал в себе стилистические традиции, продолженные в дальнейшем также в бурятском литературном языке» (стр. 39).

Далее автор подвергает подробному анализу стилистические особенности наиболее значительных светских сочинений, написанных на старомонгольском языке в Бурятии — летописей и исторических сочинений (записок, мемуаров, генеалогий и т. д.). Язык и стиль «Сокровенного сказания», по мнению Л. Д. Шагдарова, имеет много общего с языком бурятского фольклора и бурятских летописей. Заметим здесь, что рассмотрение стилистической структуры «Сокровенного сказания» и бурятских летописей позволяет Л. Д. Шагдарову на основе дополнительной (суперлинейарной) информации, выражающей не прямую авторскую оценку фактов действительности, выявить мировоззрение авторов летописей, показать зависимость языково-стилистической организации текста от личности автора.

На основе анализа письменных памятников дореволюционного периода автор приходит к выводу о том, что функционально-стилистическая дифференциация языковых средств началась в общемонгольский период и «получила свое дальнейшее развитие в бурятском народно-разговорном языке, в бурятских летописях и других сочинениях бурятских авторов» (стр. 342).

Особенно большое внимание в этой главе уделено развитию бурятского языка в советский период. За годы советской власти в Бурятии изданы на бурятском языке многочисленные оригинальные и переводные художественные произведения, общественно-публицистическая и учебная литература. Более полувека издается газета «Бурят уван», другие газеты и общественно-политические журналы. В результате этого в бурятском литературном языке оформились следующие функциональные стили: художественный, общественно-публицистический, учебно-педагогический и литературно-разговорный.

Одним из мощных источников стилистической дифференциации бурятского литературного языка справедливо назван русский язык. Под влиянием русского

языка сформировались общественно-публицистический и учебно-педагогический стили. Воздействие русского языка сказывается также в возникновении новых средств выразительности, в процессах интенсивного взаимодействия и перемещения лексико-стилистических пластов литературного языка. Многие заимствованные из русского и через русский язык слова настолько глубоко осваиваются языком, что в стилистическом отношении становятся нейтральными. Заметим, что некоторые собственно бурятские, литературно-книжные слова начинают использоваться как слова приподнятой стилистической окраски, уместные в выступлениях на торжественных собраниях, по радио, телевидению и т. п., ср.: *нейтр. плаан* — *высок. тусэб*, *нейтр. доклад* — *высок. элдгээл*, *нейтр. удобрени* — *высок. үтэжжүүлэг*.

Показав расширение общественных функций бурятского языка в советский период и появление на этой основе новых функциональных стилей, автор приходит к следующему выводу: «в становлении бурятского литературного языка, его стилистической системы приняли участие три самостоятельные языковые системы: бурятский разговорный язык и прежде всего хоринский диалект; старописьменный монгольский язык и русский язык» (стр. 342).

В главе II «Стилистическая характеристика лексики бурятского языка» предложена оригинальная классификация словарного состава бурятского языка, соотносящая словарный материал с функциональными стилями. В частности, автор полагает, что в бурятском языке имеются художественно-поэтическая, общественно-публицистическая, учебно-педагогическая и разговорная лексико-стилистические подсистемы. В каждой такой подсистеме выделяется свой круг нейтральных и стилистически окрашенных слов и выражений. Так, в художественно-поэтической подсистеме нейтральными являются все те слова, которые принято относить к основному фонду лексики (*агаар* «воздух», *уһан* «вода», *ошого* «уйти» и др.).

В отличие от этого наиболее употребительная общественно-политическая лексика в широком смысле слова составляет нейтральный пласт общественно-публицистического стиля (слова типа *зорилго* «задача», *амжалта* «успех», *ажалы* «хозяйство», *туһаламжа* «помощь» и др.). Межстилевых нейтральных слов, которые одинаково использовались бы во всех стилях, немного. Большинство слов обладает специфической стилистической окраской, обусловленной преимущественным употреблением их в том или ином стиле. От стиля к стилю изменяются частота употребления, валентные возможности слова. Например, слово *танисага* «знакомиться», в художествен-

ном и разговорно-литературном стилях имеющее значение «вступать в знакомство с каким-нибудь человеком», в публицистическом стиле приобретает более абстрактное значение: *тохёолдоһон байдалтай танилсаха* «знакомиться с создавшейся обстановкой», *городтой танилсаха* «знакомиться с городом» и др. Слово *ажахы* «Хозяиство» в публицистическом стиле является нейтральным, а в художественном оно стилистически маркировано, является книжным словом. Стилистически окрашенные слова разнятся по стилям. Например, в публицистическом стиле употребляется свой круг стилистически сниженных слов, которые не свойственны разговорному стилю: *эбсэлгэ* «примиренчество», *нобио нозог* «бюрократический», *хархис* «реакционный», *ээрхэг* «агрессивный» и др.

Интересно написан раздел, посвященный семантико-стилистическим ресурсам бурятского языка. По мнению автора, полисемия, переносно-фигуральное употребление слов предоставляют носителям языка огромные возможности для творческого использования языка. В этой связи подробно освещен вопрос о существующих в бурятской языковой традиции закономерностях переноса значений в словах. Как показано, переносные значения в народно-разговорном языке употребляются преимущественно для экспрессивно-эмоционального обозначения тех или иных черт характера, психического состояния человека. Так, легкомыслие, ветренность, несерьезность в народном языке ассоциируются с понятиями «легкий на вес», «неглубокий», «ветер», поэтому слово *һалгин* «ветер» означает также «ветреный», «легкомысленный», *хүнгөн* «легкий» — «легкомысленный» и т. д. Л. Д. Шагдаров полагает, что перенос значений практикуется в разной степени по функциональным стилям. Стихия переносных значений — художественный стиль. Однако и в других стилях в той или иной степени используется большей частью «свои», специфические переносные значения. Так, в публицистическом стиле многие слова приобретают переносные значения под влиянием русского языка: *үндэр* «высокий», *үндэр ургаса* «высокий урожай», *үндэр амжалта* «высокое достижение» и др. Как пишет автор, специфика тропически-фигурального использования слов составляет характерную приметку индивидуальных стилей бурятских поэтов и прозаиков. Контекстуальные переносные значения достигают цели, воспринимаются естественно, когда они находятся в русле традиционной метафоризации. Вместе с тем в основе образных употреблений слов молодых писателей все чаще обнаруживаются ассоциации, характерные для русской и мировой поэзии.

В работе рассматриваются синонимы, в которых автор видит основу стилистиче-

ского разнообразия литературного языка. В ней выделены и описаны синонимические ряды по существительным, прилагательным и глаголам, раскрыты связи отдельных синонимических вариантов с темп или иными разновидностями речи. Автор не ограничивается рассмотрением лишь тех синонимов, которые характерны для системы, структуры языка, а обращает внимание на слова и выражения, функционально тождественные синонимам. Эти слова в литературе называются контекстуальными, ситуативными, речевыми и т. д. синонимами. Автор характеризует эти синонимы как окказиональные явления на уровне речи, используемые для экспрессивно-эмоциональной замены обычных наименований и слов.

Глава III «Стилистическая характеристика синтаксиса» посвящена главным образом стилистической характеристике словосочетаний. Что касается стилистической характеристики предложений, то она частично дана в V главе в связи с описанием функциональных стилей. В главе подробно говорится о тех различиях, которые имеются между функциональными стилями в использовании основных типов глагольных, именных, послеложных, атрибутивных словосочетаний, а также разных типов оборотов. Если, например, публицистическому и учебно-педагогическому стилям присуща тенденция к шаблонизации словосочетаний, то в художественном стиле, особенно в стихотворном языке, постоянно создаются новые сочетания слов по существующим моделям.

Глава IV «Стилистические ресурсы словообразования и морфологии» посвящена средствам словообразования и морфологии, играющим довольно большую роль в дифференциации функциональных стилей бурятского литературного языка. В главе дано описание некоторых словообразующих суффиксов, обслуживающих преимущественно отдельные функциональные стили (-*лга*, -*лта*, -*л* — публицистический и учебный стили; -*бша* — разговорный и т. д.). Автор показывает разграничение по стилям употребления уменьшительно-ласкательных суффиксов, а также суффиксов собирательного значения, категории числа, местоимений, отдельных глагольных форм. Эти формы и суффиксы в условиях разных функциональных стилей приобретают множество дополнительных семантических и экспрессивно-стилистических оттенков.

В главе V «Функциональные стили бурятского литературного языка» дано описание наиболее существенных дифференциальных признаков художественного, общественно-публицистического, учебно-научного и литературно-разговорного стилей бурятского литературного языка. В разделе о художественном стиле сделана попытка характеристики индиви-

дуальных стилей бурятских писателей Х. Намсараева, Ц. Дона, Ж. Тумунова, Д. Батожабая.

Из функциональных стилей автор наибольшее внимание уделяет художественному стилю, справедливо подчеркивая огромную роль художественной литературы в развитии национального языка, в отработке его лексико-грамматических и стилистических норм. Мы считаем возможным согласиться с утверждением автора о том, что в отношении младописьменных языков, к которым относится и бурятский язык, нет серьезных оснований выделять стилистику художественной литературы в самостоятельную отрасль филологии. Она должна изучаться в рамках бурятского языкознания и литературоведения. В связи с этим считаем вполне оправданным, по крайней мере на данном этапе изучения стилистики младописьменных языков, включение художественного стиля в состав функциональных стилей бурятского литературного языка.

Весьма перспективным для исследования индивидуальных стилей писателей представляется точка зрения автора о том, что существо речевого стиля выявляется лишь в его неразрывном единстве с душевной, внутренней жизнью человека, с его психологией и эмоциями, с идейно-художественным содержанием творчества писателя. В данной работе автор в основном описывает речевые особенности индивидуальных стилей. Более глубокое их исследование, увязку с творческой индивидуальностью и содержанием произведений, на наш взгляд, возможно осуществить в специальных исследованиях по индивидуальным стилям.

Таков в основном круг вопросов и проблем стилистики бурятского языка, рассмотренных в монографии Л. Д. Шагдарова. Следует отметить, что работа не лишена некоторых недостатков. Так, в I главе автор не уделил внимания стилям устного народного творчества, дореволю-

ционному эпистолярному стилю и стилю деловых бумаг. II глава перегружена фактическим материалом. По сравнению с художественным стилем очень кратко охарактеризованы учебно-педагогический и литературно-разговорный стили. Как известно, в силу определенных социальных причин в бурятском языке отдельные функции (язык науки, делопроизводства) не получили своего развития, перспективы развития этого языка иные, чем, в частности, у национальных языков союзных республик. Однако автор не коснулся вопроса о том, как это отражается на стилистической дифференциации языка, каковы дальнейшие пути развития этого процесса. На стр. 71 допущена неточность. Автор пишет: «ном (книга), *дэбтэр* (тетрадь, книга) — восходит к греческому языку». *Ном* восходит к согдийскому *nom* «книга, писание, учение». Что касается второго слова, то оно, возможно, греческого происхождения, но проникло в старомонгольский язык скорее всего из персидского (перс. *дэфтэр* «тетрадь; книга»).

Указанные упущения и неточности не умаляют ценности книги в целом. Монография Л. Д. Шагдарова представляет собой крупное исследование в области бурятского языка. Она может служить иллюстрацией к словам, сказанным на ашхабадской конференции по стилистике: «разработка сложных вопросов стилистического развития — объективный показатель зрелости многочисленных языков нашей страны, свидетельство того, что бывшие бесписьменные и младописьменные языки теперь имеют уже свою богатую литературную историю»¹.

У.-Ж. Ш. Дондуков, Н. Б. Дугаров

¹ Ф. П. Флинн, Заключительное слово, сб. «Развитие стилистических систем литературных языков народов СССР», Ашхабад, 1968, стр. 331.

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

ХРОНИКАЛЬНЫЕ ЗАМЕТКИ

С 18 по 22 ноября 1975 г. в Днепропетровском гос. ун-те проходила I Всесоюзная научная конференция по актуальным проблемам исторической лексикологии восточнославянских языков. В ее работе приняли участие двести шесть представителей научных учреждений и вузов из шестидесяти пяти городов страны. Всего на конференции прослушано до 300 докладов и сообщений.

Были организованы секции этимологии и общей лексикологии, а также лексикологии восточнославянских языков — донационального и национального периодов; иноязычной лексики; территориальных и социальных диалектов; антропо- и топонимии; лексической стилистики и исторического словообразования.

Во вступительном слове ректор университета акад. АН УССР В. И. Москаковски й отметил, что это первая по данной теме Всесоюзная конференция, и выразил надежду, что она успешно подведет итоги работы большого отряда советских историков-лексикологов, наметит новые пути в разработке актуальных проблем восточнославянской исторической лексикологии.

В докладе «„Этимологический словарь славянских языков“ и „Праславянский словарь“» О. Н. Трубачев (Москва) выступил против противопоставления этимологии истории слов. Такое противопоставление, по его мнению, давно преодолено наукой. Обычно принято думать, что исторический словарь — это собрание истории слов. Но при этом упускают из виду, что большинство слов языка сложилось до появления письменности (если иметь в виду древнюю лексику). История таких слов развернулась и во многом уже завершилась до первых письменных памятников. Поэтому этимологический словарь есть наиболее полное выражение идеи исторического словаря. Вторая и основная часть доклада была посвящена опыту параллельного чтения двух новых публикаций — «Этимологического словаря славянских язы-

ков», издаваемого с 1974 г. в Москве, и «Праславянского словаря», одновременно начавшего выходить в Кракове. Оба словаря преследуют цель воссоздать лексический состав праславянских диалектов, обнаруживая при этом как сходства, так и расхождения в методике и результатах. В докладе «К вопросу о языковом и диалектном членении языка восточнославянских деловых документов XV в.» В. М. Русановский (Киев) подчеркнул особую роль языка «Русской правды» в формировании книжно-делового языка восточных славян, охарактеризовал сложную структуру украинско-белорусского делового языка XV в., лексика которого формировалась за счет полонизмов, бытовых и специфических слов, а также юридических терминов Москвы, Пскова, Твери. Именно воздействие этих центров, по мнению докладчика, сдерживало приток польских терминов и слов в украинско-белорусский деловой язык XV в. Используя как признак наличие лексических средств. В. М. Русановский выделяет в составе украинско-белорусского делового языка XV в. галицко-подольскую и киевско-волынско-белорусскую модификации.

В. Н. Турки н (Днепропетровск) в докладе «К проблеме развития общественно-политической лексики» поставил вопрос о неодинаковом характере темпов развития ее тематических групп. В течение XI—XIV вв. быстрее (количественно и качественно) развивалась сословная и должностная терминология. В то же время прослеживалось накопление терминологии, которое проявлялось в форме: а) наличия базовых терминов, б) появления на их основе лексико-семантических вариантов, в) наличия фонетических, морфологических вариантов, г) развития синтаксических средств номинации с использованием базовых терминов. Своеобразие развития общественно-политической терминологии состояло в том, что в своей истории она отражала особенности развития классового общества. Какую-то роль в устойчивости или

изменяемости термина имеет характер его смысловой структуры.

Доклад В. Д. Бондалетова (Пенза) «Задачи сравнительно-исторического изучения лексики восточнославянских арг» посвящен исследованию почти не изученного компонента восточнославянской лексики — лексики арг. Ставя вопрос о необходимости изучать лексику совокупностей арг в восточнославянских языках, докладчик предлагает использовать при этом сравнительно-историческую методику по трем генетическим группам: а) слова (корни), общие для восточнославянских языков, б) слова (корни), общие для двух из трех совокупностей восточнославянских арг, в) слова (корни), свойственные одной совокупности восточнославянских арг.

На конференции обсуждались доклады и сообщения, посвященные как общим проблемам развития исторической лексикологии (методология, метод, общее и различное в славянских языках), так и частным вопросам формирования терминологий, лексико-семантических групп, оценочно-эмоциональных, стилистических и словообразовательных ресурсов восточнославянских языков. Особый интерес вызвали те из них, в которых ставились новые для теории и практики исторической лексикологии темы. М. А. Лещкин (Житомир) охарактеризовал этимологию ряда славянских топонимов, антропонимов и социальных терминов, приводимых в трудах К. Маркса, Ф. Энгельса, В. И. Ленина. Этот материал, считает докладчик, должен быть учтен при разработке общей и восточнославянской этимологии. Т. И. Панько (Львов) подчеркнула, что попытки эквивалентно передать немецкие марксистские термины восточнославянскими языковыми средствами проявляются уже в 70-х годах XIX в. Определяющим фактором в создании системы политэкономических, как и общественно-политических терминов, она считает русский перевод I тома «Капитала» К. Маркса в 1872 г. Л. И. Керенцева (Нежин) охарактеризовала на материале произведения «Материализм и эмпириокритицизм» выдающийся вклад В. И. Ленина в формирование различных тематических групп марксистской философской терминологии.

М. А. Алексеевко (Львов) на большом историко-сравнительном материале обосновал мысль о том, что на рубеже XIX—XX в. в восточнославянских языках количественно резко увеличилась терминологическая группа «название лица по признаку социально-политической принадлежности». На примере терминологизировавшихся общенародных русских слов *группа, звено, кружок, организация, ячейка* А. Л. Голваневский (Кокчетав) показал, что смысловая структура общественно-политических терминов формируется на

базе экстра- и интралингвистических факторов.

Ставились и вопросы развития современного словарного состава языка. А. А. Москаленко (Одесса) на материале неологизмов девятой пятилетки развил идею о различиях в темпах развития тематических групп украинской лексики. А. С. Белая (Нежин) установила, что в результате лексического взаимодействия в современном русском литературном языке сформировалась объемная группа лексико-семантических украинизмов. В. В. Ильенко (Днепропетровск) привел интересные наблюдения и выводы по развитию русской телевизионной лексики, выделив тем самым для обследования новый пласт слов.

В отдельных докладах нашли отражение идеи системного изучения словарного состава. А. Н. Шилловский (Днепропетровск) на основе семантической модели Т. П. Ломтева системно интерпретировал несколько тематических групп (названия сословий, должностных лиц, даней и повинностей) русского языка XVII в. Н. Д. Русinov (Горький) для установления и уточнения датировки памятников призвал больше применять методику М. Сводеша. Используя данную методику, докладчик подтвердил и уточнил датировку ряда восточнославянских и древнерусских памятников. В докладе В. С. Ващенко (Днепропетровск) был поставлен вопрос о необходимости привлекать варианты слова (прежде всего морфологические и словообразовательные модификации), рассматриваемые в диахронном плане) для историко-этимологических исследований. Т. Н. Луккина (Москва) провела экстра- и интралингвистическое изучение некоторых древнерусских терминов материальной культуры, классифицировала древнерусские слова по их рефлексам в современных восточнославянских языках и установила место этого фактора в смысловом определении слова. М. Г. Булахов (Минск) установил взаимообусловленность исторических изменений в сочетаемости и семантике древнерусских слов.

По тематике и выводам интерес вызвали также доклады по теоретическим проблемам праславянского языка, отношения восточнославянских к иным языкам. М. В. Федорова (Липецк), используя большой сравнительно-исторический материал, пришла к выводу, что антами в свое время называли предков современных хантйцев и мансийцев. В. И. Собинникова (Воронеж) к факторам, создавшим своеобразие лексического состава славянских языков, отнесла развивающиеся во времени фонетические и словообразовательные различия, замену праславянских слов (корней) диалектными. Кельтские словоформы влияли на лексику пограничных племен и сами подвергались морфолого-семанти-

ческому преобразованию исконного языка — таково мнение Н. И. Мостового (Горловка). Л. М. Васильев (Уфа) обосновал развитие системы заимствованных тюркских наименований деревьев и кустарников в восточнославянских языках взаимодействием экстра- и интралингвистических факторов. С. А. Алексеенко (Полтава) проследила явления семантической адаптации заимствований в восточнославянских языках XIV—XVI вв. И все же, как заявила она, заимствование лексики занимает подчиненное положение по отношению к словообразованию.

По мнению К. Р. Галиуллина (Казань), при этимолого-хронологическом анализе заимствования необходимо учитывать такие экстралингвистические факторы, как дата, место, условия заимствования, и такой интралингвистический фактор, как возможность сравнить его с параллелями в иных восточнославянских языках. Е. М. Марченко (Вильнюс) сделал обзор русско-белорусско-польских лексических связей, характер которых менялся в разные исторические эпохи. На украинском материале Т. А. Токарь (Днепропетровск) установила в островных городах Боснии две тенденции: заимствование иноязычной лексики и сохранение устаревшей.

Содержательными по проблематике и обилию привлеченного материала оказались выступления исследователей лексики восточнославянских территориальных и социальных диалектов. Ф. Д. Климчук (Минск) попытался объяснить «старинные русские книжные» слова, бытующие в Брестско-Пинском Полесье, как наследие старобелорусского и староукраинского письменных языков. На неизученном материале Вологодско-Пермской летописи Л. Ю. Кваша (Вологда) выделила новый пласт диалектной лексики XV—XVI вв. и системно проанализировала его. И. О. Дзедзельски (Ужгород), приведя большой лексический материал и классифицировав его, призвал историков-лексикологов обратить внимание на рукописный «Словарь малорусского наречия» Я. Ф. Головацкого 1857—1859 гг. и использовать его в качестве лексикографического источника.

Некоторый научный вклад в развитие исторической лексикологии внесли докла-

ды и сообщения по восточнославянской антропо- и топонимике. В некоторых из них затрагивались принципиально новые теоретические вопросы. Н. К. Фролов (Тюмень) показал, как историческое изучение русских прозвищ XVIII в. позволяет восстановить нефиксируемые в письменности и устном языке и его говорах корни нарицательной лексики. В. А. Горпинич (Запорожье) рассмотрел названия древнерусских жителей на общем индоевропейском фоне и определил некоторые особенности их семантического и грамматического оформления в древнерусском языке. Работая над рукописным фондом Каменец-Подольского областного архива, Л. Т. Масенко (Киев) обнаружил слои гидронимов, не зафиксированных в печатных и картографических источниках.

Доклады и сообщения по стилистике художественного слова и восточнославянскому словообразованию были призваны оказать помощь в комплексном изучении формирования и функционирования словарного состава восточнославянских языков. Образцовым по научной глубине среди них признан доклад М. А. Жовтобрюха (Киев), который не только привлек внимание к одной из первых грамматик украинского языка И. Ужевича, но и обстоятельно охарактеризовал способы использования лексики в этом источнике. В. П. Дроздовский (Одесса) рассмотрел приемы использования устаревшей лексики в языке советской поэтики. М. А. Авлаев и ч (Могилев) привел интересные наблюдения над эмоционально-оценочной лексикой в произведениях А. Радищева. По теме и примененным приемам интересным оказался также доклад В. Н. Прохоровой (Москва) о лексико-семантических способах терминологического образования в древнерусском языке. Во многих докладах содержались конкретные сведения по истории отдельных тематических групп лексики (как общих восточнославянских названий скота, растений, животных, злаковых культур, понятий речи, согласия и т. п., так и слов, типичных для отдельных восточнославянских языков).

Следующую конференцию по вопросам лексикологии восточнославянских языков решено провести в Казани в 1980 г.

В. Н. Туркин (Днепропетровск)

CONTENTS

Articles: A. N. K o n o n o v (Leningrad). On the nature of Turkic agglutination; V. Z. P a n f i l o v (Moscow). Typology of the grammatical category of number and some problems of its historical development; **Discussions:** O. N. T r u b a č e v (Moscow). On the history of the Sinds and their language; V. P. D a n i l e n k o (Moscow). The status of scientific lexical terminology in the system of language; T. I. D e š e r i e v a (Moscow). Correlation of the verbal categories of aspect and tense; V. I. A b a e v (Moscow). What does the term «natural language» mean?; **Materials and notes:** M. V. S i m u l i k (Užgorod). Semantic-syntactical features of the predicative elements and the structure of the complex polypredicative sentence in the Slavonic languages; A. A. Y u l d a š e v (Moscow). On one specific type of lexical meaning; I. H. T o t (Szeged). Combination of contracted vowels in the position before liquids and between consonants in the Old Russian manuscripts of the IX-th century; V. Z. Z l a t k i n (Izmail). Interaction of lexical meanings in the «verb—preposition — noun» phrase; E. P. T s a r e n k o (Donetsk). Some phonetic features of Kechua; **Surveys:** S. A. M i r o n o v (Moscow). A hundred years of German dialectography; **Reviews.**

SOMMAIRE

Articles: A. N. K o n o n o v (Léningrad). Sur la nature de l'agglutination turque; V. Z. P a n f i l o v (Moscou). Le nombre grammatical, sa typologie et problèmes de son développement historique; **Discussions:** O. N. T r u b a č e v (Moscou). Les sines et leur langue; V. P. D a n i l e n k o (Moscou). Le statut de la terminologie scientifique dans le système lexical de la langue; T. I. D e š e r i e v a (Moscou). Sur la corrélation des catégories verbales de l'aspect et du temps; V. I. A b a e v (Moscou). Que signifie le terme «langue naturelle»?; **Matériaux et notices:** M. V. S i m u l i k (Oujgorod). Les caractères sémantiques et syntaxiques des unités prédicatives et la structure de la proposition polyprédicative complexe dans les langues slaves; A. A. J u l d a š e v (Moscou). Sur un type spécifique de la signification lexicale; I. H. T o t (Szeged). Combinaison des voyelles réduites devant les liquides en position intraconsonantique dans les manuscrits vieux-russes du IX-e siècle; V. Z. Z l a t k i n (Izmail). Interaction des significations lexicales dans le groupe «verbe — préposition — nom»; E. I. T s a r e n k o (Donetsk). Quelques particularités phonétiques du quechua; **Revue:** S. A. M i r o n o v (Moscou). Cent ans de la dialectographie allemande; **Comptes-rendus.**

The Editorial Board of the journal «Voprosy Jazykoznanija» is deeply obliged to the Publishing Houses who send us their books for review. The Editorial Board announces that it cannot guarantee the reviewing of all the books received at the Editorial Office. The critiques will be published according to the possibilities of our journal. Two offprints will be sent to the Publishers. Books received are not sent back.

*

La rédaction de la revue «Voprosy Jazykoznanija» exprime sa gratitude profonde à toutes les maisons d'édition qui nous envoient leur production imprimée pour critique. La rédaction annonce qu'elle ne peut pas garantir la publication d'un compte-rendu pour chaque livre reçu à la rédaction. Les comptes-rendus seront publiés selon les possibilités de la rédaction. Deux tirages-à-part seront envoyés aux maisons d'édition. Les livres reçus à la rédaction ne sont pas rendus aux éditeurs.

*

Das Redaktionskollegium der Zeitschrift «Voprosy Jazykoznanija» ausspricht sein tiefempfundenen Dank den Herausgeber, die uns Rezensionsexemplare ihrer Bücher senden. Das Redaktionskollegium teilt mit, daß alle erhaltene Bücher können in unserer Zeitschrift natürlich nicht besprochen werden. Die Rezensionen werden je nach den Möglichkeiten unserer Zeitschrift veröffentlicht. Zwei Sonderabdrücke werden unbedingt den Herausgeber abgeschickt. Die an die Redaktion erhaltene Bücher sind gewöhnlich nicht zurückgesandt.

Технический редактор *Т. Н. Сенченко*

Сдано в набор 28/IV-1976 г. Т-09042 Подписано к печати 25/VI-1976 г. Тираж 7020 экз.
Зак. 551 Формат бумаги 70×103¹/₁₆ Усл. печ. л. 13,3 Бум. л. 4³/₄ Уч.-изд. л. 14,7

2-я типография издательства «Наука». Москва, Шубинский пер., 10